



*Ариадна
Борисова*

Всегда
возвращаются
птицы

Ариадна Борисова

Всегда возвращаются птицы

*Посвящается семи народам, кровь которых
течет во мне*

© Борисова А., 2016

© Оформление. ООО «Издательство «Э», 2016

Часть первая

Звон-город

Глава 1

Эхо мамы

Белесый овал лица в смутной дымке – вот и все, что осталось под стеклом от выцветшей фотографии. Улыбка мамы растаяла на солнце, как первый снег, выпавший в день ее похорон. Иза помнила девственно-белый покров на широком пустыре за кладбищем, а нынче город придвинулся почти вплотную. Стояло лето, дети играли в лапту между мирами живых и мертвых. Сильные юные ноги разравнивали безымянные холмики по краям, но просторнее демаркационная полоса не становилась: с жилого боку на нее наступала стихийная рать сараюшек и огородов.

Дядя Паша пригубил красного вина из стакана.

– Из Каунаса о тебе справлялись. Я написал, что ты с серебряной медалью школу окончила и собираешься поступать в Москву.

– А-а? Да, спасибо, что написали, – рассеянно отозвалась Иза.

Он говорил о чем-то еще, но плывущие вдаль слова угасали, а шаткие оградки и деревянные звезды таяли в зыбком тумане. Иза вдруг как в мерцающем зеркале увидела мамино лицо. Ни к какому мистическому наваждению зеркало отношения не имело, это было яркое детское воспоминание. Мама с задумчивой пронизательностью смотрела в дочкино сегодня из того дня, когда черная тарелка коридорного радиоприемника извергала вдохновенную скорбь. Незаметно сменяли друг друга фрагменты траурных произведений, слитых в нескончаемый плач, иногда наплывы минорных пассажей замирали, и в ломкую паузу, в щели и углы общежития проникал голос Левитана. Всеобъемлющий реквием посвящался тому, кто долгие десятилетия вселял в души столь же необъятный страх. Этот человек ушел, и, хотя на лицах взрослых еще лежала тень растерянности и недоверия, страх исчез. Не было его и на румяном от волнующих событий лице мамы. Готовясь к ночи, она стояла в бумазейной сорочке у зеркала и расчесывала свои пепельно-рыжие кудри.

Удушливые репризы «Аппассионаты» прервал земной голос дяди Паши:

– Не родственник, сказали, не положено по закону. Одинокий к тому же. Хотя стал бы, по сути, не одиноким, если б дали опекунство оформить, и ты бы не бедствовала в детдоме.

Чиркнув по вневременью синей молнией маминого взгляда, отражение испарилось в дрожащем зное.

– Вон меня, беспризорника, бессемейный учитель на ноги поднял. Тоже в казенку затолкнуть хотели, ан нет – отвоевал, царство ему небесное. А я не смог отстоять.

Дядя Паша, видимо, оправдывался перед маминой могилой. Сетования о тщетных его походах в горсовет Иза слышала не однажды. Напомнила мягко:

– Я уже не ребенок.

– Выросла, – печально кивнул он. – Мария бы радовалась. После учебы в Каунас постарайся распределиться. В Клайпеду съездишь, поклонись родительскому городу, Балтийскому морю.

В памяти повторилась просьба мамы, высказанная ею накануне смерти: «...принеси к морю подарок фрау Клейнерц и брось его подальше. Как будто мы с папой вернулись».

«Бел-горюч камень» – так мама называла янтарь – хранился под документами в ее заветной шкатулке. Сосновая слеза, чреватая завязшим березовым семечком невероятной величины, подтекла кругло налитой книзу каплей и сорвалась, чтобы стать украшением. Окутанный зеленоватым дымком, инклюз напоминал незрелое яблоко. Редкой прозрачности камешек обнимала золотая жилка в форме сердца.

Маленькая Изочка втайне считала каплю настоящей слезой. Правда, не человеческой – русалочьей. В папиной любимой литовской песне говорилось о русалке Юрате, дочери морского царя Пяркунаса. Царь построил ей дворец из янтаря, где она жила счастливо до тех пор, пока не услышала песню рыбака Каститиса. Юрате влюбилась в человека, чего отец не смог ей простить. Пяркунас сразил возлюбленного дочери молнией и разнес в осколки прекрасный дворец. Крупные обломки янтаря, которые стали находить люди на берегу после штормов, и есть те самые осколки, а небольшие окатыши – это слезы прикованной ко дну Юрате.

Добрая старушка в Клайпедо подарила кулон Марии вроде талисмана на счастье. В арктической ссылке родителям Изы пришлось обменять кулон и все сколько-нибудь драгоценные вещи на еду и теплую одежду. Признанные политически неблагонадежными, Мария и Хаим Готлиб

рыбачили на ледяном море Лаптевых, где никакие сокровища не спасли бы их от обморожения. А «талисман», между прочим, оправдал свою рекомендацию – спас жизнь временной владелице. Позже эта женщина его возвратила, но маме он счастья не принес. Не успел. И долгожданная справка об оправдании опоздала, мама была уже безнадежно больна.

В день ее смерти – день рождения Изочки – в классе шел диспут о счастье. Он ничем не отличался от урока: учительница говорила о преимуществе коллективного счастья перед эгоистичным индивидуальным и задавала вопросы. Ребята послушно отвечали: «Счастье – вырасти коммунистом», «Победа Советской армии на всей земле». Изочка слушала и вспоминала мамины слова: «У одного города, дочка, есть прекрасный девиз: «Равновесие в доме – мир вокруг». Папа считал это изречение выражением высшего человеческого благополучия, и я тоже так считаю. Счастье, когда твоя душа согласна с миром, а мир – с тобой». Изочка думала о маме и не знала, что мамы у нее больше нет.

Дядя Паша длинно отхлебнул из стакана.

– Павел Пудович, вы б не пили...

Для него эта фраза давно стала дежурной, но Иза всякий раз произносила ее с незатухающей тревогой.

– Не водка же. Баловство, марганцовка сладкая. – Он не без сожаления прислонил к холмику ополовиненную бутылку.

Ветер донес с уличным шумом обрывок песни из громкоговорителя. «Хоть та земля теплей, а Родина – милей, милей, запомни, журавленок», – наставлял вожак несмышленного слетка проникновенным баритоном Владимира Трошина. Иза усмехнулась: не по Гришкиной ли заявке исполняет песню артист? Журавленком называл ее почему-то Гришка-Мореход. Они все детство то дрались, то мирились. Отец мальчика пил, мачехе он не был нужен и отстал в учебе. Мария помогла второгоднику выправить оценки, приохотила к чтению книжек о море. Гришка привязался к маме, а ссориться с Изочкой так и не перестал.

«...Где-то там вдали курлычут журавли, они о Родине заснеженной курлычут», – бередил душу певец.

– Патефон с пластинками я вам верну, Павел Пудович, ладно?

– Подарки не возвращают. Отдай девчонкам, пусть танцуют, и свою зимнюю одежду кому-нибудь отдай, в столице попристойней купишь.

«На какие деньги куплю?» – подумала Иза, но не сказала вслух. Простеганное ватой пальто коричневого сукна и валенки ей выдали в детдоме вместе с выпускным пособием, которого едва хватало на поездку в одну сторону. А если Иза не поступит... Такого не могло быть, она просто

запрещала себе думать, что тогда будет.

Дядя Паша вынул из портфеля небольшой газетный сверток:

– Тут, думаю, довольно денег на приличное пальтишко с обувкой, и не туговать полгода. На, держи, чего руки спрятала?

Иза попятилась с заложенными за спину руками:

– Нет, нет, я вам без того должна...

– Бери без разговоров, – перебил он нетерпеливо, и смешливые искры вспыхнули в карих глазах. – Не мой капитал, Марии. Велела вручить тебе после школы, такой меж нами был уговор.

В ожидании реабилитации мама действительно в течение нескольких лет откладывала деньги из каждой получки на отъезд в Литву. Вот, значит, куда они делись. То есть не делись – дядя Паша сберег... Будто маминым эхом повеяло.

– Ой, спасибо!

– Не за что, – улыбнулся он.

Иза убрала сверток в сумочку на ремешке.

Эту франтовскую сумочку тисненой лакированной кожи цвета беж подарила ей воспитательница с «лермонтовским» именем Бэла. Детдомовцы ласково называли Бэлу Юрьевну Белочкой. Бывшая балерина, она вела танцевальный кружок, а Иза считалась в нем «примой». Бэла Юрьевна пыталась выхлопотать в якутском Министерстве культуры денежную помощь своей любимице, но не получилось.

– А я-то ломала голову, как пособие распределить, чтобы дожить до стипендии!

– На стипендию, Изочка, не разживешься. Это ж гроши, а Москва – затейница, дразнит, как в праздник. Прости, что долго тянул с маминой заначкой. Вспомнил о ней вчера – ба-а, думаю, совсем черепок замкнуло! Еле нашел. Ты там не нищенствуй, извещай по нужде. Не стесняйся, я всегда сколько-нибудь вышлю.

Иза прижала ладони к разгоряченным щекам. За шесть лет она потратила кучу его денег. Дядя Паша шефствовал над подсобным детдомовским хозяйством, его ветеринарная станция помогла отстоять коров, когда горсовет по распоряжению правительства велел ликвидировать скот в пригороде. Дядя Паша покупал нужные мелочи не одной Изе, всем в ее комнате, и валенки подшивал всем.

– Это вы меня простите, Павел Пудович! Я упрекнула вас в первую зиму...

Иза не договорила. Знала – он помнит.

– Эх, Изочка, что твой упрек! Сам себе ни в жисть не прощу. Чего

стыдился, чьих пересудов? В драных ботинках ходила Мария... Мог я, мог валенки раздобыть! Уговорить не сумел. А не послушайся я ее, не отступись – не упала б в мороз, не заболела бы, жила твоя мама. Жила!.. И я бы с бутылкой завязал... может.

Дядя Паша резко отвернулся и в который раз протер носовым платком совершенно чистое стекло фотографии.

– Прости, Изочка, не придется тебя проводить, на неделю в командировку посылают. Наталью с Матреной не забудь проведать.

Глава 2

Соседки

С тех пор как горсоветская машина увезла Изочку в гомон и сутолоку коллективного сиротства, она не видела улицу Карла Байкалова. Только во сне. К прошлому тяжело было возвращаться, но в общежитии Изу ждали бывшие соседки, мамы почти-подруги.

Она шагала по хоженной тысячи раз тропе вдоль зыбких заборов, заляпанных ошметками подсохшей грязи. Сдерживая позывы отвести руками невидимых птах памяти, шла мимо хронической лужи с гусаком водоклонки, по-лебединому круто выгнувшим шею, мимо желтого прицепа с квасом у магазинского крыльца. Памятные мгновенья слетались к глазам из деревьев, лавочек, калиток непрошено, густо, до трудности дыхания. Все, что ни попадалось на пути знакомого, напоминало о днях радости встречать маму с работы, целовать ее и разговаривать с ней. Томительная, смятенная, но светлая боль разливалась в груди... значит, и такой противоречивой бывает боль.

Возле Гришкиного барака с просевшей крышей Иза пробежала не глядя. Она в очередной раз была сердита на Гришку и теперь мстительно торопила разлуку. Застопорилась у двора известного доносчика Скворыхина, с редкой сплоченностью ненавидимого всей улицей. Исчез глухой забор с надписью «Злая собака», на месте мазанки бурлило активное строительство... А общежитие постарело. Косые дожди исполосовали бревна испитой временем заваркой раскрошенного мха. Вместо сломленной вьюгой рябинки под окном светелки, в которой так счастливы были вдвоем Мария с Изочкой, хозяйски разбросался тальниковый куст. Богатырский амбар, сложенный до революции ссыльными скопцами из литых карбасных плах, превратился в летний флигель. Дырки от шкантов кто-то аккуратно заткнул березовыми чопами, в слепых стенах прорезались окна. Только в стрехах, как раньше, чирикали над гнездами воробьи...

Коридор общежития благоухал знаменитой на всю округу сдобой тети Матрены. Она работала поваром в столовой рыбного треста, где трудилось большинство здешних жильцов, а в выходные дни пекла румяные пироги во «всехной» кухне. Звание «всехная», данное кухне Изочкой, в полной мере оправдывал щедрый противень, полный овсяных калачей, шанег и

булочек, хрустящих в изломе над огнедышащим мякишем. Пока стряпуха шествовала к своей двери, большая половина выпечки исчезала в прокуренных дебрях холостяцких камор. Нынче же тетя Матрена почти все сготовленное уносила Мишиной семье. Сын женился, жил отдельно и сам успел обзавестись двумя сыновьями. Но одна мать не осталась.

О загадочном Ван Ваныче, технологе рыбтреста и тонком ценителе аппетитного искусства тети Матрены, Изочка была наслышана из разговоров взрослых в той же кухне. Хлебосольное очарование поварахи неуклонно подвигало бобыля к женитьбе, но, пока он колебался, сам все и испортил. Собираясь отобедать глазуньей в шкварках, Ван Ваныч в присутствии соседа Скворыхина опрометчиво подложил под сковороду газету «Правда». Прокопченное дно ровнехонько припечаталось к портрету вождя на передовице. Скворыхин немедленно подал сигнал в соответствующую контору, и Ван Ваныч в одночасье попал из добропорядочных граждан в политические преступники. Ни портрет, ни злополучная сковорода, ни даже «Правда» в обвинении не фигурировали. Технолога осудили за умышленное действие с провокационной целью ослабить власть правительства. Гурман честно оттрубил определенные судом годы с миской баланды в обед на свежем воздухе лесоповала. Вернулся в общежитие тощий, сырой – некуда было возвращаться, комнату трест давно отдал дяде Паше по договоренности с ветстанцией. Они познакомились, разговорились. Пожив у нового приятеля с недельку, Ван Ваныч восстановился на работе и без волынки предложил незабвенной пассии руку и сердце.

«А нечего одному при госте чревоугодничать, пусть он хоть просто за солью зашел, – рассуждал дядя Паша из назидательных, как Иза подозревала, побуждений. – Пригласи Ван Ваныч Скворыхина к столу, ничего бы, может, не произошло. Ведь откуда у доносов ноги растут? Они растут из зависти. Зависть обиду и злость точит: отчего, мол, я кого-то не хуже, а хуже живу, кушаю, одеваюсь? Отчего одним – всё, другим – шиш на постном масле? Обида и злость повожуют к мести, а лучшая месть – донос. Власть сама кляузы поощряет и праведности им придает, чтоб стукачи меньше совестью маялись. Органам так легче выявлять и наказывать виноватых. И невиновных гребут под сурдинку: вдруг да в чем-то грешны? Зависть, Изочка, как снежный ком, всякую пакость тянет за собой из человека. Подальше держись от завистливых и сама никому не завидууй».

Возникнув в проеме кухонной двери, Иза прервала беседу соседок. Два голоса заполошно вскрикнули в унисон:

– Изочка!

Пухлые руки и фартук тети Матрены привычно и сытно дышали дрожжевым тестом. Кофта Натальи Фридриховны, как всегда, издавала железистый запах газетной краски: муж работал в типографии. Свинцовый дух высокой печати в их комнате не в силах были вывести ни сквозняк, ни можжевельные веники против моли.

Постояли молча, обнявшись, и тетя Матрена промокнула фартуком влажные щеки:

– Ждали, ждали тебя. Неужто, думали, не попрощаешься? Пал Пудыч сообчил – завтра отчалишь на пароходе. Шаньги твои любимые постряпала, садись, миленька моя, чаевничать будем.

На столе по-простому, в радушном противне, возвышалась гора смуглых шанег, увенчанных картофельными ермолками с золотой корочкой. Вспушенное розовым воздухом облачко кёрчэха^[1] подрагивало в миске, сбоку скромно притулилась начатая коробка шоколадных конфет, тронутых по краям сединой лежалости, – должно быть, оставшийся с Нового года вклад в чаепитие запасливой Натальи Фридриховны. Нагнувшись, она хлопнула крышкой подполья и водрузила на стол бутылку «Столичной»:

– Марию помянем.

Соседки делились новостями разной степени свежести и ценности, вспоминали тех, кому посчастливилось переселиться из ближних барачков в квартиры, а кто ушел в мир иной. Скворыхин, мир его злой душе, преставился осенью, отца Гришки-Морехода недавно хватил инсульт... ну, хоть не помер, лежит. Врачи утешают – может, оклемается.

Наверное, Гришка не пожелал уведомить Изу о домашнем несчастье, чтобы не портить ей выпускное торжество. Сразу стал понятен его обидный побег с танцев, и сердце затопила жалость. А женщины уже рассказывали, что сосед Петр Яковлевич вернулся в Егорьевск к покинутой семье.

– От Москвы-то Егорьевск, гряд, недалеко, – всхлипнула тетя Матрена. – Ежели доведется Петрушу встретить, привет передай от нас. Скажи, каждую погулянку чокаемся за его здоровье, не чихает пусть.

С тугих щек, как бы ни преображалось ее лицо от переменчивых чувств, не сходили универсальные слезы печали, умиления и смеха. А на бледном лице Натальи Фридриховны застыло снисходительное выражение человека, подуставшего от житейской бестолковщины, но в голубых глазах со спокойным холодноватым блеском, Иза знала, тлел глубокий огонь.

...Много открытий принес Изочке день мрачной музыки, прореженной

эпохальным голосом Левитана. Колотясь головой о стол, рыдала в кухне до краев налитая всенародным горем тетя Матрена. Мама утешала ее и сама раскраснелась, мочки ушей полыхали так, будто их только что кто-то драл. Ни дядя Паша, ни Петр Яковлевич не вышли за вечер из своих комнат. Когда радио умолкло и дом погрузился в пронзительную тишину, к Марии явилась Наталья Фридриховна. Две бутылки вина прижимала она к груди правой рукой; левой, брезгливо оттопырив пальцы, держала на весу книгу с портретом на алой обложке. Изочка притворилась спящей и всю ночь слушала историю чужой искалеченной жизни. Под утро Наталья Фридриховна подсела к печи. В сумасшедших глазах метались кроваво-голубые сполохи, нервные пальцы медленно рвали один за другим листы алой книги. Страницы взлетали и вспыхивали в знойном печном зеве, как мотыльки над свечой. Потрясенная Изочка вдруг поняла, что не в мирных углях очага и не книгу казнила бывшая зэчка. Клеймом свирепого ликования, каленным в придушенной боли, выжигала она в себе язву застарелой ненависти. Последней в топку полетела обложка со снимком усатого человека. Портрет попал в перекрестный огонь глаз и печи и не мог не сгореть, хотя казался вечным. Вначале картон запылал с исподу знаменем, вздутым мощной тягой трубы, потом пламя опробовало снимок, лизнуло жадно раз, другой... Усатый мгновенно съежился, скорчил злую гримасу, почернел, смялся... облез... рассыпался прахом.

Изочка в том году пошла в первый класс. Наугад открыв выданный в библиотеке букварь, она замерла в ужасе: внимательно и недобро глянула на нее ожившая фотография...

О, этот неоднозначный портрет из газетных передовиц! Он не старел, не худел, не поправлялся, не менял прически. Независимо от деловитого или благодушного настроения он всегда был чем-то одухотворен. Его анфас и профили украшали стены общественных зданий внутри и снаружи. Гений во всех областях, кормчий и зодчий, он выпячивал отеческую грудь на фронтоне обкома, увеличенный многократно, но однажды утром исчез из города, как дурной сон.

Соседки по-разному относились к человеку с портрета и к происходящему в стране. Они были разными во всем: в представлениях о людях и мире, в характере, интеллекте, внешности. Тетя Матрена шустрая, пышная, со сдобными ямочками на облитых загаром локотках – сама шанежка; Наталья Фридриховна долговязая и худая, как изъезженная кляча, с тяжким бременем крупных рабочих рук и неожиданно вельможным, изящного рисунка лицом. Тарапунька и Штепсель... Что могло сблизить столь несхожих женщин? «Жизнь», – удовлетворилась Иза

обтекаемым объяснением, догадываясь, что ответ кроется глубже и еще недоступен ей из-за малого опыта той же жизни.

Задушевно тренькнуло граненое стекло рюмок.

– За твой успех в учебе, миленька моя.

– С твоими способностями, Изочка, тут делать нечего, в Москве надо зацепиться.

– Москва-а, – неопределенно качнула головой захмелевшая тетя Матрена. – Народу – тучи! Пал Пудыч складно про Москву грит. Будто с подъездкой, – и взвизгнула: – Что ты щипаешься-то, Наталья?! Ой-ей, больно же!

– Прекратите, Матрена Алексеевна... при девочке...

Выпучив голубичные глазки, тетя Матрена шлепнула себя по губам:

– Господи прости! Я сматерилась, кажись?

– Помянули, хватит, – прошипела Наталья Фридриховна и демонстративно вогнала кулаком в бутылку заранее приготовленный березовый шпенек.

– Во! – возбужденно закричала тетя Матрена.

– Чего – во? Обратно положу, – откликнулась соседка, клонясь к крышке подполья.

– Вспомнила! «Звон-город – злой норов» – во как Пал Пудыч про Москву грит!

– Злой норов? – удивилась Иза.

Наталья Фридриховна выпрямилась, пригладила вставшие дыбом волосы:

– Горазд Никитин на прибаутки, а вам, Матрена Алексеевна, грешно чужие глупости повторять. Не слушай ее, Изочка, и не бойся. Москва – великая, многолюдная, за тридевять земель от нас, потому кажется опасной, но ведь на то и столица. Ты юная, нрав у самой пока лепной, привыкнешь.

– А я что грю? – торопливо согласилась тетя Матрена. – Я и грю: от своего норову все зависит, а Изочка у нас скромница!

– Да, слава богу, слава богу, – закивала Наталья Фридриховна, и обе перекрестились.

«Вот кто их объединил», – сообразила Иза.

– Езжай, не дрейфь! Верь в лучшее, и зло не пристанет. А мы молиться за тебя будем и за могилкой Марии последим.

– Мы к ей нонче ходили в День поминовения, – скорбно вздохнула тетя Матрена, снова пуская слезу. – Вчетвером, с Ван Ванычем... Я за блины отвечала, Наталья – за кисель, Пал Пудыч «беленькую» взял...

- И не одну.
- Впрямь лишку стал Паша закладывать...
- И не один...

На щеках тети Матрены ярко выступил яблочный глянец, созревший в градусном поливе:

– Что ты, Наталья, заладила-то, перед дитем срамишь? Мы ж по знаменательным датам тока!

Иза отдала зимние вещи для Мишиной жены. Взамен получила роскошный пуховый свитер, связанный тетей Матреной (никто не догадается!) из собачьих оческов. Наталья Фридриховна подарила матерчатый, серый в зеленую клетку чемодан с никелированными защелками. В магазинах такие не продавались, купила на барахолке у спекулянтов. «Для меня», – растрогалась Иза.

Улучив подходящее время, она тихонько выскользнула за дверь, чтобы избежать бури прощальных слез. Соседки слаженно тянули в два голоса «Подмосковные вечера». Из полуоткрытого подполья несло грибной прохладой, на крышке валялся березовый шпенек.

Глава 3

«Заклятый» друг

Гришка примчался на пристань за несколько минут до подачи трапа. Приминая рукой жесткий, как ершовый плавник, вихор, выдохнул:

– Здорово, Журавленок!

– Привет, – бесцветно отозвалась Иза. Подумала: спросить об отце или вообще не стоит разговаривать? Мог же объяснить, что дома неприятности, а то смылся с праздничного вечера в самый нужный момент.

– Осенью тоже отшвартуюсь!

– Куда?

– В армию. Повестку получил из военкомата. Отслужу, отучусь в институте и – на море!

Он не изменил детской мечте стать капитаном дальнего плавания. Еще в школе собирался сбежать из дома из-за пьяных скандалов отца и попроситься юнгой на какое-нибудь судно, но не смог бросить братишку. Тот души не чаял в старшем брате.

Гришка впервые повздорил с домашним мучителем после смерти Марии, которую любил нерастроченной сыновней любовью, и сразу как-то

окреп характером. Нынешние семейные тяготы наверняка полностью легли на Гришкины плечи.

– Мореход, – хмыкнула Иза, а на языке вертелось: «Хвастун».

– Под старость сюда вернусь.

На вечере они уже обсуждали будущую старость – просто так, от радости жизни. Гришка на полном серьезе уверял, что ученые приблизились к изобретению эликсира вечной молодости. С помощью этого средства каждый будто бы останется здоровым и энергичным до тех пор, пока не устанет от собственной древности. Изе не верилось в старость и трудно представлялась усталость от жизни. Разве могут надоесть лето, солнце, лес, весь мир?! Ей бы никогда не наскучили. А Гришка планировал жить минимум тысячу лет, если успеет заглянуть во все существующие уголки Земли. Поэтому Иза теперь спросила, стараясь вложить в голос побольше металла:

– Через тысячу лет вернешься?

Он засмеялся:

– Может, на год раньше! А ты?

– Какая тебе разница? Мы больше не встретимся.

Гришка уставился на белоснежный колесный двухпалубник, словно в первый раз увидел сто раз изученный такелаж. Россыпь рыжих звезд на носу и щеках слилась в зарю поперек лица, потемнели глаза-сердолики, обведенные золотым ободком. Изе, как в детстве, захотелось хорошенько треснуть онемевшего приятеля кулаком по спине. Вот так же он замолчал посреди танца и болтовни о грядущем бессмертии. Веселое настроение подначивало Изу раскинуть руки и обнять всех выпускников и воспитателей, отчебучить напоследок что-нибудь шебутное – пусть бы ахнули! Сердце замирало от невнятных ожиданий, а гость – оглянуться не успела – исчез. Ох, и ругала же Иза себя за то, что позвала этого обормота! Лучше бы пригласила одноклассника Эдика. Тот хотя бы старался быть вежливым, и она ему нравилась. Вечер – насмарку, ушла и плакала одна в комнате, пока не уснула. А девчонки гуляли с ребятами почти до утра...

– Отца инсультом разбило, – глухо сказал Гришка, будто прочел мысли в забывчивой Изиной голове. – Я тебя огорчать не хотел, а надо было домой. Извини.

Грянула маршевая музыка, загромыхало железо – пароход начал готовиться к отплытию. Свесив голову над сетчатой перегородкой верхней палубы, человек в черном кителе что-то скомандовал возящимся внизу матросам. Гришка сунул в ладонь подружке свернутый треугольником тетрадный листок и побежал к взгорью смотреть, как старый колесник

повезет ее к чужой земле. Целеустремленная толпа вобрала в себя Изу вместе с чемоданом, паникой, переживаниями, потащила по шаткому мостику в новую жизнь...

Когда прощальный гудок угас в рваном ветре, с береговой насыпи донесся отчаянный крик:

– Журавлено-ок! Попутного ветра!

– И тебе удачи, Мореход.

Гришка, конечно, не услышал, Иза утвердила прощание для себя. Он махал обеими руками, становясь все меньше и меньше. Превратился в подростка, точно судно плыло не по реке, а по времени вспять, в огольца... шпингалета... и расстояние загасило спичечный огонек волос. Иза с невольным облегчением достала записку из кармана юбки. Треугольник был многообещающе толстым, а слов в нем оказалось всего четыре: «Журавленок! Я люблю тебя».

Распльвчато-ломаная гряда города, превратившись в пеструю полосу, растворилась в знойной дымке. Пологий песчаный берег сменили искромсанные ледоходом козырьки лохматого обрыва. Если пуститься отсюда напрямик через Зеленый луг, можно выйти к совхозному огороду. Возле него Изочка, еще дошкольница, обнаружила под шиповниковым кустом диковинного кукленыша. Он напоминал всамделишного человечка, только темный хвостик, как сморщенная подмороженная морковка, торчал у него на месте пупка. Увидев странного голыша, соседи закричали, мама шлепнула Изочку – непонятно, за какую провинность, и это было обиднее всего. Позже Гришка пояснил, что Изочка приняла за игрушку подземного гнома. Гном якобы вылезал на поверхность земли поедать без спросу совхозные овощи. «Аборт Подпольный», – назвал имя вредителя участковый милиционер. «Детеныш нибелунгов!» – изумилась Изочка. Мама часто рассказывала ей любимую папину сказку о волшебном кольце гномов^[2], жителей мрачных подземелий.

Куклы у Изочки не было, и нибелунга отняли. Она рыдала, жалея бедного малыша и себя. А на следующий день дядя Паша, умелец мастерить деревянные поделки, подарил ей берестяную куклу. Веселая Аленушка в нарядном сарафане, с яркой лентой в косе, стала Изочкиной утешительницей и стражем секретов. Ого-кут^[3] Изы подремывала в чемодане. Тоже ехала в Москву.

Истинная тайна кукленыша прояснилась в детдоме наряду с загадкой двухголового чудища. Изочка собирала лук для мамы на Зеленом лугу и нечаянно подсмотрела забавы лесного страшила под тальниками. Не сразу

разглядела в тени, что это не одно существо, а двое – мужчина и женщина. Обнаженные, распаренные удивительной игрой, Изочке неизвестной, они слаженно подпрыгивали, сидя в крепкой спайке на ворохе прошлогоднего сена. Не увидели Изочку, да и ничего вокруг не видели – так были увлечены. Женщина ворковала и постанывала, как горлинка. Изочка долго не могла понять, что они делали. Бойкая девочка Полина Удверина растолковала ей безобразные подробности взрослого мира. Оказалось, после таких игр и рождаются «кукленьши». Оснований не верить Полине Изочка не нашла. Все, напротив, сходилось, неясные подозрения подтверждались самым гнусным образом. Она решила никогда не выходить замуж и сурово держалась зарок до выпускного вечера.

На вечере под потолком зала главного корпуса вращался старый глобус, оклеенный осколками битого зеркала. Вокруг рябил, переливался, туманными искрами вспыхивал воздух скорых перемен. Сильные руки Гришки обнимали Изу так бережно, что она казалась себе хрустальной вазой. Позабыла о ссорах, перестала замечать даже дурацкие Гришкины конопушки. Впрочем, как обычно, когда он волновался, их покрасил ровный румянец. Мужественный капитан летел с нею в вальсе сквозь штормы, кораллы и рифы, на продубленном розой ветров лице сияли сердоликовые очи... и от взрывного кружения Иза раздвоилась. Одна ее половина еле сдерживала блажь выскочить в середку зала и сплясать лихую цыганочку, из-за стыдных мыслей второй твердели соски и сладко ёкало в низу живота. В глазах мелькало двухголовое существо с Зеленого луга. Оно было прекрасно. Мужчина и женщина.

В эту минуту Иза согласилась бы отправиться с Мореходом на край света. Она приготовилась верно ждать его на берегу столько времени, сколько нужно мужчине, чтобы, приустав от моря, вернуться на день-два к своей женщине. Мечтала после вечера поцеловаться с ним, как ее тетка, актриса Изольда Извицкая, целовалась на Аральском море с синеглазым поручиком Говорухой-Отроком. То есть Марютка из фильма «Сорок первый». А Гришка ушел... Удрал! Чурбан бесчувственный. Ну и что – отец слег. Пока был здоров, колотил нещадно, пьяный гонял семью по всей улице, и вдруг – отец, отец...

Иза склонилась над бортом, подставила прохладным брызгам пылающее досадой лицо. Откуда ей знать, какими бывают отцы и за что их любят. Строптиво потрянула головой: а все равно! Все равно! Поздно ты спохватился, «заклятый» друг детства. В жизни твоего Журавленка не осталось места капитанам дальнего плавания. Развязался морской узел неровной дружбы. Никто больше не помешает Изе жить спокойно, не

обидит походя, не доведет до белого каления дразнилками и молчанием.
Журавленком не назовет... Обет не выходить замуж сохранился в силе.

Ключья признания в любви закружились в нарастающем ветре. Миг – и глупых бабочек поглотила пенная колея за кормой.

Глава 4

За тридевять земель

Пароход шел споро, не волок, как другие суда, караваны барж и плашкоутов – работал исключительно на пассажирской линии. Он был очень красив снаружи, а внутри еще красивее. От интерьера верхних этажей веяло неизжитым духом буржуазной респектабельности – бронзовое литье, рельефный линкруст на закругленных потолках, стеклянно-гладкая полировка дубовых панелей. Зеркальные стены раздвигали воздух салонов с обещанием музыки и танцев. Иза представить не могла, какой роскошью может отличаться люкс, если и четырехместная каюта в трюме казалась ей верхом корабельного комфорта.

Совсем недавно списали последние дореволюционные «лаптежники» класса «река – море» на дровяном ходу, с предусмотренными внизу помещениями для перевозки каторжан и переселенцев. Беспечные пассажиры наверху не всегда знали, что из трюма раздается не только машинный стук. На одном из таких пароходов родители Изы после алтайской ссылки были доставлены на мыс моря Лаптевых. По окончании войны их переселили в «кирпичный» поселок, чьи серые крыши уже во-он – высунулись, замаячили, как буденовки, на берегу. Здесь Мария Готлиб (урожденная Митрохина, дочь консульского служащего в Мемеле) – выпускница виленской Русской гимназии, и Хаим Готлиб, получивший лейпцигское университетское образование, отбывали повинность ТФТ^[4] на кирпичном заводе. Третья по счету ссылка стала завершающей для Хаима. Семнадцать лет назад в ночную смену он погиб у муфельной печи, задавленный горячими кирпичами. На следующий день счастливый отец собирался забрать из больницы жену и новорожденную дочь. По желанию отца она была названа Изольдой в честь героини оперы Рихарда Вагнера. Хаим Готлиб восхищался гением создателя симфонической драмы. Великая музыка никак не совмещалась в его глазах с всенародной ненавистью к Гитлеру, страстному поклоннику творчества композитора.

«Твой папа считал, что никто лучше Вагнера не воспел любовь и героическое благородство, – рассказывала об отце мама. – Мы голодали и мерзли в нашей юрте на мысе, а Хаим пытался изобразить оркестр «Кольца» с помощью голоса и жестяных банок. Верить ли... получалось чудесно! Мы угадывали в звуках радуго Вальхаллы... В тених нам

мерещились морские девы, пророчицы норны у вещего источника Иггдрасиль, огоньки факелов в подземелье нибелунгов... И становилось легче. Многие считали Хаима замкнутым, высокомерным. А он был просто романтиком, Изочка, таких людей на земле единицы. Только свои («своими» мама называла соседей по юрте) знали, какой он веселый... и гордый! Не горделивый, а по-настоящему гордый. Ничто не могло согнуть его, потому что Хаим не ведал страха. Твой отец любил жизнь светло...»

Изочку завораживали имена в иноземных сказаниях: Зигфрид, Брунгильда, Тристан. Крутясь перед зеркалом, она воображала себя прекрасной принцессой Изольдой. Но, увы, по наследству от папы Изочке достались нос с легкой горбинкой и выющиеся волосы, черные с мягким каштановым отливом. «Как соболий мех с искрой», – говорила мама, расчесывая их на ночь... Ничего общего с белокурой исландской принцессой. Ну, разве что глаза – синие, «мамины».

В мыслях Изы часто всплывала смутная картинка из младенчества: на столе горит керосиновая лампа, чайный свет скопился между столешницей и стеной у тахты, мама поет песню о русалке Юрате. Лежа на маминых руках, Изочка разглядывает янтарные бусы, четко очерченный овал подбородка, невысокие скулы с плавным переходом света в височную тень; в искрасна-золотых волосах видны проблески серебра. Из коридора доносятся чьи-то грубые голоса, лицо мамы вскидывается к двери, и трепет ресниц расплескивает тревожную лазурь.

Мамины глаза были цвета полуденного моря с сумеречной синевой в глубине. А синь Изиных глаз отсвечивала то фиолетом, то внутренней зеленцой, будто краску для них взяли в изменчивой акварели предрассветной реки. Солнечный цыганенок Басиль, возвращения которого Изочка напрасно ждала каждую навигацию, сказал единственным летом их встречи: «Твои глаза как сапфир». Мальчик был кем-то научен разбираться в драгоценных камнях.

В молодости маму находили вылитой Гретой Гарбо. Испытывая отвращение к назойливому любопытству, мама боялась постороннего внимания к себе и дочке. Майис предостерегала по-своему: «Река чиста и доверчива, огокком^[5]. Не подходи к тому, кто смотрит пристально». По ее мнению, к ребенку с небесно-речными глазами сильнее могла прилипнуть смола недобрых чужих дум. У якутов не принято любоваться детьми на людях и говорить прямо о красоте чьих-то глаз.

Иза до сих пор затруднялась определить, кем приходилась ей Майис. Больше, чем нянкой... но ведь и не матерью. Мысленно Иза называла ее

по-якутски – матушкой-ийэ^[6]. Сердце плакало по маме и матушке одинаково.

После родов у мамы не оказалось молока. Майис кормила сына Сэмэнчика и «молочную» дочь. Пока мама сутками работала на заводе, Изочка росла в якутской семье и, чтобы никого не обидеть, звала обеих женщин по именам. По удивительному совпадению Мария и Майис очень походили друг на друга – были почти одного роста и сложения, и в чертах лиц, при всех расовых отличиях, улавливалось необъяснимое родство. Нередко их принимали за сестер. Впоследствии стало понятно, что сходство не только внешнее. Мария, с ее утонченным воспитанием в образцовой гимназии и знанием нескольких европейских языков, обнаружила, что Майис, невежественная на первый взгляд, равна ей по интеллекту. Просто этот интеллект имел иное, не академическое, а природное свойство. Мария научила Майис русскому языку и во многом восполнила образовательный пробел «сестры».

Мягкая побегка волн оживляла в памяти Изы колыханье платья кормилицы, шитого из синей китайской дабы. Беспредельны хлопоты в крестьянском дворе, в кажущейся незатейливости выскобленной добела юрты. По заказу городских модниц Майис вышивала бисером на вставках унтов таежные арабески, составленные из звериных и птичьих следов. Сноровистые руки с удивительной достоверностью воспроизводили ломаные линии горных отрогов и узоры снежных ветвей. В тайге Майис знала множество богатых клюквенных распадков и земляничников, показывала Изочке найденные к лакомой ягоде заячьи тропы в россыпях помета и оттисках лисьих, удачного нарыска, лап. Гораздо позже Иза поняла, что в матушке Майис жил подлинный художественный дар.

Муж Майис Степан слыл лучшим в районе кузнецом. Странное сходство жены с Марией он приписывал рассеянности небесного мастера. Шутил: заработался де Творец в облаках и невзначай отлил двоих из одной формы, как серьги. Дядя Степан сладил женщинам по паре длинных серег из серебряной ложки. Она была последней из гарнитура столового серебра, некогда подаренного Марии сестренкой Хаима Сарой.

Чеканные подвески спускались с зацепок «елочкой» едва ль не до плеч. Такие серьги, пояснила Майис, вручают детным женщинам с пожеланием счастья в доме, а девушкам носить не положено. Если Изе не суждено выйти замуж, незачем будет прокалывать мочки ушей для маминого украшения. Серьги лежали в шкатулке с кулоном, где раньше хранились и желтые янтарные бусы. Папа Хаим сам нашел камешки янтаря на берегу Балтийского моря, отшлифовал их и подарил Марии... Теперь они

покоились в земле вместе с ней.

Березовая роща спрятала кровли примыкающего к заводскому поселку колхоза. Не видно было ни красивого дома Васильевых, ни кузни дяди Степана под горой.

В новом доме семья прожила недолго. Кузнец выследил в заповедном лесу незаконных лесорубов, и они его убили. Расследование завершилось быстро, но уже после того, как Майис в поисках мужа бесследно пропала в тайге. Родственники забрали Сэмэнчика в Верхоянье, с тех пор Готлибы о нем не слышали. Иза все еще не верила в гибель Майис...

Матерый сосняк подпирал бирюзовую юрту небес на вершине горного кряжа, обжигая саднящую память жаркой медью прямых стволов. По этим горам, в обход большого озера, матушка Майис водила детей за черной смородиной. Однажды они вышли на варварски искромсанный участок тайги. Торопливые вальщики без счета порубили строевые сосны. Не все лесины поместились на тракторную волокушу, много их валялось среди ворохов умирающих крон. Майис пела печальную молитву, просила мать-тайгу простить человеческий мир за алчность отдельных людей. Янтарная кровь на пнях погубленного леса крепко запала Изочке в душу. Иза была уверена, что те же нелюди расправились с дядей Степаном несколько лет спустя.

Предгорье охватывали знакомые опояски темного хвойника с пестрыми каймами смешанных перелесков. Там росли ажурные от солнца березы и зябкие осинки с копеечной листвой. Мама собирала под осинами грибы с мясистыми красными шляпками, тотчас чернеющие на срезе. Изочка соглашалась есть жаренные с картошкой подосиновики, а от скользких, как мыло, соленых груздей отказывалась наотрез. Сама же, привычная к якутской пище, удивлялась, почему Марии не нравятся суп с коровьими потрохами и белая колбаса субай из жеребьячьих кишок, вкуснее которой вообще ничего нет...

Долина стелилась бархатными скатертями колхозных пашен со смежными отрезками сенокосных угодий. Зазеленел широкий луг, принадлежавший Васильевым, с круглым озерком посередке и обновленным летником. Кому-то отдали бесхозное место...

У перепутья все так же возвышалось шаманское дерево. Не лиственница, как полагается у шаманов, а почему-то сосна. Наверное, это дерево просто для памяти. Старую сосну украшали плетеные волосяные шнуры с лентами и прядками из лошадиных грив. Прохожие обязательно «угощают» шаман-дерево чем-нибудь вкусным или преподносят ему небольшой подарок. Подножие завалено всякой карманной мелочью –

вышитыми табачными кисетами, медяками, пуговицами... Иза встrepенулась: привиделось, что кто-то махнул то ли платочком голубым, то ли лентой. О, да это же она сама давным-давно привязала к шнуру атласную ленту из косицы в подарок сосне!

Беззаботное детство Изочки, еще не знающее потерь и смертей, махало на ветру выцветшей голубой ленточкой вдогонку Изе. До нее вдруг с беспощадной остротой дошло, что она никогда больше не прибежит сюда по горячей пыльной тропе, не прижмется ухом к сосновому стволу, чтобы послушать, как гудит под смолистой корой сердцевина, окруженная кольцами лет.

Алас^[7] матушки Майис, налитый соком быстротечного лета, проплывал мимо. Невозможно было остановить наступательное течение волн, бесконечный их бег, хрустальный плеск. Пальцы сжали в ладони куриного бога. Крапчатый, как яичко дрозда-рябинника, сердолик висел под воротом блузки на кожаном шнурке. Волны с ювелирным тщанием отполировали голыш песком, проточили в нем отверстие для шнурка. Сын Майис Сэмэнчик подарил этот камешек Изочке в день ее переезда с мамой в город...

В румяный закатный час из вспоротой гущи леса взмыли Ленские Столбы. Причудливо вырубленные скалы, высоты невероятной, заставляли зрителей ахать и запрокидывать головы. Облитые солнцем утесы – гигантские воины в островерхих шлемах и пластинчатых латах – в оцепенелом изумлении всматривались в водяных двойников.

Иза помнила рассказанную Майис легенду о том, как богатыри съехались со всей тайги на зов юной Лены посостязаться за ее благосклонность. Сотни женихов явились, и девица пришла в волнение, а когда успокоилась водная гладь, огромное воинство узрело перед собой точно такую же армию. Броситься бы противникам в битву, но выяснилось, что великаны успели окаменеть в том виде, в каком застала их ослепительная красота невесты. На сотни километров растянулись по правую руку, а иногда по обоим берегам монолитные конницы, разрозненные ватаги либо пара-тройка витязей – неразлучные товарищи и смертельные соперники. За миллионы лет пластины брони взялись охристой ржавью, превратились в обглоданный ветрами известняк. Кое-где за вершины и наметенный суглинок арочных переходов зацепились деревья. Темнели косматые, черные против огненного заката. Сонную розовую тишину нарушали пронзительными вскриками только стрижи. Тайга мрачнела, небо оставалось опаловым, цвета молочного пара над вечерним подойником. Лунные мостки зыбко покачивались в воде. Едва

начинал золотиться восток, из-за горной цепи выкатывалась раскаленная гривна солнца. Дядя Степан говорил, что кузнецы льют красную медь ночью, когда ее строптивные рудные духи покладисты...

Спозаранку Иза поднималась на верхнюю палубу по ковровой, без единой морщинки, лестнице. Под каждой ступенью зеленую дорожку натягивали покрытые блестящим никелем прутья. Отражение желтой блузки весело скакало по ним песочным ручьем. Ветер на палубе приятно дул в ресницы, Иза читала ему наизусть отрывки чеховских пьес или просто сидела – слушала песни реки. Бабушка Лена знала все ее секреты. В песнях перетекали один в другой голоса Марии и матушки Майис, журчала свирель цыганенка Базиля, звенел майский ливень, рухнувший когда-то в день драки с Гришкой... Река пела алгыс^[8], благословляя уходящую внучку на любовь к миру и равновесие с ним.

Попутчиков Иза сторонилась и ни с кем не откровенничала. Свежо было в памяти наставление тети Матрены: «Не доверяйся никому, миленька моя! Гляди в оба: на пароходах-поездах полно жуликов, прикинутся добрыми и залезут в сумку или чемодан. Скрадут чего-нибудь – не заметишь...» Небольшой по габаритам чемодан оказался вместительным. Все имущество легло в него ловко, начиная с комплекта выпускного белья, заканчивая пушистым «собачьим» свитером. Мамины деньги, по совету соседок, были припрятаны надежно – в кармашки, пришитые к левой стороне трусов, а шкатулку и кошелек с расходными рублями-копейками Иза втиснула в сумочку и не выпускала ее из рук.

Вручая сумочку, Бэла Юрьевна театрально взмахнула рукой и, как в чеховских «Трех сестрах», воскликнула: «В Москву, в Москву!» Да... а дядя Паша, если верить тете Матрене, отозвался о Москве неласково: «Звон город – злой норов». О чем это он, интересно?

Через две недели пароход подошел к пристани Осетрово. Иза в последний раз умыла лицо ленской водой. Хотелось отойти куда-нибудь в безлюдное место, побродить босиком с краю прилива и, может, поплакать, но транзитные спутники уже скрылись за береговым склоном. Оглядываясь в отчаянной спешке, – прощай, Лена! – она бросилась их догонять.

Плацкартный вагон переместил Изу в привычную коллективную жизнь. Пассажиры дулись в карты, унимали маленьких баловников и тщетно пытались вздрорить с невозмутимой проводницей. Тяжкие запахи пота и туалетной хлорки путались в оконных занавесках с папиросным дымом из тамбура. Мимо неслись немислимые просторы – леса дремучие, реки бегучие, горы непролазные. Иза мчалась в тридевятое царство за тридевять земель и всей кожей чувствовала, как увеличивается расстояние между ее

прошлым и будущим. Безумолчный рельсовый ксилофон загадочно выстукивал: «По-жди, сказ-ка бу-дет впе-ре-ди».

Далеко остались якутские белые ночи, здесь к окнам до ужина льнули любопытные сумерки. Покупая у местных хозяек на станциях горячие пирожки с ливером и черемшой, Иза вспоминала поговорку дяди Паши: «Есть что в рот положить – вот и день прожит». Он знал уйму прибауток и редко повторялся. Состав отбивал разгонную чечетку, отдаляясь от кирпичных вокзалов, воздвигнутых по старинке с зубчатыми торцами, и снова бежали вспять тусклые деревеньки, снова вспыхивали и гасли поля жарков в непроницаемой гуще тайги.

Возле Свердловска поезд пересек границу Сибири. В этом городе училась Полина Удверина, певучая гордость детдома. Настороженная и самолюбивая, она проталкивалась по жизни локтями, кулаками и крепким словом. В Уральскую консерваторию Полина поступила два года назад. На письма отвечала редко. Некогда было, наверное, учеба, репетиции, концерты, то-се, и привычка к большому городу приходит не сразу. Иза старалась не думать, как сама она будет жить в огромной столице одна, без девочек, без дяди Паши и воспитателей. Без Гришки... А думала постоянно – с чувством нарастающего смятения и тревоги.

Глава 5

Даже если люди не летают...

Приблизилась долгожданная Москва. Патриархальную живопись потеснила пчелиная графика глазастых коробок индустриального пригорода, вымахнули дымные трубы, и, наконец, завопил приветственный гудок. Иза приготовилась к многолюдью, но суматошные народные массы за барьером платформы все равно ошеломили ее. Словно половина страны кого-то встречала, провожала, куда-то ехала и толклась на перроне от нечего делать.

Бэла Юрьевна хорошо объяснила, где что находится, Иза сориентировалась сама, без чужой помощи. Влилась в бурливый ручей, освоилась и даже стала примечать в столпотворении разные дамские прически. Чаще всего встречались «бабетты» («вшивые домики»), запущенные в моду Брижит Бардо, и обесцвеченный «пергидроль» – длинные прямые волосы, как у Марины Влади в фильме о лесной дикарке. И зря Иза расстраивалась вчера из-за новой трикотажной юбки, доведенной плацкартой до преждевременной ветхости. Юбка, оказывается, устарела до своего приобретения. Москвички щеголяли в затянутых поясками «колоколах», цокая шпильками по асфальту, как лошади на плацу. Прав был дядя Паша: столичные барышни, конечно, не ходят зимой в валенках и простеганных ватой пальто из грубого сукна... Иза не понимала себя: осуждает она модниц, или ей все-таки нравится их вызывающий вид? Не успела устыдиться (не слишком ли много думает о внешности?), как тотчас обо всем забыла: перед глазами распахнулся самоцветный сказочный мир!

Маме о метрополитене рассказывал папа Хаим, ему до войны доводилось ездить в берлинских туннельных поездах. Но Изочка не слышала от мамы ничего подобного и была совсем не готова очутиться в подземелье Хозяйки Медной горы! Стены и полы станции сияли мрамором утренних тонов, сверху ярусами спадали хрустальные люстры, озаряя мозаику потолочных сводов. Чудесные картины представляли ключевые моменты истории, а история не стояла на месте – продолжалась демонстрацией мирных достижений! Подвижные лестницы бежали в земное чрево и обратно, расстилая под ноги железные гармошки ступеней, поезда доставляли пассажиров, куда им нужно, по сложному витью путей в

искусственных гротах. Казалось несправедливым, что люди платят сущие копейки за возможность ездить в метро и, не обращая внимания на его музейно-техническое великолепие, торопятся разойтись по галереям без всякого восхищения на лицах.

Обнаружилась лишь одна (кроме Изы) ценительница здешних красот. Задрав голову, посреди зала возвышалась деревенская девушка в платье ниже икр. И сама она, и все в ней было большое, яркое: румянец во всю щеку, восторг в серых глазах и уложенная пшеничным свяслом коса, а за плечами бугрился рюкзак размером с двухнедельного теленка. Иза еще на вокзале заметила, что провинциалов, непривычных к шуму и толчее, отличает общий налет неуверенности в себе, будто особенность какого-то отдельного народа, аж обидно. А в этой сельчанке никакого напряжения не наблюдалось, и возвращаться с потолка на землю она не спешила. Не смущали девушку гудящие толпы, обтекающие ее, как добавочную колонну.

Иза тоже была бы не прочь так постоять, но прибыл нужный поезд. Войдя в переполненный вагон, она едва подавила крик: к ней повернулся мужчина в темной маске, с ружьем за спиной! Фарфоровые белки глаз выпукло светились в прорезях – блэк энд уайт... Уф-ф, ничего страшного, обыкновенный негр. Хотя не совсем чернокожий, скорее, каурой масти, если это лошадиное определение применить в данном человеческом случае, а «ружье» оказалось фигурной тубой с каким-то музыкальным инструментом. Вспыхнули изумительно белые зубы, Иза улыбнулась в ответ, но африканец отвлекся... и жуткий вопль заглушил громыханье колес.

Кричала, конечно, не Иза. В несколько мгновений вместилось много всего. Протянув руку давешней сельчанке с рюкзаком, негр успел вовлечь ее в двери, когда механический голос предупреждал об их закрытии. Она смотрела вниз в щель платформы и, не глядя на хозяина руки, свою подала машинально. Сила инерции бросила девушку в нечаянные объятия «человека в маске», поэтому вопль был хоть и короткий, но душераздирающий. Так же, как Иза, она явно впервые увидела негра не на картинке.

– Йа не кусаться, – сообщил он девушке, вновь расцветая. Зубастая улыбка, вероятно, убедила ее в обратном. Оттолкнув спасителя, тараня толпу с энергией ледокола, она забурилась в проход. Иза сочла нужным улыбнуться гостю, чтобы не подумал плохо о людях советской провинции. Опять впустую: он озадаченно уставился туда, где мелькнул и скрылся пшеничный девушкин крендель.

Вагон тасовал пассажиров на остановках, как карточную колоду. О комической ситуации помнили разве что Иза, девушка впереди и гость, кажется, огорченный ее бегством. Никто на него не пялился, и чета других иностранцев, смешно стрекочущих на бурундучьем языке, никого не заинтересовала. На прощание Иза улыбнулась кауруму негру не напрасно, он заметил.

На улице людской водоворот кружился так же стремительно, как в метро. Асфальт, разогретый солнцем и трением несметных подошв, обдавал жаром ноги. Бульвары приглашали пройтись под тенью деревьев, обещая скамеечный отдых невдалеке от шумной магистрали. Зеленые кроны поднимались выше фасадов, окрашенных в нежные цвета зефира и крема. Трехглазый светофор регулировал дорожный ход. Всегда ли исправны эти подмигивающие фонари и тормоза машин? А то замешкаешься посреди дороги, и обложной металл с ревом ринется тебе наперерез! Многослойный московский мир и тут позаботился расступиться лестницей, ведущей пешеходов в подземный переход.

Выныривая из каменных недр, Иза посмотрела вверх, где в поисках удобных карнизов кружили голуби. С куполами церквей мирно соседствовали антенны радиостанций, а над макушками домов-атлантов пушились облачные очески. Бэла Юрьевна рассказывала, что в Москве семь небоскребов. В самой большой высотке на Ленинских горах, возведенной комсомольцами-стахановцами, учатся студенты Московского университета имени Ломоносова. Посещает ли обитателей верхних этажей желание, распластав крыльями руки, полететь над городом птицей? Изу бы посещало. Может, скоро ученые вместе со средством против старения изобретут индивидуальные летательные аппараты. Улицы опустеют, небо сделается густонаселенным. Подоконники превратятся в мини-аэродромы, не нужны будут подъезды, лестницы и двери...

– Отчего люди не летают, как птицы? – на ходу спросила себя Иза мечтательным голосом Катерины^[9].

Проходящий мимо мальчик в пионерской пилотке остановился и серьезно сказал:

– Потому что они – люди.

Такой приземленный мальчик-материалист!

Вход в учебное заведение, из которого Иза через энное время собиралась выйти подающей большие надежды актрисой театра и кино, преградил бумажный листок. Он белел с заманчивым призывом, а весть доложил невозможную, как если бы вместо ТАСС был уполномочен заявить, что сию минуту здесь начнется землетрясение.

«Прием заявлений... желающих поступить... окончен...» – перечитала Иза дважды, не веря глазам, но и в третий раз категорический смысл машинописных букв не изменился, в отличие от смысла жизни. Рухнули, поверглись в прах складно выстроенные планы на сегодня и годы вперед. Вот тебе и «люди не летают»... Прав был здравомыслящий мальчик.

Оцепенев у двери монументом бесплодных желаний, Иза переживала в себе конец света, но вот нос защемили слезы, и короткое замыкание прервалось. Рано сдаваться! Надо отправиться напрямиком в деканат и объяснить, что ехала издалека, поэтому опоздала. Рука решительно сжала дверную ручку, а потянуть не успела – дверь сама открылась. Из нее, будто из-за отодвинутого холста с нарисованным очагом, выплыла кукольно прекрасная дама с голубыми волосами.

– Здравствуйте, – пролепетала Иза в оторопи от явления престарелой Мальвины.

– Добрый день, – приподняла та подрисованные брови. Быстрым взглядом окинула незваную гостью с головы до ног. – Вы куда?

– Сюда, – глуповато ответила Иза на глуповатый же вопрос, страдая, что в измочаленной юбке и потертых спортивных тапочках выглядит обдергайкой.

– Поступать?

– Я... мне нужно поговорить с деканом...

Мальвина указала на объявление:

– Здесь сказано: «Прием окончен».

– Совсем?..

– Вы опоздали.

Поправив упавший на глаза локон (просто седой и подсиненный), дама всмотрелась в Изу пристальнее, и голос ее смягчился:

– Небывалый нынче конкурс. Не расстраивайтесь, прием в вузы не везде завершился.

Иза сказала «спасибо» и поплелась куда глаза глядят, а они заплакали. Пришлось забрести под первую же арку.

Тень замкнутых полукругом домов обрывалась на залитой солнцем детской площадке. Она была почему-то необитаема, но возле песочного дворца с увядшей веточкой-шпилем сохранились следы сандалий маленького зодчего. В углу бордюра подрагивал пуховый катышек, забытый последним тополевым ветром.

Лениво полз жаркий, совершенно безнадежный день. В такой день хорошо загорать на берегу родной протоки, а не сидеть с разбитыми надеждами в чужом дворе чужого города. Провал с поступлением убил

Изу. Возможно, не навсегда, но на неопределенное время. Мрачные мысли плыли в мозгу караванами и порознь, как паузки по реке в туман. Думать о неудаче было больно, что все-таки подтверждало – жизнь не ушла. Иза бросила караваны на середине реки и со сладко-прощальной обреченностью посмотрела на себя сбоку. Ей случилось видеть свое «я» со стороны, когда обстоятельства складывались не в ее пользу. Жалея теперь это «я», Иза одновременно иронизировала над ним и даже немного злорадствовала. Ведь мечтала же сняться в кино и прославиться? Мечтала. Получила славой по шее? Поделом. Не виновата Москва в том, что не хочет завоевываться ничьей славой. Полно бродит таких мечтательниц с подрезанными крылышками по столице нашей необъятной родины.

Солнечный проем арки притворялся отрезком сцены. По ней спешили куда-то несостоявшиеся балерины, поэты, космонавты, капитаны дальнего плавания, объединенные коллективной надеждой на светлое завтра. На подвижных декорациях проносились грузовики, трамваи и юркие, воплощенные в чью-то реальность мечты-автомобили. Голубые автобусы напоминали своим цветом, что не у всех все сбывается. Железо катилось хозяйской полосой, и ни одна лошадка с телегой не нарушала заданный светофором бег...

На полупорожних грунтовых дорогах за границей Сибири транспорт был на треть гужевой. Все мамины деньги отдала бы Иза за то, чтобы оказаться сейчас на одной из родных дорог. Но как глянуть в глаза тем, с кем попрощалась? Что им сказать? Вот она – я, несолоно хлебавши возвратилась домой?

А разве у нее есть дом? Нет нигде.

Время менялось без участия Изы, и неспешный ход минут отдалял ее от конца света. Она ждала той ...надцатой, когда пережитое уколет-уколет – и улетучится, даст место новым мыслям. Эта минута в конце концов наступила после того, как подумалось: мечта – не потеря того, что было, а расстраиваться из-за того, чего не было, по меньшей мере глупо. Можно попробовать устроиться на работу по лимиту прописки здесь, а можно и в Каунасе. Иза когда-то решила забыть о городе, где погибла вся папина родня, но раз такое дело... Адрес каунасского друга родителей записан в блокноте, подать телеграмму – непременно встретит, поможет с жильем. В стране всюду нехватка молодых рабочих рук. А мечта пусть как следует вызреет за год-два и докажет, что она непреходящая.

Из окна дома напротив донеслась песня из кинофильма «Девчата». Старый клен приглашал кого-то на прогулку. Иза привязала влажный от слез носовой платочек к шпилью песочного дворца. Высохнет платок,

взовьется флагом – дуй, ветер! Повзрослеет маленький зодчий и возведет настоящий дворец. Возраст Изы тоже «репетиционный» – семнадцать лет! На душе сразу стало легко и просторно. Переночевать решила в гостинице при железнодорожном вокзале, а утром взять билет в Каунас.

В кошельке сохранилось прилично копеек на музеи и мороженое, выглядывал даже краешек новенькой хрустящей пятерки. Юбка жеваная? Ну и что! Среди шести миллионов москвичей никому нет дела до непрезентабельного вида Изольды Готлиб. И она, ни к кому, ни к чему не привязанная, вольна пригласить себя на прогулку до вечера, куда ей заблагорассудится.

Арка-сцена приняла зрительницу под округлые своды, придержала у поворота и пропустила в действие. Иза перешла незримую линию раздела, чтобы рассмотреть столицу глазами человека, не ждущего от нее для себя никакой выгоды и готового восхищаться всем увиденным. В зеркальной витрине отразилась задорная девчонка с длинной косой. В правой руке она несла необременительный чемодан, в левой – только что купленное эскимо и придерживала локтем сумочку цвета беж на ремешке. Девчонка подмигнула Изе: не все потеряно, даже если люди не летают!

Невесомые тапочки пританцовывали на ходу. Равновесие нарушилось невезением, а она чувствовала беспричинную радость. Бесцельно, из радости узнавать фамилии артистов, ознакомилась с программами спектаклей и концертов на афишной тумбе, нисколько при этом не печалась, что имя Изольды Готлиб не украсит анонсов. Полюбовалась картиной за стеклом гастронома: каравай на вышитом рушнике, рифленые батоны, облитые лаком печного жара. Вспомнила гостеприимный противень тети Матрены...

Из магазинных отделов несло пряной мойвой и молочной сывороткой. Иза пообедала маковыми бубликами и стала совершенно готова к экскурсии. Для Третьяковской галереи, пожалуй, целого дня не хватит, но Москва – сама музей. Говорят, дороги мира ведут в Рим, а в Москве они ведут к Кремлю.

Глава 6

Москва собирает таланты

Краснокирпичные стены Кремля ощерились поверху раздвоенными зубцами. Когда-то стены защищали островное, в окружении двух рек, княжье гнездо. Крепость перенесла пожары, эпидемии, войны, но ни в царскую пору, ни позже Царь-колокол не бил тревог, а Царь-пушка не стреляла по врагу, хотя воины шли отсюда сражаться и возвращались с победой. Иза шла и думала, что нигде так сильно, как здесь, не ощущается суровая поступь истории. Пятиконечные звезды стрельчатых башен льют рубиновый свет на всю планету, опровергая лженауку астрологию, что берет на себя смелость предсказывать по звездам судьбу человечества. Часы Спасской башни отмечают ход земного времени. Кремль твердо держит руку на пульсе событий, учит людей жить и строить коммунизм. XXII съезд партии объявил о полной и окончательной победе социализма в стране. Тогда же в новом Дворце съездов была принята программа построения коммунизма за двадцать лет. Когда Изе исполнится тридцать пять и она постареет, у каждой семьи в стране будет собственный дом или квартира, а у каждого бессемейного гражданина – отдельная комната в общежитии. Города устремятся к небу высотками, на первых этажах расположатся детские учреждения, химчистки, ателье, библиотеки, универмаги... Отпадет необходимость думать о деньгах. Высокий уровень производительных сил позволит каждому человеку брать, что ему нужно, в магазинах бесплатно. Коммунистически сознательные люди не возьмут себе лишнего, работать же станут с полной отдачей, чтобы всем всего хватало и даже оставалось.

О такой жизни для людей мечтал Ленин. Его забальзамированное тело лежит в траурном зале Мавзолея глубоко под землей. Владимир Ильич спит и, должно быть, видит сны о своих вечных поминках. С утра до вечера проходит у открытого саркофага вереница гостей. Ленин остался единственным экспонатом склепа. После съезда гроб с телом Сталина похоронили в некрополе у кремлевской стены... Время усатого портрета не вернется. Он сгорел навсегда... навсегда. Изе очень хотелось верить в победу программ партии под справедливым руководством Никиты Сергеевича Хрущева и Центрального комитета.

По сигналу курантов сменился почетный караул у гранитной

усыпальницы. Иза с сожалением окинула глазами очередь – скучающую гусеницу-тысяченок. Вот голова, а хвост растворился вдали в бесцветном от расстояния камне. Нет, не придется сегодня поблагодарить вождя за возможность учиться по его завету, за будущую комнату в общежитии... или квартиру, если Иза когда-нибудь передумает не выходить замуж.

Открытки не преувеличивали красоту собора Василия Блаженного. Ансамбль был похож на собрание русских теремов в азиатских чалмах. Недаром собор воздвигли в честь победы над Казанским ханством – последним прибежищем Золотой Орды. А Красная площадь оказалась небольшой. Как детская ладонь в масштабах гигантской Москвы.

Величие площади, конечно, измеряется не метрами. Она давно стала символом народного патриотизма. Это чувство столь огромно, что мерил для него не существует. Даже если бы кто-то взялся мельчайшим почерком от края до края брусчатки описать любовь советских людей к своей стране, ни жизни, ни места не достало бы рассказать о всех военных и трудовых подвигах, о всех открытиях, изобретениях, произведениях литературы и искусства во славу Родины.

Людская река стягивалась к длинному дворцу ГУМа, точно на внезапно объявленный аттракцион. Продажа всего лучшего, что могут предложить потребителю торговые пассажи, своего рода еще развлечение и выставка.

В разветвленных линиях царил пылкая суэта. Безудержная волна подхватила Изу, едва она сдала чемодан на хранение, понесла мимо аркад, витрин, дверей к неведомой цели, притиснула к прилавку. Целью, как выяснилось, были черные водолазки в шуршащих пакетах. Душный вал хлынул сильнее, сдавил со всех сторон, остро тыча локтями в бока. Иза вдруг почувствовала неприязнь к хищноглазой, рукастой стихии. Время, между прочим, рабочее: они что, не работают все?! Выбравшись из толпы, опомнилась: и я хороша! Поддалась ажиотажу, полезла, а деньги-то в трусах! Ничего... Есть еще у народа семнадцать лет для перевоспитания... При коммунизме фабрики произведут столько водолазок – хоть завались! Причем даром...

Представляя, как на глазах изумленной публики задрала бы в запале юбку и полезла в трусы, Иза прижала ладони к полыхающим щекам и помчалась по проходам и лестницам. Оравы покупателей с охотничьим блеском в глазах рыскали по огромному магазину, атакуя прилавки, но уже не хотелось знать, где что продается.

У выхода ее выловила за руку молодая женщина с заговорщицким выражением лица, притянула к себе и зашептала:

– Болгарские блузки... С утра в очереди на ногах, кое-как стою...

Из-под застежки пухлой сумки высунулся прикушенный, как язык, угол лиловой ткани.

– Спасибо, мне не подходит сиреневый цвет. – Иза безуспешно попыталась вырваться из цепких пальцев.

– Вы совершенно напрасно так думаете, – приглушенным голосом затараторила женщина, вонзая ей в запястье острые коготки. – Еще как подходит! У вас глаза синие, а сиреневый почти голубой, считайте, васильковый. Есть ваш размер. Ровно по фигуре, сами убедитесь.

– Извините, мне больно...

– Что больно, что больно? – всполошилась женщина, но руку не выпустила и принялась подталкивать пленницу к углу.

Иза собралась купить блузку, лишь бы назойливая торговка отстала. Как же умудриться залезть в собственный кармашек... чтобы никто не видел? Может, встать к стене и как-нибудь... очень быстро...

– А на меня кофтенка найдется? – поинтересовался кто-то над ухом, и женщина с Изой подняли головы. Сверху вниз улыбнулась им сельчанка с рюкзаком. Надо же – третий раз на дню встретила в московском муравейнике!

– Нет, на вас блузок нет, – поспешила заверить торговка и ослабила хватку.

– Жа-аль, – очень искренне зевнула Изина избавительница. – Бравенькие кофтенки.

Рука освободилась, пронырливая спекулянтка нашла другую жертву. Поблизости раздалось:

– Болгарские блузки... Точно на вас, как по заказу...

– Хуже репея эти барыги, – усмехнулась большая девушка. Букву «г» она произнесла мягко, на украинский манер. Поправив на плече сползшую лямку рюкзака, по-мужски подала ладонь и крепко пожала Изину: – Ксенией меня зовут, Степанцова фамилия. А я тебя еще на станции приметил. Ты, поди, поступать приехала в Москву?

Иза неопределенно качнула головой.

– Значит, поступать. Имя-то скажи, я ж свое назвала.

– Изольда.

– Из-оль-да, – медленно повторила Ксения Степанцова, словно пробуя слоги на вкус. – Это по-каковски?

– Так звали принцессу из скандинавской легенды, – привычно объяснила Иза. – Но вы меня Изой зовите, а то длинно.

– А ты меня – Ксюшей, и с чего на вы-то? Давай по-простому. Посидим

где-нибудь на улице, что ли. Надоело пихаться в гурьбе.

Девушки сошли с мраморных ступеней, исшарканных миллионами ног.

– Не знаю, где ночевать буду, – пожаловалась Ксюша, усаживаясь на скамейку и вкусно хрустя сладкими кукурузными хлопьями. Прессованные «хрущевские пайки» в пакетиках продавались на каждом шагу. – Гляжу, и тебе идти некуда, раз с чемоданом шарахаешься до сих пор.

– Некуда. Но я собираюсь завт...

Ксюша, чем-то сильно взволнованная, не дала Изе договорить, что она собирается делать завтра, начала рассказывать о себе.

– Мама думала, что я до общаги смогу у двоюродной тетки перекантоваться. Тетка с мужем и дочкой в Трубниковском переулке живет, в благоустроенном доме. Я бы этот Трубниковский нипочем не нашла, на такси доехала. В звонок теткин звонила-звонила без толку и просто стучала. Вроде нету никого в квартире, а слышать было, как за дверью шепчутся. Должно, высмотрели по глазку-то в двери и побоялись открыть. Тетка ж меня не знает, а фотку мою мама не дотумкала наперед ей послать. Ну, «поцеловалась» я с глазком и пошла искать Вельяминова. Эльфрида Оттовна, докторша наша, письмо ему отправила с моим направлением. Вельяминов каким-то начальником работает в Управлении культуры, тут недалеко. Зашла я в тоё управление, гляжу: лифт в этажах носится. Я сперва решила – кладовка либо уборная, а это лифт с дверьми – взъемная кабина для тех, кому лень по лестнице топать. Вахтерша растолковала, как вельяминовский кабинет найти и про кнопки в лифту сказала. Хорошая старушка. А ты на ём ездила?

– В лифте?

– Ага.

– Нет.

Ксюша махнула рукой:

– Нетрудно! Лишь бы дверьми не зажало, как в метро, где денежку не так кинешь – и железяки перед тобой выскакивают. И прыгать надо скорей, все равно что с бегающей лестницы.

– С эскалатора?

– Ну да, с его... Так вот, отдала я письмо Вельяминову. Он направление прочел и записку Эльфридину. Походил по кабинету. Спрашивает: «Вы зачем ко мне пришли?» Вот те на! Я-то думала, докторша мой вопрос осветила в записке. А раз нет, терять нечего. Отвечаю, что в институте, который Эльфрида Оттовна в Москве для меня выбрала, есть факультет по клубному делу и нужная специализация – руководитель самостоятельного хорового коллектива. А направление мое, говорю, из районного Дома

культуры, но никаких прав поступать мимо конкурса мне не дает. Правда, в бурятском городе Улан-Удэ, близко от нас, целый институт культпросветработы открылся. Я бы, говорю, туда поехала, да знакомых нету тама. А он говорит: «Я же вам незнакомый», сам смеется. Я не растерялась, говорю: «Зато Эльфрида Оттовна вас знает. Она сказала, вы поступить поможете, потому что талантам надо помогать».

Скосив на Изу серые глазищи, Ксюша хрупнула зернистым брикетом.

– Это у меня.

– Что?

– Народный талант, то есть голос. Вельяминов мне говорит: «Пойте». Я один куплет спела, он сразу: «Хватит, хватит, а то люди подумают – застолье, и выгонят нас». Спросил, как Эльфрида поживает. Потом велел завтра с утра в институт прийти. Ладно, сказал, помогу, Москва собирает таланты.

– Без экзаменов поможет?

– С чего? Буду сдавать, как все. Просто комиссия ихняя проверит мой голос и музыкальные способности до сочинения. А то ведь после его меня сразу могут вытурить за ошибки, и спеть не успею. Сочинение-то у них первым экзаменом идет. Если понравлюсь комиссии, слабже на грамоту глянут.

«Типичная Фрося Бурлакова^[10], – молча изумилась Иза. – А Вельяминов, наверное, фильм смотрел».

– Я в нашем клубе по слуху любые песни на баяне подбираю, как аккомпаниатор. Еще на аккордеоне умею и пианине... Ой, болтаю, болтаю, а тебя не спросила, куда поступаешь!

– Уже никуда. Там рано прием закончился.

– А профиль какой?

– Театральный...

– Слушай, давай со мной, а? – обрадовалась Ксюша. – В «моем» институте учат на художественных руководителей, я читала! Самодетельными коллективами в клубе руководить. Можно, поди, и театральным, лишь бы талант был!

Внезапное предложение застало Изу врасплох. Руководитель самодетельного театрального коллектива? Почему бы и нет... Следовало хорошенько подумать.

Глава 7

«Ярманка»-день

Иза еле поспевала за большой девушкой, у нее и шаги были большими. Вертя подсолнуховой головой, она бубнила:

– Сил нет терпеть, сейчас обчишкаюсь! Где у них здесь уборные? Москвичи, верно, думают, будто приезжие не чишкают совсем?

Возмущенное Ксюшино бормотанье невольно побудило в Изе рефлексивные позывы. В любом общежитском дворе ее города можно было обнаружить за сараями скромный дощатый домик с известными буквами. Возле учреждений стояли беленые известью «домики» побольше, внутри темнел ряд отверстий над выгребными ямами – хоть по десять человек враз садись. А тут, в центре архитектурного пафоса, как-то даже неловко заподозрить наличие отхожих мест. Где же люди нужду справляют?

Они вернулись к Кремлю. Подвальный туалет нашелся под стеной Спасской башни. За дверью дамского отделения тихо, как мышь, стояла толстая тетенька с кондукторской сумкой на шее. Вместо билетов из сумки выглядывал рулон деликатной бумаги. Ксюша промчалась к отсекам, едва не пристукнув мышиную женщину дверью.

– Лимита понаехала, – прошипела та и наметанной рукой вытянула перед Изой сантиметров тридцать из рулончика: – Три копейки.

На выходе Ксюша улыбнулась тетеньке:

– Я вас чуть не сшибла, извиняйте...

Та презрительно поджала губы и не ответила.

– Гонору-то, гонору! Прямо директор жопных промокашек, – фыркнула на улице Ксюша.

– Туалетной бумаги, – засмеялась Иза, – или гигиенической.

– А! Кличь хоть космической, все одно задницу подтирать! Я у Эльфриды такие салфетки видала. Она говорит, немцы эту роскошь буржуйскую еще до войны выпускать начали.

Иза подумала, что большая часть страны-победительницы не ведает о подобных изысках. В детдомовской уборной был прибит к стене старый портфель. Дежурных обязывали следить за его наполнением исписанными тетрадами и газетами. Из газет предварительно вырезались фотографии передовиков производства, чтобы не пачкать их лиц. Правда, к концу дня

фотографии все равно простодушно сжигались в дырявом баке вместе с употребленными бумажками.

Люди выписывают много периодики. Не везде построены перерабатывающие заводы, вот и уходит макулатура на естественные надобности и растопку печей. Ученым некогда изобретать механизмы по выпуску интимной бумаги, они создают ракеты и ледоколы... Но вот об утолении летней жажды ученые, к счастью, позаботились. У автоматов «Газированная вода» ждали освобождения общественных стаканов терпеливые очереди.

– Сама хочу, – отвергла Ксюша техническую помощь. Громко удивлялась фонтанчикам с краев поддона, промывшим стакан, порции послушно влившейся в него розовой шипучки. Щурилась, довольная: – Пузырьки в нос колются!

Вопреки сокрушительной дремучести, девушка оказалась любознательна, как Колумб, и не пропускала без комментариев деталей московской жизни, задевших ее интерес. Призывно-красные автоматы с газировкой раз за разом манили Ксюшу проверить точность манипуляций. После трехкопеечных медяков пошли в ход копейки на воду без сиропа. Иза обеспокоилась: человек не обладает способностями верблюда оставлять в себе жидкость впрок... Результат злоупотребления механизированным чудом общепита сказался очень скоро. Новые поиски туалета привели к промтоварному магазину, под аркой которого скрывалось нужное заведение, оккупированное спекулянтами. Шла бойкая торговля лиловыми болгарскими блузками, рулонами сортирной бумаги и прочими редкими вещами. Иза не собиралась ничего покупать, но в кабинке на всякий случай сунула в кошелек несколько крупных купюр из секретного кармашка.

«Всякий случай» не замедлил представиться в виде белой с волнистыми линиями коробки Mitsouko. Сложно было найти более неподходящее место для торговли духами, но почему-то никто не удивлялся. Их продавала юная спекулянтка в вызывающе коротком платье и длинном, вровень с подолом, белом пиджаке, а может, пыльнике. Вспомнились слова Бэлы Юрьевны на танцевальных занятиях: «Уважающая себя женщина – это безусловно чистая обувь на каблук, прическа и капля польских, лучше – французских и совсем уж на крайний случай рижских духов».

Женщины подходили к спекулянтке, с сомнением нюхали коробку и перешептывались между собой: неужели действительно парижская парфюмерия? Не подделка? Спрашивали, сколько стоит. Осуждающе качали головами: такая молодая девушка... комсомолка, наверное, а уже...

– «Мицуко», герленовские, – сказала Изе странная продавщица. – Хотите, открою? – и, нисколько не конфузясь, извлекла из верхней упаковки нарядную темно-красную коробочку с золотистым изображением дерева, человека и птиц. В изящном флаконе угадывалась женская фигурка с плавно стекшими к узким «лодыжкам» складками стеклянного кимоно. Чудесная бутылочка, запечатанная бутоном хрустальной розы, издавала едва уловимое дыхание влажного после дождя лишайника, смешанное с горьковатыми оттенками спелого древесного сока, увядающих лепестков и сухих лимонных корочек. Иза влюбилась в этот осенний, чуть замшелый запах грусти раз и навсегда. Прохладный аромат немного походил на тот, что нежнейшим шлейфом реял за Бэлой Юрьевой по детдомовскому коридору. На заре превращения из девочки в девушку Иза мечтала о французских духах. Вот и сбылось... Должно же у человека что-то сбываться.

– Ой, держите меня семеро! – ахнула потрясенная Ксюша. – Я столько за месяц получала! У тебя что, родители начальники?

– Нет...

– С какого тогда перепугу кучу денег спустила? – дивилась, размашисто шагая, Ксюша. Говорила, не понижая голоса, на них оглядывались. – У Эльфриды «Красная Москва» была, она мне на Новый год давала попользоваться. Тоже хорошо пахнет. В тутошних магазинах «Красная Москва» свободно стоит, в коробке сразу одеколон и духи, и цена куда меньше. А ты что у барыги купила? Безделицу на одну подмышку!

– Франция же...

Ксюша захохотала:

– Франция-засранция! Поди, наша-то Москва не хуже ихнего Парижа!

– Лучшей! – развеселилась Иза. – Лучшей и большей! У них – Эйфелева башня, у нас – Ленинские горы, их еще Воробьевыми зовут! Оттуда, говорят, Москву с птичьего полета видно!

– Так айда?

Ксюшина разговорчивость быстро помогла добраться до станции нужного метро, и эскалатор-подъемник, как движимая волшебством терраса, помчал их на макушку лесистого холма над Москвой-рекой. Обнесенная гранитными перилами смотровая площадка была полна вездесущих голубей, фотографов и туристов. Ксюша подбежала к парапету с распростертыми руками:

– Здравствуй, Москва-а-а!

Лес внизу буйно клубился, нарастал к подножию и обрывался у камня

набережной. Острый киль какого-то судна распарывал атласную синь, открывая в разрезе кипенный речной подол. Река широко раздвинула здесь излучистые в локтях рукава, и во все стороны от ее светлых рук, от пышного кулича «Лужников» в зеленых ладонях леса, могучими волнами разлилось пестрое море города-исполина. В густо переслоенной зелени мозаике куполов и кровель вспыхивали золотые луковки церквей, и тысячи солнц сияли в тысячах калейдоскопических окон. Все было такое же красочное, как на открытках Бэлы Юрьевны, но просторное и живое. Скользя по величественной панораме замороженными глазами, Иза радовалась, узнавая среди глянцевого белизны храмов башенный сурик и колокольни Кремля. Взгляд останавливался на пиках сталинских высоток, слюдяных и полупрозрачных ближе к небу, на карамельно-розовых башенках Новодевичьего монастыря, на Шуховской радиобашне – поразительном подобии витой из тальника верши, какую ставят на щуку и налима в ленской береговой быстрине. Движения машинных кранов в сотах новых жилых массивов, дым заводских труб позволяли оценить колоссальный размах городского строительства. Погружаясь вдаль, разноцветное, ажурно-ступенчатое, цветущее и каменное тело столицы терялось в пеленах распаренного горизонта. А позади возвышался главный небоскреб страны, главный ее университет – воплощенная в рукотворной высоте и объемах ода вертикали. Распахнув многооконные крылья корпусов, невероятная птица советского зодчества словно собралась взлететь, присела слегка и вытянула утонченную шею к небу, где шпиль ее, увенчанный филигранной звездой, тонул в трепете предвечерней зыби.

Ксюша задыхалась от избытка чувств, не в силах оторваться от грандиозного зрелища. Пока спускались, Иза тоже все оглядывалась на площадку, оставшуюся наблюдать биноклями, как в зависимости от погоды и времени меняется необозримое пространство Москвы.

Странно было бродить по заповедным дубравам в центре большого города. В тесном плетении ветвей пели храбрые птахи, не чета робким таежным, чьи одинокие песни окутывает чуткий шелест листьев, да перебьет иногда скрипучий древесный стон либо барабанная дробь пирующей на ели желны. Некоторые деревья Иза видела впервые, но ни с какими другими не спутала бы знакомые по картинкам дубы – раскидистые шатры их крон, вязкий запах коры, отдающий застоялой кадочной водицей, их блестящие, кожистые, как перчатки, листья. Признала она и жилистые ладошки кленов, а уж липы, пусть и отцветшие, сразу заявили о себе чайным и мятным, чуть дурманящим благоуханием сердцевидной листвы. Встречались сосны – толстые, в броневом корье, забранные в узловатых

комлях плюшевыми оторочками ярко-зеленого мха. Совсем непохожие на гладкоствольный сосновый бор над деревней Майис. Руки помнили шелковистые на ощупь чешуйки с коры родных деревьев, а может, так казалось из-за прилившей к сердцу тоски по их солнечному теплу под низким к горам северным небом.

Кусты жимолости и смородины были тут точь-в-точь как в якутском лесу. В папоротниковом кружеве топорщились крупные листья ландыша, над колокольчиками деловито жужжали шмели, собирая остатки нектара в фиолетово-синих зевах. Пролетела одна стрекозка, другая... Лазурные дети воды быстро-быстро стригли пропитанный лучистой пылью воздух над влажной лужайкой, зависая в нем стеклянными брошками. Значит, пруд или озеро рядом.

Внезапно послышался резкий, какой-то выпуклый звуковой сполох, идущий будто откуда-то с неба, и сильный торжественный гул заполнил горы чистыми, ясными звуками с долгим эхом, какие издавала красная медь под молотком в кузнице дяди Степана.

На зарумянившемся лице Ксюши застыло благоговение:

– К вечерне звонят.

Каждый колокольный удар, полный железного гуда, не дробился, а таял, теплел ровно, протяжным хоральным вздохом. Уходил с мягких басов в высокую глубину светлого звона, превращаясь перед новым ударом в хрустальную, мельчайшими брызгами расплеснутую воздушную взвесь. Лес притих, затаился под неземную, но таинственно естественную в мире живых существ музыку. Она походила на многократно усиленную песнь весенней капели.

Небесный звон вывел вверх, на присыпанную песком дорогу аллеи. Ее завершала белокаменная церковь постройки не помпезной, проще и строже большинства храмов в городе. В отдельной колоколенке ритмично качался звонарь, будничным благовестом призывая народ к вечерней службе. К церкви в самом деле по двое-трое направлялись люди.

– Действует, не закрыли. – Ксюша перекрестилась в сторону и заторопила: – Поехали, а то завечерело, и рюкзак мне уже тяжело таскать.

Конечная остановка троллейбусного маршрута совпала с намерением прокоротать эту ночь в гостинице на железнодорожном вокзале. Троллейбус, подвешенный подвижными усами к электрическим проводам, катился по шоссейной дороге, будто по воздушной реке. Не выказывая никаких признаков усталости, Ксюша по-прежнему восторгалась пробегающими мимо уличными деталями:

– Сыну партии – слава! – гордо зачитала надпись на плакате со

снимком Гагарина и опечалилась: – А Терешкову Валентину рядом не повешали...

В радиус Ксюшиного взгляда, привычного к просторам колхозных полей, вмещалась вся законная Москва. Изу же утомили бесконечные конвейеры зданий и душный запах каленой мостовой, от которого замутило, как только поредела зелень. Закрыла глаза, но и тогда в темноте под веками назойливо проступила сдобная лепнина фризов, ордеров, картушей... Перенасыщенным декоративными изысками глазам было беспокойно – так случается после сбора ягод: ночью, пока не уснешь, колышутся перед тобой во мраке тронутые дымком спелости гроздьи.

Рядом пассажиры обсуждали снос домов на Красной Пресне. Мужской голос радостно сообщил, что жителей коммуналок начали переселять в новые квартиры. Кто-то посочувствовал:

- В черемушкинских пятиэтажках ни лифта нет, ни мусоропровода...
- Зато кухня собственная – это же счастье!
- Ах, как жаль...
- Что вы жалеете?
- Жаль: уходит старая Москва...

Вокзал шумел и суетился не по позднему времени. В кафетерии Иза переглянулась с Ксюшей: ну и цены! Всё же выпили по чашечке кофе без цикория. Вкус у него оказался потрясающий, как у дорогого шоколада. Нагулянный аппетит на ходу усмирился купленными в киоске пирожками, Иза еще взяла невиданный грейпфрут. Ксюша попробовала и скривилась:

- Горький этот грибфрукт! Хужей апельсина. Поди, незрелый.

Горечь в гибриде впрямь преобладала над апельсиновой сладостью и лимонной кислотой. Развенчанный плод упокоился на горке мусора в урне у гостиницы.

Пустоватый гостиничный холл разнообразили две вещи, не сказать, что приятные: меланхоличный холмик чьего-то жестоко начесанного перманента над администраторской стойкой и картонная табличка с красивой надписью: «Свободных мест нет».

– Скажите, пожалуйста, а что, совсем нет местов? – решительно осведомилась Ксюша.

- Нет, – качнулся овечий холмик.
- Ни одной койки? Мы б хоть вальтом...

Подошедший мужчина с обворожительно вкрадчивой улыбкой облокотился о стойку и вызвал заинтересованный трепет прически, сразу оказавшейся вполне симпатичной дамой. Virtuозно обогнув Ксюшу глазами, она с неподдельной отзывчивостью заговорила с новым

посетителем.

Сумерки на улице сгустились, вспыхнули фонари. В полумгле, несмотря на богатую иллюминацию, материал и цвет строений победила геометрия форм. Иза представила, как прекрасна ночная Москва с обзорной площадки, и огорчилась, что не остались в лесу.

Прогулялись по набережной, украшенной циклопической гравюрой моста, по людной площади и, отойдя от бульвара, нашли проулок с уютным сквером. В глубине под кленами обнаружилась неприметная с дорожки скамья.

Иза не дождалась свербящего комариного звона. Не тайга... Вечерний город мерцал светлячками окон, из кобальтовой выси сочилась звездная пыль, и снова кольнувшая сердце тоска неожиданно вырвалась вслух:

– А у нас белые ночи.

– Где это «у нас»?

Поддавшись искреннему Ксюшиному интересу и магнетическому сиянию звезд, Иза нечаянно рассказала о себе все. Ну, почти все. Будто прыгнула с высокого обрыва в реку и, пока летела, вся жизнь пронеслась перед глазами. В какие-то двадцать минут слов вместились те близкие люди, кто ушел, и те, кто остался, деревня дяди Степана и Майис, улица Карла Байкалова, детдом и школа. Иза удивилась малости своей жизни, хотя так подробно и долго никому ничего не рассказывала. Ксюша слушала очень внимательно, только вздыхала слабым эхом. «Жалеет», – сообразила Иза, смутилась и смолкла.

– Извиняй, что я про твоих родителей как о начальниках подумала. – Ксюша гулко высморкалась в платочек. – Ну, из-за духов-то...

– С детства мечтала о таких.

– Мало ли что намечтается, а ты не трать. – Ксюшин голос окреп и посуровел. – Вот поступим вместе и купим тебе зимнюю справу, а то все материны деньги на хахряшки спустишь.

– Ты, Ксюш, с Забайкалья родом, я правильно поняла? – спросила Иза, хитроумно сворачивая с наставительной темы.

– С него, – охотно переключилась на себя Ксюша. – Тятя говорил, что наши семейские пришли туда давно, при Екатерине. Мовет, и раньше. Где примечали пахотные земли, там останавливались.

– Семейские – народ?

– Народ-то народ, да не нация. Старообрядцы. Есть общинники, и безобщинные, и совсем темной веры, ни газет не читают, ни радио не слушают. А семейские потому, что после Никонова раскола жгли их, казнили, гнали отовсюду, и шли они по земле большими семьями. Правда,

потом разошлись: кто в Забайкалье, кто на Алтае осел, а тятиня родня вообще в Австралии живет. Письма не пишут, власти не велят, но тятя где-то вызнал – хорошо живут, – Ксюша засмеялась, – даже отлично, с собаками-дингами и кенгуриями. Тятя до того, как паралич его хватил, бывало, на милицию рассердится и в Австралию «едет». «Надоели! – кричит. – Уеду к австраалам!» Милиционеры нет-нет да приходили, искали чего-то. Говорили – сектанты вы. Почуем иной раз неладное, либо соседи предупредят, мама иконки в дерюжку завернет и закопает в назем, в огородном срубе для рассады... Тятя однажды с участковым повздорил, так тот кур в мешок покидал и утащил. Хотел тятя председателю пожаловаться, а мама сказала: «Ну их, из-за клахтушек связываться». Боялась, что отца могут посадить. Как семье без тяти? Нас, детишек, девятеро, вечно зыбка в избе. Старшие в школу, мы на вторую смену катанки ждем. Брат принесется, я в них влезу – теплые, и бегом на уроки. Утром дома хлебом пахнет, восемь караваев вмещается в нашу печь, если мука в запасе, а нет – на гольной бульбе сидим. В каникулы зерно перебирали для семени, чтоб колхоз цельное сеял, не посеченное, отделяли лебеду и полынь. Полынное семечко на гречку похоже, «торицей» называется. Эти отходы брали домой. Мама торицу через жернов пропустит, горькие караваи, а вкусные-е! Она браво стряпает. Мы как-то компанией на маевку пошли, снедь достали, гляжу – булки у всех белые, молосные, а мне мама ржаной сгибень стоговила. Я его, неказистый, с краешку приткнула. Покушали, ишу сгибенек – нету, вчистую подмели, а с ихних булок половина осталась... Потом наши старшие в колхоз записались. Навалом белого зерна выдали им в первый год на трудодни, вот была радость! Зимовали с пшеничным хлебом.

– А вера ваша семейская, Ксюша, сохранилась?

– Ну, иконы не вешаем – опасно. Когда прятать не надо, мама на полку ложит.

– Значит, ты в бога веришь?

– Как не верить, если все от Его? Мама говорит: «Что ни делаешь – Бога в душе держи».

– Разве ты не комсомолка?

– Комсомолка. А одно другому не мешает. Я так думаю: все хорошее, что есть на земле – дружба, труд, доброта человечья, комсомол и коммунизм, науки разные, – от Его. Почему, скажи, когда песни поешь, в душе так светло? Потому что и песни от Бога. Семейских хлебом не корми – спеть дай. Сеют – поют, пашут – поют, плачут ли, веселятся – все одно поют. У нас дома все певучие. Как назовешь фамилию, чужие люди

вспоминают: «А-а, это те Степанцовы, что ярманку остановили!» Легенда есть. Ехал народ на ярманку, дорога в обозах, негде ступить. А дедка мой с братьями лукавство задумали. Сложили мешки на дедкину телегу, он поехал, а братья вышли на гору над дорогой и давай песни петь. Обозы встали, народ про все на свете забыл. Пока концерт слушали, на базар опоздали. Дедка в тот день браво наторговал. После ярманки просто так на горушке пел, от радости, и те, что обратно ехали, опять останавливались... Все мы, Степанцовы, с двоюродными братьями-сестрами с концертов по праздникам не вылазим. Я так со второго класса. Работать начала, и то отпускали после обеда на репетиции.

– Ты тоже в колхозе работала?

– Не, в школьной столовой. Отпраздновали, помню, День революции, и поехала я в районную больницу медкарточку заполнять. По докторам сходила, остался гинеколог – врачиха по женскому организму, Кноль фамилия. Вот она и есть Эльфрида Оттовна, там я с ней познакомилась. Спрашивает: «Половой жизнью живешь?» Я не поняла. Она снова: «Спишь с кем?» «Ой, – говорю, – сколь себя помню, столь половой жизнью и живу!» Эльфрида посмотрела мне внутрь. «Зачем врешь?» Я в обиду: «Ничего не вру! У нас дома только родители на кровати спят, а мы, ребятня, как с зыбки, так на пол. Войлок постелем и спим». Глупая была, насмешила ее... После больницы я по маминым заказам в магазин прошвырнулась и опоздала на последний автобус. Никого в райцентре не знаю. Как назло, ветер подул. Стою-плачу, замерзла. Глянь – давешня гинеколог идет: «Чего реवेशь, половая жизнь?» Пожалела меня, позвала к себе. Дома у нее отопление казенное, плита диковинная, телефон. Позвонила в сельсовет, велела маму предупредить, чтоб не теряли. Почаевали с комбинатовскими булочками, Эльфрида пластинку поставила. Пластинок у нее!.. Не поверишь, вся полка в пластинках. «Музыку, – говорит, – любишь?» «Не просто люблю, – говорю, – а и сама играю и пою лучше всех у нас в клубе». «Спой», – велит, как Вельяминов в управлении сегодня. Ну, я спела. Одну песню, вторую. Она все: «Пой, пой!» Сама чего-то заволновалась, забегала по комнате. Про школу спросила. «Надо бы в вечернюю!» А какая вечерняя в нашем колхозе? Я семь-то классов кое-как кончила, не близко ходили в другое село гурьбой. Эльфрида подумала-подумала и предложила санитаркой поступить в стационар. «У меня, – говорит, – будешь жить и учиться». Я поначалу не хотела, чужой все-таки человек. Она мне: «Подумай». Мама жалела пускать – к чему, мол, лишняя грамота, а тятя сказал: «Могет, наша Ксюха в большие люди выбьется». Три года я у Эльфриды жила, работала в стационаре и в вечернюю школу

ходила. А однажды летом в отпуску замуж выскочила. Недолго за мужем сидела, вернулась к врачихе... Ох, как она с моей учебной нехотью воевала! Заставила дотянуть до аттестата. Аккордеон помогла купить, чтоб я музыкой занималась сама. Дорогущий... Я его на прощанье братишке подарила, он тоже играет. Выучусь, заработаю и новый куплю, или даже пианино.

– Эльфрида Оттовна – немка?

– Да, из Германии самой, антифашистка. Подпольщицей была. В тридцать восьмом попросилась в Советский Союз. Дали ей в Москве политическое прибежище, лекции читала в институте. Не простая врачиха, ученая, генетик по биологии. Есть такая наука – генетика.

Ксюша многозначительно посмотрела на Изу: спросит – не спросит? Иза спросила.

– Генетика изучает передачу наследства, – с готовностью принялась объяснять Ксюша. – Вот, к примеру, человек поет хорошо, а почему? Потому что родители хорошо поют и передали ему голос красивый по хромосомной теории, которую генетики придумали. Но другие ученые эту теорию опровергли, назвали неправильной и буржуйской. Особо один против выступал, Волосанко фамилия.

Ксюша наморщила лоб.

– Нет, Лысенко, кажись... Да хоть как. Главное – Сталин ему верил, поэтому партия объявила, что любого человека можно воспитать певцом или художником без всяких генов. Гены запретили, Эльфриду Оттовну эвакуировали к нам, аккуратно война грянула. Позволили работать в больнице, а многих ейных друзей отправили в тюрьму. Теперь вроде всех освободили. Восстановилась ихняя генетика. Эльфриду зовут в Москву, а она уже никуда не хочет. Старая, говорит, стала, в науке пусть молодые экспериментируют. Даже в ГДР не хочет, родня-то вся в Западной Германии осталась...

– Спой что-нибудь, – зевнула Иза. Впечатлений и переживаний за день случился переизбыток, хотелось спать.

– Милиция набежать может. Хулиганы, собаки.

– А ты негромко.

– Ладно. Тягину песню спою про Степанку-солдата.

Ой, по морю, да-а по синю,

Ой, корабли гу-удят.

Плывет с войны на-а-а войну

Бравый Степанка-а солдат.

Голос Ксюши ничем не напоминал Полинин. У Полины был с резковатыми звонцами в высоких нотах – то вился, как крутой ручей, то трепетал, как шелковый шарф на ветру. Этот забирал глубоко, дна не видно. Не голос плыл – текла тихая река с чистой, мягкой водой.

Ой, да грудь его-о в орденах,
Ой, а сам еще моло-одой.
Просит генера-алов солдат
Отпустить его-о домой.

Огни в домах погасли, кто-то уже видел первые сны. Ксюша, наверное, усыпила своей спокойной песней всех ближайших милиционеров, хулиганов и собак. Иза не слышала колыбельных с тех пор, как умерла мама...

Ой, да генера-алы мои,
Ой, давно я мать не видал.
С тятей не паха-ал я земли,
Женушку не це-еловал.
Ой, да генера-алы говорят:
«Ой, да море – сине вода.
Позабудь о до-оме, солдат,
Не вернешься ты никогда».

Чемодан Иза сунула под голову, укрылась свитером. Было тепло, а с Ксюшей – не страшно. В глазах мелькала конфетная, карнавальная московская палитра. Отбитый осколок Царь-колокола, прислоненный к постаменту, доверчиво блеснул по краям спрятанной в патине бронзой. С душистых лип, источая грустный аромат «Мицуко», летели цветочные зонтики. Жесткие дубовые листья шептались со стрекозками на языке лесных духов... Пестрая «ярманка» дня скакала обратно, наискосок, вперемешку и, вихрясь разноперым потоком, уносился в ночь. Иза крепче схватилась за круглую землю, чтобы не выпасть в космос. Звезды улыбались на черном бархате, как африканский гость в туннельном поезде. Блэк энд уайт... Между звездами вклинилась луна – пористый, незрелый, разочаровавший горечью южный плод. Грейпфрутовая луна вдруг обернулась желтым прицепом с разливным квасом. Точно такой же, окутанный хмельными парами и облаком пьяных мух, каждое лето стоял у крыльца магазина в Залог. Дома... Подумалось с жалостью: не пустили домой Степанку-солдатика.

Глава 8

Как много в этом звуке

С видного места в вестибюле свысока смотрела на всех Доска почета с фотографиями студентов-отличников. Под ней томилась очередь в первую коридорную дверь с табличкой «Приемная комиссия». Иза с Ксюшей удлиннили собой хвост очереди, а минут через пять она растянулась до лестницы на второй этаж. Ксюша то и дело бегала к входу смотреть в окно: боялась пропустить Вельяминова. Поступающие заходили в судьбоносный кабинет по одному. Табличка на мгновение взблескивала в полутьме, и толпу пронизывал сдавленный вздох.

Из двери выглянул импозантный старик в седом венчике вокруг благородной лысины, и Ксюша испуганно ойкнула. Оглянувшись на «ой», он обнажил в улыбке литую вставную челюсть. «Вельяминов», – поняла Иза.

Вельяминов, возникший с внеплановой стороны, почему-то навлек оторопь на свою протезе. Ксюша так смешалась, что забыла поздороваться, а когда старик взял ее за руку, инстинктивно уперлась. Иза молча подталкивала Ксюшу в спину, старик молча тащил ее куда-то, но безмолвная Ксюша была сильнее и стояла, как столб. Очередь, разумеется, заинтересовалась, возликовала и частью высыпала в вестибюль наблюдать за нечаянной пантомимой. Вельяминов рассердился:

– Не на эшафот идете, только из уважения к Эле время теряю!

– К какой Эле? – отмерла Ксюша.

– Наверно, к Эльфриде Оттовне, – шепнула Иза, и заторможенная Ксюша покорно стронулась с места, словно ей сказали «сим-селабим».

– Блатная, – осенило кого-то в толпе. – Надо жаловаться!

Вельяминов сделал вид, что ничего не услышал, Ксюша ускорила шаги, а плечи повесила.

– У нее талант, – обиделась Иза за новую подружку. – Голос народный, и направление из районного Дома культуры.

– У меня от республики направление, и то сомневаюсь.

– Эти договорятся, а мы с носом останемся...

– Такие везде пролазят!

Пока «эти и такие» поднимались по лестнице, Иза вертела головой, не успевая отвечать на злые реплики, и лихорадочно соображала, что еще

сказать в защиту Ксюши. А Ксюша скоро сама сумела за себя постоять.

Вначале со второго этажа просквозил неуверенный, будто недоумевающий звук, мало похожий на человеческий голос – подобные стоны доносятся под утро из хмарей туманных болот. Но не успела толпа рассмеяться, как голос выровнялся, окреп, вырвался на свободу и, точно хлестнувшее в луга половодье, затопил видимое и невидимое пространство.

– ...мне ль по силам Ты тяжкий крест даешь?

Невольные слушатели придушенно вскрикнули – не ожидали, что их всем скопом выбросит в реку, как донскую казачку с моста. Не простой рекой лилась песня! словно из глубины земли русской поднялась величавая ширь, былинная мощь, вдохнула волнение в души и позвала за собой медноустым малиновым звоном.

– Шаляпин в юбке!

Кому-то в голову пришло вчерашнее Изино сравнение:

– Фрося Бурлакова. Надо было сразу в консерваторию топать.

– Да-а, все бы блатные так пели...

Бог ли подарил Ксюше чудотворный голос, или певучие деды-раскольники, но была она, безусловно, талантлива. Не согласиться с этой очевидностью мог человек только с ограниченным слухом, а таких среди приближенных к искусству не оказалось.

– Что она поет?

– Ариозо из кантаты Чайковского «Москва», – пояснил высокий парень, чья мальчишеская физиономия веселым маяком сияла над волнами голов, а каштановая шевелюра нуждалась в стрижке.

– У девушки очень низкое контральто, но ведь партия-то для меццо-сопрано, – осторожно заметил второй знаток.

– Большой диапазон! – горячо возразили ему.

– Тс-с-с... Дайте дослушать.

Волшебный голос Ксюши разогнал насупленные против нее тучи, как авиация разгоняет их к первомайскому параду. Те, кто возмутился, теперь молчали в тряпочку, а певица не знала, что с каждой нотой обретает союзников и поклонников. Живая музыка текла вольно, светло, хотя несла слова сомнений и метаний, молитвы и веры. Минуя древние поселения, приютившиеся у подножия князьего града, песня начала взмывать к вершинам семи разновеликих холмов, ближе и ближе к Кремлю, жарче, звонче... Красный колокольный перебор, звон-город!

– Кто силу даст, силу крепкую?! – потребовал у кого-то ответа наполненный тревогой голос и, озаренный свыше, с торжественным

воинским смирением утвердил клятву: – ...Христов венец.

Вестибюль взорвался аплодисментами.

– Пишите жалобы, товарищи завистники, – засмеялся «маяк».

Иза поспешно отвернулась: парень поймал ее рассматривающий взгляд. Глаза у него были цвета жженого сахара, темного меда с коричневыми чайниками. Наверное, на той реке, откуда он родом, веснушчатые сердолики. А еще Иза удивилась их подозрительному блеску. Прослезился он, что ли, от Ксюшиной песни?..

Иногородних отправили в студенческое общежитие. Недалеко обнаружился гастронм, и девчонки наскоро перекусили кексами с молоком из треугольных пакетов. Воодушевленная успехом Ксюша кипела учебным рвением, будто для подготовки к сочинению ее сомнительной грамматике хватило бы оставшихся пяти дней. Сграбастала свой рюкзак, чемодан и побежала к четырехэтажному дому в конце аллеи – налегке не догнать. Иза и не пыталась. Шла, с зябкой дрожью вспоминая неприятного человека в кабинете приемной комиссии. Он испортил все радостное настроение после Ксюшиной песни. Вначале Иза не обратила внимания на мужчину, который бесшумно прохаживался за столами. Вчитавшись в ее анкету из-за плеча институтского представителя, он вдруг бесцеремонно выхватил у него из-под носа Изины документы и бегло просмотрел листок с автобиографией. На короткий вопрос мужчины Иза ответила так же коротко. Он кивнул и больше ни о чем не спросил, но в нее успел заглянуть детский страх. С тех пор как директор школы запретил ей петь советские патриотические песни, никто не интересовался политическим статусом ее родителей...

Мужчина был из тех людей, чей возраст трудно определить – то ли около пятидесяти, то ли за шестьдесят, – кряжистый, но скроенный ладно, с претензией на спортивность, с голосом невыразительным и прижимистым на интонации. Говорил он, почти не размыкая губ – длинных, лиловато-розовых, с влажным лаковым блеском. Не губы, а начиненные землей дождевые червяки. Завороженная их скупым шевелением, Иза не сразу заметила остальных особенностей лица, а они тоже могли потешить чье-нибудь любопытство. Белобрысые бачки мужчины упирались в костистые скулы, вяло обтянутые белой, обмякшей волнистыми морщинками кожей – такой она обычно становится на подушечках пальцев после долгой стирки в горячей воде. Дряблость кожи диссонировала с носом римской лепки и волевым подбородком. Но удивительнее всего были глаза – водянистые, дымно-мутные, подернутые во внутренних углах красной паутиной вен. Четкие зрачки в этих

капнутых кровью глазах, проведавших об Изе сразу и всё, выглядели лишними. Как пули. Мужчина расстреливал ими Изу в упор. «Враг», – осмыслила она, почти физически мучаясь от его взгляда.

...Изочка любила ходить с дядей Пашей на ветеринарную станцию. Там в стеклянных ящиках жили подопытные крысы. Изочка забиралась на стул и наблюдала за их копошением в норках под технической ватой. Однажды, улучив момент, она украдкой приподняла ватный покров и едва не упала со стула: из открывшейся пещерки молнией вымахнуло к ней пружинистое, продолговатое белое тельце. Изочка чудом успела отдернуть пальцы и на всю жизнь запомнила зубастую пасть, увеличенную ужасом до размеров пасти средней акулы. Выпуклые глазки твари отсвечивали красным, подвижный нос собрался в оскале розовыми складками... Дядя Паша хорошенько отчитал гостью за вольность. Объяснил, что в крысином обществе (как и в человеческом, кстати, Изочка) попадаются очень недобрые личности.

Так вот, мужчина из приемной комиссии вызывал ассоциативное сравнение именно с той недоброй «личностью» из стеклянного ящика.

Кто он? Преподаватель? Не дай бог, декан, а то и сам ректор? Манеры у мужчины были начальственные, другие в кабинете поглядывали на него как будто с опаской... или показалось?

...Кроме Ксюши с прыгучим рюкзаком на спине, Иза никого перед собой не видела, но в какой-то неуловимый миг навстречу ей шагнула высокая тень. Сбитая с ног тень шумно опрокинулась на дорожку и оказалась существом во плоти. «Маяк», – узнала Иза парня из давешней очереди. Стопка книг, которую он держал под мышкой, разлетелась во все стороны.

– Ничего себе, – прошелестел упавший, чуть приподнявшись на локтях, и снова уронил на асфальт взлохмаченную голову. Брови страдальчески соединились в переносье, крапчатые сердолики родом с неизвестной реки сомкнулись...

– Эй, вставайте! – Иза в панике затеребила его за руку. Напрасно – безвольная конечность не подавала признаков жизни. – Ксюша! Ксюша-а!

Иза не смотрела на несчастного, не в силах была смотреть. Издали слышался хлопотливый шум города, безучастного к мелким событиям. Между ветвями струились гибкие прутья лучей... Мир не изменил летних красок, но на сером асфальте под головой парня наверняка уже расплылась багровая, вязкая, как кисель, лужа. Иза ощущала себя бездушным железным роботом. Это из-за ее слепого сбоя в мыслях скоростижно погиб человек. Расплести страшный узел, завязывающийся вокруг нее с

неотвратимостью судьбы, не смог бы никто, даже храбрая Ксюша. Встревоженная отчаянным зовом, она тотчас принеслась обратно, готовая, – по лицу было видно, – спасти. Но не «маяка», а Изу от него, лежащего... безнадежно мертвого.

– Сперва по одной щеке вдарь, – деловито распорядилась Ксюша, сбрасывая ношу на ближнюю скамью. – Не очнется, так по другой.

Иза нагнулась, заставила себя на него посмотреть. Никакой крови. Ни лужи, ни капли... и совершенно живые глаза насыщенного чайного цвета.

– Спасибо, я уже получил хороший подзатыльник.

Охнув, Иза сама едва удержалась на ногах, трепеща от слабости и облегчения. Жизнь, оказывается, никуда не исчезла! Это была невероятная радость, словно чья-то рука, ради жестокого эксперимента погрузив головы Изу и убитого ею человека в беспросветный мрак, снова вытянула их к свету. С возвращением солнечной аллеи вернулось на место и подскочившее к горлу сердце. Иза видела обезоруживающую улыбку недавнего мертвеца, его пухлые губы, полудетский овал подбородка с тонким бритвенным порезом и тоже счастливо, глупо улыбалась.

– Расхотел помирать? – усмехнулась Ксюша, собирая рассыпанные учебники.

– Кому попало щеки не подставляю, – буркнул он.

– Ах, вот как! Значит, мы – кто попало?! Ну, будь здоров, живи богато, – разозлилась Ксюша и положила книги на скамью.

Наверное, он все-таки сильно ушибся, если не делал попыток подняться. Сотрясение мозга получил, может быть. Иза стеснялась спросить, как парень себя чувствует. Ей было жарко, новое смутное волнение опаливало лицо, и возвратная значительность таких только что ярких подробностей жизни отступила перед смешанным ощущением вины и досады.

– Оригинальное знакомство, – проговорил он, морщась, и неожиданно добавил: – А вы похожи на Царевну-лебедь.

– Да?.. – Иза не нашлась что ответить, не готовая к непринужденному разговору.

– Врубель, – уточнил он. – Помните? У вас глаза такие же. Правда, другого цвета.

Она растерянно топталась поодаль, не решаясь бросить на земле раненого человека, но подтверждались подозрения, что хитрец зачем-то нарочно все подстроил, а Ксюша, надо полагать, поняла это раньше. Сердясь на него и свою доверчивость, Иза помогла ему встать.

– Пошли. – Ксюша закинула рюкзак на плечо.

– А вы, Аника-воин, здорово поете, – сказал парень, придерживая ладонями голову. – Москва! Как много в этом звуке! Не голос, а труба иерихонская.

– Сам ты труба конская! Иза, не слушай его!

– Чуть насмерть не пришибли, и никакого сочувствия...

– Извините, – спохватилась Иза.

– Если понадобится, ищите Андрея Гусева! – крикнул он вслед, и Ксюша погрозила ему кулаком.

Глава 9

Песня без слов

Полная женщина в застекленной будке с плакатным требованием «Предъявите пропуск» проигнорировала Изино робкое приветствие. Или не расслышала. Вахтерша читала газету и неохотно оторвалась от нее. В Москве народ вообще казался на редкость занятым и читал везде, где только мог: в метро, трамвае и даже на рабочем месте. Кроме индифферентной вахтерши в передней обитала волосатая пальма, похожая на небритого тунеядца из журнала «Крокодил». Вероятно, на самочувствии обеих плохо сказывались строительная грязь, запах масляной краски и мельтешение ремонтников на первом этаже.

Абитуриентов поселили на четвертом. Посчастливилось попасть в маленькую угловую комнату, куда были втиснуты обшарпанный шкаф, три кровати с тумбочками, где пустовало пространство для стола. Напротив комнаты блестели свежей эмалью двери туалета и умывалки – соседство с плюсом быстрой доступности и множеством минусов. Зато Изе, как в детдоме, повезло с малонаселенностью.

В оконную створку заглядывали кленовые ветки. Окно смотрело на восток, обрыв за распахнутой рамой завершался тихим, без троллейбусных проводов и трамвайных рельсов, переулком. В противоположном конце общежитского коридора располагалась кухня с газовой плитой, где позволялось готовить самим, но было не в чем, поэтому обедать решили в студенческой столовой при институте.

Комната скоро преобразилась и расцвела, как преобразается любое, пусть временное девичье жилье самой прелестью порхающего присутствия. Третьей «квартирантке», Ларисе Шумейко, удалось разговорить изнуренную ремонтным хаосом вахтершу. Та сообщила, что

зовут ее Дарьей Максимовной и что в случае поступления девушки останутся в этой же комнате.

Открыв свое имя, как бы доверившись, вахтерша вдруг загорелась пылом хозяйственной помощи, распотрошила подсобный закуток и выудила из горы хлама две необходимые в быту вещи – алюминиевый чайник и скрученную рулоном географическую карту СССР. Карта прекрасно заменила настенный ковер над Ксюшиной кроватью, одновременно выполняя свою скромную образовательную роль. От себя лично расщедрившаяся Дарья Максимовна добавила громоздкий стол со следами полировки и резными ножками, чья дальняя история была неизвестна, а ближняя хранила признательную память о руках, отскобливших с него липкую грязь помойки. Поднимая возвращенного к жизни мастодонта вверх по лестнице, девушки встретили Андрея Гусева.

– Гусь лапчатый, – поджала губы Ксюша, а Иза взглянула на него, сама того не желая, с симпатией.

– Вы тоже на четвертом? – обрадовался он. – Я контрамарки в цирк достать могу, пойдём?

– Вот поступим – тогда, – важно кивнула Ксюша, – ты меньше балаболить, лучше мебель помощи наверх утартать.

Андрей покорно взвалил стол на спину. Иза терзалась угрызениями совести: бедная его голова, наверное, еще не прошла после ушиба. Но затененное столешницей лицо вроде бы не выказывало признаков боли, Андрей даже умудрялся болтать с Ксюшей.

– В цирк бесплатно грех не сходить.

– Поди, шутком гороховым подрабатываешь там?

– Меня «тама» фокусник пополам распиливает.

– О, да ты покойник со стажем! – засмеялась Ксюша. – Мы уже видали, как ты помер, чего сто раз смотреть? К сочинению готовиться надо.

Он вздохнул с сожалением:

– Что ж, не смею настаивать и спорить с такой девушкой.

– С какой «такой» девушкой? – насторожилась Ксюша.

– Которая запросто коня на скаку остановит, в горящую избу войдет...

Андрей наконец впихнул стол у окна между кроватями и, по-стариковски кряхтя, разогнул спину:

– Вы, Аника-воин, не только безжалостны, но и неблагодарны.

– По гроб жизни благодарны, – раскланялась Ксюша.

– Да на здоровье. Всегда рад помочь за банку варенья и коробку печенья.

– Ах ты, барыга, на тебе сырок!

– У меня к вам серьезное предложение...

Она захохотала:

– Замуж зовешь?

– Увы, не смогу оправдать ваших пылких надежд, – развел он руки в растерянном жесте, пряча за шутливым тоном смущение. – Я с джазистами хочу вас познакомить. Любопытно, сумеете ли вы петь импровизации.

– Это что?

– Джазовая импровизация – это когда человек имитирует голосом музыкальный инструмент.

– Песня без слов? – Ксюша почему-то тяжело вздохнула. – Давай после экзаменов. Узнаем за нашу судьбу и пойдем – кто в джаз, кто куда...

Андрей поступал в одной группе с Ксюшей, их интересы совпадали, а Иза была ему явно безразлична. Он не искал повода заговорить с ней, смотрел вскользь – так человек смотрит на соседскую кошку, если она случайно попадает в орбиту его взгляда. Иза снова почувствовала себя обманутой, но уже не лукавством, а равнодушием, и не понимала, зачем Андрею было травмировать голову для ненужного знакомства. Она и себя не понимала. Ей-то что до Гусева, не влюбилась же, в самом деле! Но раздражающее положение «третьего лишнего» продолжало обидно саднить. Крутились в уме слова Андрея о ее сходстве с врубелевской царевной. Неточное, между прочим, сравнение, сходства и близко нет... Она подумала так и успокоилась.

Когда Андрей ушел, Ксюша поинтересовалась, расстилая кусок ватмана на столе:

– Чего Гусь про избу-то трекал? Намякивал, что я из деревни?

Про коня не спросила. Должно быть, впрямь могла остановить на скаку...

Ученая врачиха, антифашистка и меломанка Эльфрида Оттовна (Кнолль фамилия) приобщила Ксюшу к классической музыке, а вытравить из воспитанницы местечковый диалект не сумела. Сама, возможно, не очень хорошо изъяснялась по-русски. Мало чему научила и вечерняя школа. Нелегко оказалось крестьянской девушке запрыгнуть с ходу в чуждую ее генной инженерии прослойку, заряженную инерционным аккумулятором городской культуры. Но Ксюша быстро обвыкалась со скоростным временем и специфичным бытом столичной среды. Помогли природная любознательность, цепкая память и усердие, а главное – наследная семейская смекалка, оставившая некогда на бобах целую «ярманку». Этот сборный феномен помог Ксюше сдать сочинение на «четыре». За двое суток она умудрилась выучить наизусть, со всеми

знаками препинания, тексты нескольких сочинений из школьной Изиной тетради.

Чтобы не мешать соседкам, Ксюша выносила табурет в коридор и занималась на подоконнике. Просыпаясь ночью, Иза на цыпочках подходила к двери и слышала несмолкаемое бормотанье: «Нигилист Евгений Базаров отрицает все нематериальное (тире) искусство (тут запятая, я бы и сама поставила) дружбу (тоже запятая) любовь и душу (ишь какой!). Он (запятая) например (запятая) говорит Павлу Петровичу (двоеточие) (кавычки открываются, прямая речь) Порядочный химик в двадцать раз полезнее всякого поэта (кавычки закрываются)».

...И вот испытания завершились. В понедельник у стенда со списком зачисленных мелькали счастливые и угрюмые лица.

– Степанцова, Готлиб, Шумейко! – послышался веселый голос Андрея. – Можете убрать кукиши из карманов, вас приняли!

За себя Андрей не волновался: у него была золотая медаль. Ксюша кинулась вперед, удостоверилась, что он сказал правду, и, чуть не плача, выбралась из толпы. Ксюша испытывала одновременно радость и горе, считая себя виноватой перед теми, кому счастье приема не улыбнулось.

– Я бессовестная! – вскричала она в аллее рыдающим шепотом, с размаху плюхнувшись на скамью. – Люди музыкальные школы окончили и провалились, а меня, чурку неотесанную, Вельяминов по блату затолкнул из-за Эльфриды Оттовны!

– А направление из Дома культуры? – напомнила Иза.

– Да то не направление почти! В письме заведующая о семейских песнях написала, про меня всего пять слов в конце. Вельяминов с Эльфридой, конечно, не виноватые... Они мне добра хотели... Не думали, какие хорошие сочинения многие ребята по-честному напишут, а не поступят...

Иза погладила безутешную Ксюшу по плечу:

– Ты лучше всех поешь. И на аккордеоне, Андрей сказал, играешь отлично.

– Позор мне вышел с аккордеоном, – судорожно всхлипнула Ксюша. – Я ж самоучка, в нотах ни бум-бум! Преподаватель спросил: «Играть на чем-нибудь умеете?» – а там аккордеон расчехленный стоял. Я ответила – да, на ём вот. Он книжку с пьесами открыл на пюпитыре... Хотела я признаться, что нот не знаю, и увидела название: «Песня без слов». Ой, думаю, Мендельсон, подвезло мне! Мелодия бравая, пальцам легко вспоминать. Пластинка такая была у Эльфриды, я тую песню часто на своем аккордеоне по памяти подбирала... Преподаватель страницу

перевернул, смотрит выжидаючи. Сам, гляжу, красный стал, пыжится чего-то. Я испужалась, а вида не подаю, играю. Он вдруг как захохочет! И остановил. «Вы, – говорит, – Степанцова, неплохо владеете инструментом для любителя. Песня, конечно. Без слов... Но надо было выше названия посмотреть, где буквы маленькие».

– А что там выше?

Ксюша безнадежно махнула ладонью:

– Да автор другой оказался. Сибелиус фамилия. Откель я знала, что у разных композиторов названия пьес бывают одинаковые? – Она шумно набрала носом воздух. – Думала, выгонят меня за вранье. А они – взяли... Видать, шибко большой начальник этот Вельяминов.

Глава 10

Мальчики гуттаперчевый и солнечный

В первую же субботу три законные студентки, свободные до начала занятий, отправились в цирк по добытым Андреем бесплатным билетам.

Иза, против ожидания, не разделила восторгов подружек от представления. Половину полета воздушных гимнастов просидела с закрытыми глазами. Трепет ухающего в бездну сердца почему-то напомнил ей вереницу прошлых несчастий. В тревожном бое барабанов под куполом рождалась щемящая красота, сотворенная из парадокса человеческой хрупкости и силы, а под веками вертелось колесо из ослепительных сполохов и черных птиц. В душное отчаяние привел Изу рискованный блеск, вызывающий у зрителей азарт и выплеск адреналина за счет чужой игры со смертью.

Приметив, что и Андрей побледнел от волнения, Иза начала подозревать нарочитость в его всегдашнем беспечном шутовстве. Бравурная музыка известила о благополучном завершении номера и потонула в овациях. Последовали эквилибр с бутылками, жонглирование на ходулях – все было столь же ненадежным и зыбким. Изино отчаяние росло, росло... Наверное, поэтому не понравились ни акробатические клоунские трюки, ни искательные глаза прилежных собачек; деревянный шталмейстер будто аршин проглотил... Дрессировщик в оранжевой рубахе вывел на манеж бурого медведя в соломенной шляпе с цветком, и лишь тут Иза вырвалась из ощущения опасной потусторонности: на миг почудилось, что этот медведь – косолапый Баро, вечно голодный друг цыганенка Базиля.

Избирательная память Изы обращалась с воспоминаниями, как школьница с кипой переводных картинок. Захочет – сделает картинку ярче, не захочет – сомнет и выкинет. Но временем, прожитым на сильных эмоциях, распорядилась особая память. Ее живой пересказ велся словно из-под увеличительного стекла и возвращал чувства и краски даже более выпукло, чем они когда-то существовали в реальности. А может, способность хранить в истинном свете всё впервые испытанное есть вообще свойство детства. Ничем еще не замутненного восприятия мира. Сквозь призму Изочкиных впечатлений взрослая Иза слышала птичьи звуки свирели солнечного мальчика. Ясно представляла его лицо,

отличающееся от других, малоприметных лиц какой-то пронзительной, притягательной красотой.

Мама считалась рыжей, несмотря на то что ранняя седина подпортила подлинный цвет ее кудрявых прядей. Гришка был рыжим. Но никогда Иза не встречала людей, чьи волосы, как у Базиля, напоминали бы густой ворох тонких колец, плетенных из медных и золотых нитей. А еще – ни раньше, ни в нынешних мыслях не могла постичь в нем ту подспудно зреющую, подернутую неизвестностью тайну, что волновала ее с давних пор.

«Мы ходим по разным дорогам, – сказал солнечный мальчик. – Я – ром^[11]. Ты – другая. Но я буду помнить тебя. И ты меня не забудь... На бистыр!»^[12]

«На бистыр», – пообещала Изочка.

Цирковой медведь выступал с явным удовольствием. Танцевал с дрессировщиком вальс, потешно солировал вполуприсядку и казался бутафорским, ненастоящим... А в немеркнувшей памяти с готовностью возникал Баро. Свалявшаяся шерсть в ключьях и подпалинах, на шее железный обруч с шипами – Баро возвышался в центре человечесей стаи, готовой, чуть что, порскнуть в стороны пестрыми брызгами. Пожилой цыган в узорном жилете тыкал медведя дубинкой в бока и визгливо покрикивал: «Эй, пляши! Пляши давай!» Баро не слушался, и тогда из зрительской гущи выскользнул огненно-рыжий мальчик с улыбкой как луч. Мальчик заиграл на свирели, медведь обратил к нему курносую морду и засмеялся по-своему, вывалив из угла пасти красный ломоть языка. Затоптался вокруг себя – не зверь, а холм, покрытый линиялой травой. Сделал одолжение мальчишке. Чего не сделаешь ради дружбы... Кто-то бросил большой кусок хлеба. Взрослый цыган не успел перехватить, выругался и несильно, пугливо стукнул косматого артиста дубинкой по лапе. Не удостоив мучителя взглядом, Баро повернулся к нему спиной и съел хлеб.

Глаза Изы вернулись к арене. Под ухоженной шкурой здешнего медведя, содрогаясь с обманчивой грузностью, маслянисто переливались гибкие мышцы. Этот зверь был молод и полон сил, а кости старика Баро цыгане, должно быть, давно закопали на обочине одной из кочевых дорог. Изочка видела его всего несколько часов, но поняла, как сильно медведь и мальчик привязаны друг к другу и как похожи друг на друга непокорными нравами.

Иза решила больше не ходить в цирк, даже если Андрею снова удастся

разжиться контрамарками.

– Я все ждала, когда тебя пилить станут, – напомнила ему Ксюша.

– Кровожадная, – ухмыльнулся он. – Фокусник временно не работает, кролики цилиндр сгрызли... Понравился цирк?

– Бравый, – выдохнула Ксюша и прижала руки к груди от обилия чувств.

Андрей засмеялся, открыто наслаждаясь Ксюшиной радостью, а ведь Изе казалось напускным его беззаботное поведение.

– Цирк в первый раз – это всегда здорово!

– В Киеве я получше цирк видела, – снисходительно сказала Лариса, – и не раз.

Ксюша задумчиво оглянулась на красочную афишу:

– Я тоже видела раньше. В зеркале...

– Как – в зеркале?

– Не будете дразниться, если расскажу? В пятом классе старший брат мой Ленька книжку с библиотеки принес про гуттаперчевого мальчика и пристал – читай. Ну, я давай читать. Оторваться не могла, плакала, плакала... Мальчика жалела. Подхожу потом к зеркалу с лампой на нос глянуть, шибко ли красный. На репетицию собиралась. Зеркало у нас было старое, я его любила – бабушкино зеркало. Рама в позолоте, в углах трещинки, лицо будто в слюде отражается. Мама говорила – вечером не смотрите, всякая небылица к ночи мерещится в нем... Нос, гляжу, точно свекла, как в клуб идти? Все увидят, там же электричество, на нашей-то улице не провели еще... Вдруг что-то маленькое шевельнулось в зеркале... я глазам не поверила: мальчик! Гуттаперчевый мальчик! Бегает вверх-вниз по трещинке, как по канатику, меня зовет! И зашла бы я в тоё гуттаперчевое царство, а не могу! Слезы вдругорядь... А он...

Ксюша зажала нос пальцами и зажмурилась.

Изу удивила неправильно понятая ею Ксюшина радость, как выяснилось, тоже вовсе не бездумная, с воспоминанием о детстве. Зеркальный канатоходец снова вызвал в Изиных мыслях образ Базиля, а Ксюша продолжила:

– ...Он с канатика соскользнул, с трещинки-то своей, рукой в стекло насквозь!.. Тут зрители как завопят!

– Зрители?

– Ну да, – блеснула Ксюша глазами, – цирк же... Откуда-то клоун прыгнул на арену, весь белый, мучной, то ли с гриму, то ли со страху. Заматерился, – догадалась я по губам. Мальчик клоуну улыбнулся, руки по сторонам упали... и... И всё. Опять в зеркале муть, а свет от лампы не

керосиновый, дале-екий... облачный... Не пошла я на репетицию. Лежала, плакала, мама думала – заболела я. Преснушек испекла мне с сахаром... А на другой день разбилось наше зеркало. Ни с того ни с сего разбилось, никто не трогал. Упало, дзынь – чисто салют... Честно, не вру. – Ксюша машинально перекрестилась. – Мама велела подмести осколки голиком^[13] и вместе с ним выбросить. По сию пору не пойму, что это было.

– Мещанские фантазии, – фыркнула Лариса.

– Сила литературы, – возразил Андрей.

Странный он все-таки. Другие парни любили поговорить о мотоциклах, моторных лодках, машинах, а он слушал девчачье «плакала, плакала, мальчика жалела» с серьезным лицом. Иза угадывала в Андрее натуру родственного склада и тайно обижалась, что на нее его отзывчивость не распространяется.

– Завтра пойдем на рынок, – сменила Лариса неинтересную ей тему. Стремясь перещеголять в «шмотках» заносчивых москвичек, она не поехала после экзаменов в свой город и торопилась теперь потратить сохраненные деньги на модную одежду.

...Догнать и перегнать тех, кто в чем-то преуспел больше тебя, любому приятно, и человеку, и государству. Но заявленные сроки обязательства неизбежно требуют жертв. Если практичная Лариса собралась из-за форса жить до осени впроголодь, то государство летало в космос, вооружалось атомом и стойко держалось на пьедестале великой державы, отбросив второстепенные по значимости отрасли промышленности в остаточные ряды производства. Сознательные граждане должны были понимать важность борьбы за пьедестал и скромно довольствоваться тем, что дают. Граждане понимали, но отсталые конвейеры внутренней индустрии не поспевали за ростом потребностей и не удовлетворяли растущих нужд. Поэтому граждане, независимо от степени сознательности, паслись на полууголовных рынках, стыдливо утоляя по возвышенным ценам низменные материальные желания.

Над тесной, совсем не тихой территорией рынка витали мощные запахи южных фруктов, сундучного нафталина и раздевалки спортзала. В торговых киосках было представлено как разнообразие сельхозпродукции, так и весь немалый список дефицита, включая изделия подпольных кустарных цехов. На устланной газетами земле расположилась тряпичная и чердачно-подвальная «блошиная» дребедень. Знатоки порой обнаруживают в ней жемчужины антикварных трофеев. Под маневренными навесами красовался «самострок» с фирменными лейблами и товары государств социалистического содружества. Вещи,

просочившиеся из капстран по неофициальным дипломатическим каналам, ходили по рукам в густых толпах. Зрение Изы рассеялось и запуталось в движущейся пестроте: лубок и керамика, пух шалей и варежек, немецкие куклы с личиками престарелых лилипутов, корейские парики, натянутые на трехлитровые банки... Сколько же тут всего! Голоса торговцев зовут, перекрикивают друг друга. Их совестно оставить без внимания, они обладают гипнотическими способностями заманивания и убеждения – это, может, мошенничество, а скорее искусство.

Дебелые дамы больших размеров застенчиво спешили прямо на платья примерить югославские купальники за импровизированной занавеской, то есть у всех на виду. Подняв вверх точеные руки по локоть в браслетах под малахит, словно под расстрелом, стояла женщина журнальной красоты. Рядом с зеленорукой кариатидой бойкая бабулька – типичная представительница всех барахолок – помахивала косынкой плодово-ягодных тонов:

– Возьми-ка, милоч, супруге в подарок... Сама бы носила, да деньги шибко нужны...

Едва довольный «милоч» окунулся с покупкой в толпу, бабулька вытянула из-под ворота темной кофты вторую такую же косынку.

Не без оснований подозревая в Изе транжиру, Ксюша посоветовала ей не брать много денег. Пятую часть из похудевшей маминой пачки Иза сжимала в кулаке, в кармане юбки. Борясь с соблазнами, мужественно решила отвернуться от модельных туфель на каблукке... И купила. Бежевые, в тон сумочке, в компанию к французским духам, чтобы уважать себя, как Бэла Юрьевна.

Ксюша в недоумении остановилась возле шляп из белоснежного фетра: кто ж согласится носить такие маркие? Лариса пощупала нейлоновую блузку с мелко плоеным воротником. Спросила цену и гордо отошла. Нет уж, пусть продавец не воображает, что любая комсомолка готова подпасть под растлевающее влияние Запада.

Три невесомые шубки легкомысленных расцветок колыхались в палатке на плечиках, напоминая покупателям, что зима никогда не выйдет из моды... Да, зима. Иза коснулась ладонью искусственного меха – он был податливый, но не шелковистый. Вызвала осуждение подруг: не бери, непрактично! Ксюша приглядела ей демисезонное пальто стального цвета, с серебристо лоснящимся норковым воротником. Иза примерила пальто и во всем с ним совпала. Будто на заказ пошитое, оно мягко обтекало талию, сбегая чуть ниже колен. Ни под одной пуговицей не морщился плотный, нездешнего качества драп.

– Шик-модерн! – похвалила Лариса.

К пальто подобрались пушистая голубая шапочка (мохэр, девушка, чистый мохэр!) и крепкие финские сапожки на небольшом каблуке, с кнопками-застежками.

Наконец-то Иза облачится в собственное, не казенное! Новые вещи казались ей залогом вхождения в неведомый, непрозрачно вихрящийся московский мир. Представила, как пройдет зимой по улицам чудесно одетой Снегурочкой. Ледяными искрами вспыхнут взоры уважающих себя дам в роскошных шубах, оглянутся восхищенные молодые люди. С каждым разом сноровистее отталкиваясь от каблучков, Иза побежит памятью от сумрачных детдомовских коридоров. Далеко позади останутся груды заскорузлых валенок, сохнувших по бокам круглых «голландских» печей...

Заталкивая покупки в большую Ларисину сумку, Ксюша заботливо сказала:

– Я сильная, я поташу.

На остатки денег Изе хотелось порадовать девчонок чем-нибудь красивым, пусть даже малополезным. И оно, это красивое, само обратилось к ней зеленовато-индиговым оком... Перо жар-птицы! Истомленные зноем, чуть подрагивали ворсистые волоски опахала – ресницы загадочных гурий тысячи и одной ночи. Восточная сказка нежно волновалась на ветру: я ж тебя выбрала, что стоишь? Иза посчитала копейки.

– Ваше, раз друг другу понравились, – понимающе кивнула хозяйка дивного глаза. Горсть монет высыпалась в подставленную ладонь... и тут же Иза обо всем забыла, потерянно метнулась куда-то...

– Девушка! Перо-то возьмите! – удивилась торговка.

Неуловимо знакомый говор чудился в вавилонской многоязыкой, многоголосой стереофонии рыночного шума. Или из сердцевины всколыхнутого детства донеслась гортанная речь?... Вернувшись за тотчас поблекшим пером, Иза сквозь душные стены жадной вещевого трясы, грудей, животов, спин продралась туда, где звучали голоса надрывного ветра и кочевых дорог.

...Временами ей казалось, что она придумала солнечного мальчика и совсем другая девочка встретила с ним на якутском базаре. Давно... в приснившемся зазеркалье... Не она сбежала из дома в надежде вернуть украденный портфель, не ее привела в табор цыганка с разными глазами – черным и золотым... не Изочка, обжигая пальцы и губы, обкусывала со своего края лепешку восхитительно горячей карамели, одну на двоих с мальчиком. Не было волшебной цистерны... и не летел в воду из небесного

круга столбец лучистой пыли.

Заметив пристальный взгляд, к Изе вихляво приблизилась молодая цыганка с дико взблескивающими из-под шалевой бахромы глазами. За ее оборчатую верхнюю юбку цеплялся чумазый мальчонка лет пяти.

– Красавица, погадать тебе?

Иза молчала.

– Погадать? – повторила цыганка и что-то на ощупь увидела, что-то поняла в Изе своим древним наследным наитием. – А хочешь, так просто денег дай.

– Извините, – очнулась Иза, – может, вы знаете мальчика с медведем по кличке Баро? Ой, что я говорю, не мальчика, молодого человека... Басиль его зовут, – и совсем смешалась в словах и мыслях: – Медведя у Басиля, должно быть, уже нет... нигде нет...

– Ром, что ли?

– Да, цыган, но не темный, не похожий на них... на вас... Рыжий.

– Не знаю, – мотнула головой цыганка. – Денег дай.

– Денег дай, – пискнул из-за материнной юбки черноглазый малыш.

Иза огорченно развела руками:

– Нет денег, вот только это, – и, не колеблясь, протянула цыганенку перо птицы-жар. Он молниеносно, пока не раздумали, ухватил добычу липкими от базарных лакомств пальчиками.

– Павлин, – разочарованно сказала цыганка. – Зачем нам твой павлин?

Развернулась, мелькая грязными лодыжками из-под юбки, многослойной, как геологический срез... Малыш бережно укрыл подарок подолом рубашонки и побежал за матерью. Иза стояла зыбким деревцем в шквале захлестнувшего ее бродячего ветра, стараясь дышать спокойно, – сердце колотилось у горла и перекрывало дыхание.

...Дайте^[14] Басиля загляделась на Изочкину ладонь, словно в ней нарисовалось кино, никем еще не снятое. Усмотрела изменения в вариантах незавершенного сценария, черновую прикидку актеров, проверочные дубли с главной героиней... «Ай, маленькая, нат бахт тукэ...»^[15] Разноцветные глаза сверкали в отсветах костра дрожащей влагой. Дайте зачем-то сравнила ладони детей и запричитала: «Оба потеряете, найдете себя... и потеряете... и нет вам покоя...» «Не говори так!» – одернул мать Басиль. «Не я говорю, судьба вещает, чяво...»^[16]

Каждое слово колдовским огнем выжгло в сердце Изочки.

Цыганка будто обо что-то споткнулась:

– Эй, красавица! Басиль Санакунэ бала?

– Не понимаю, – рванулась вслед Иза.

– Санакунэ бала – золотые волосы, – резко встала цыганка, утвердившись в догадке. – Ты, значит, Басиля ищешь. Златоволосого Басиля.

Малыш упал, зашиб коленку и заплакал горько, безмолвно.

– Да, златоволосый! Это он, он!

– Что передать, если встречу?

– На бистыр! – закричала Иза, прижав ладони к горящим щекам. – Скажите ему – на бистыр!

Цыганка досадливо дернула сына за руку: вставай, чяво, затопчут, ром ты или нет, пошли. Оглянулась напоследок – запомнить крепче, и слилась с затуманившейся в глазах рябью.

– Скажу-у, – принесло ветром издалика или слышалось...

– По-цыгански калякаешь?! – раздался над ухом повышенный изумлением голос Ксюши (о Басиле Иза ничего ей не рассказывала). – Ох, гляжу, кручена же ты девка!

Иза не отшутилась, стерпела молча. Она и в мелких спорах с Ксюшей первой выбрасывала белый флаг, признательная за ее негласное шефство. Плелась устало, словно не Ксюша, а сама она волокла большую сумку, полную Снегурочкиных вещей.

Среди многих детских воспоминаний это, таборное, виделось детально и живо. Иза предпочла бы забыть массу всего, что оставило в душе болезненные зарубки, а за яркие подробности «цыганского» дня, по самую каемку затопленного солнцем и счастьем, была благодарна памяти. Той памяти, в чьем оптическом фокусе неприкосновенными остались лохматые, в пятнах веселых заплат и дыр, шатры веселых кочевников. Иза знала: тогда, десять лет назад, она впервые влюбилась. Сердце Изочки внутри ее взрослого сердца до сих пор тосковало и отчаянно надеялось на что-то смутное, невозможное по всем доводам здравого рассудка. Санакунэ бала – Златоволосый. Вот как они его называли... Прощаясь с Изочкой, мальчик сказал: «У меня есть невеста. Она недавно родилась. Нас вчера сосватали. Я не люблю ее. Я тебя люблю».

Невесте Басиля исполнилось десять лет. Еще столько, сколько Изе учиться, – и цыгане подтвердят детскую помолвку. Сыграют настоящую цыганскую свадьбу.

Глава 11

Сто – число хлебное

В подкрашенном вечерней синькой окне шуршала увядшими листьями чужая осень. Листьев осталось мало. Они с мышьей хлопотливостью шебаршились за стеклом – нереальной красоты кленовые листья, медно-красные, с прощально стекшим к пальчатым краям пурпуром близкого тлена. Клен ты мой опавший... Засыпая в маленькой комнате на четвертом этаже студенческого общежития, Иза все не могла привыкнуть к тому, что деревья в Москве такие большие.

Ночь с помощью ветвей рисовала на лунном шаре колесный двухпалубный пароход. Судно плыло по Лене, останавливаясь у продутых речным ветром дебаркадеров, шло дальше, но не достигало берега. С утра дворницкая метла начинала скрести мостовую, свиристели далекие троллейбусные дуги; за уличной прелюдией вступал хор по общежитскому радио: «Союз нерушимый республик свободных...» Спohватившийся Ларисин будильник с суматошным звоном дробил осколки сна, и пароход без признаков катастрофы тонул в волнах неторопливых сумерек.

Ксюша заносила вскипевший чайник. На постели напротив пружинисто садилась Лариса, терла лицо. Круглые, блестящие, как ягода вишня, глаза спело выкатывались из-под век готовыми к цепким наблюдениям и преданным взглядам на преподавателей. На курсе она слыла примерной комсомолкой и с похвальной активностью включалась во всевозможные мероприятия. Многие, правда, считали ее нервной и даже стервозной от избыточной любви к партии и ВЛКСМ. Одна из Ларисиных выходов на почве комсомольской нравственности и зарубежной литературы неожиданно сблизила Изу с Андреем.

Преподавательница по «зарубежке» рекомендовала курсу ознакомиться с романом Мопассана «Милый друг». Ниночка Песковская, девушка из одной с Ларисой группы, одолжила Андрею свою домашнюю книгу. Роман некоторое время беспечно «гулял» по общаге из одной комнаты в другую, попал к Ларисе и до глубины души потряс ее непристойностью текста.

Когда порочный Мопассан вернулся к Ниночке, выяснилось, что особо аморальные отрывки в произведении отсутствуют. Кто-то аккуратно вырезал из книги целые абзацы и клеил вместо них журнальные фотографии с портретами ударниц социалистического труда.

Владелица не стала скандалить, но потребовала найти вредителя: ей было важно вернуть на место удаленные фрагменты. Нить следствия размоталась клубочком по коридору и привела Андрея в последнюю комнату. Он вообще-то с самого начала смекнул, чья беспощадная рука расправилась с фривольностями французского классика. Тем не менее хитроумно вызвал в коридор не Ларису, а Изу. И правильно сделал. У девушек уже произошел крупный разговор. Вахтерша Дарья Максимовна дала Ксюше подшивку журнала «Работница», и, не успев та ее просмотреть, как обнаружила в урне несколько изодранных номеров. На скомканные книжные обрезки не обратила внимания. Во время ссоры Иза их тихонько и подобрала.

Успешный следователь и ближайшая соседка преступницы до полуночи проболтали у коридорного окна на не относящиеся к криминалу темы. Рассуждая, впрочем, о поэзии Маяковского, Андрей вспомнил счастливый клубочек и потешно изобразил Ларисины страдания в рамках высоконравственных принципов советского читателя.

– Да будь я и негром преклонных годов,

Никто б не сказал, что пижонка, —

Готова урезать слова про любовь

Во всех иностранных книжонках!

– Вырезать.

– А лад стихотворный? – давился смехом Андрей. – Пусть тогда будет «похитить».

– Неточно, воришка какой-то получается.

В коридор выглянула Лариса с тетрадью конспектов «Основы марксистско-ленинской этики и эстетики» и закричала сердитым шепотом:

– Та нэма у вас хіба іншого часу про якіксь мазурыкыв балакаты?!
Работать мешаєте!

Ответом блюстительнице этики был затяжной приглушенный хохот...

Лариса приехала из странного города без названия. Если ей верить, он считался лучшим среди множества подобных, практически безупречный, потому что его построили по проекту образцового города будущего. Имени у него не было из-за каких-то секретных объектов, зато было все, что нужно для качественной жизни: драмтеатр и кинотеатры, Дворец культуры, спорткомплекс с бассейном и стадионом в камне и мраморе, а магазины, больницы и парикмахерские без очередей. Все жители имели хорошие зарплаты, все семьи – благоустроенные квартиры. Не город, а мечта!

Повернувшись к карте, Лариса небрежно ткнула пальцем где-то в

районе Сибири:

– Он примерно здесь.

– А как ты домой письма пишешь?

– Номер почтового адреса ставлю. Вот только болтать о том, что я вам сказала, не надо, и меня не пытайте, сама ничего толком не знаю.

Лариса опасалась наговорить лишнего. Она, как ее отчим, военный человек, сурово стояла на страже государственной тайны... Но стояла-стояла и не вытерпела. Или просто захотела ощутить сиюминутное превосходство. Видимо, иногда чувство превосходства превосходит даже соблюдение государственных тайн. Лариса рассказала, что в продовольственных магазинах ее идеального города свободно продают арахисовую халву, колбасу вареную и копченую, разные сорта сыров и сливки любой процентности.

– К праздникам выкидывают свежую севрюгу, соленую семгу, икру красную и черную – банка четыре рубля двадцать копеек, вторая поменьше – три пятнадцать, апельсины марокканские – рубль кило...

Лариса умела экономить по-ленински (учет и контроль) и помнила все цены, как Иза школьные стихи.

– А у нас в райцентре мясо и масло по карточкам, – вздохнула Ксюша. – За молоком очереди длинные.

Не слыша ее, закатив глаза от счастья перечисления, Лариса взхлеб продолжила невероятный снабженческий список:

– Кожа и дубленки монгольские, плащи болонья из Италии – любого цвета, белые есть и в горошек, даже с косынками, обувь рижская и югославская, шампуни польские, зубная паста немецкая – сладкая, со вкусом клубники. Честное слово, хоть ешь...

– Отдельный коммунизм у вас, – не верила Ксюша.

Теорию научного коммунизма повторяли утром на ясную голову, совмещая зубрежку с завтраком (молоко, хлопья «Геркулес»), чисткой перышек и наведением марафета. Резвая Лариса успевала обернуться к кухне, где накаливала на плите ручку стального столового ножа для закрутки челки. Курсовые пары заканчивались в час дня. Сытные запахи столового супа и гуляша пронизывали здание снизу доверху, и значимость истории КПСС с м.-л. философией отступала перед молодым голодом, главенствующим над науками. На раздаче в ожидании преподавательского интереса безнадежно сохли дорогие пирожные в масле масляном розовых роз. Горы черного хлеба исчезали, как утренние сны. Чай без сахара и два хлебных ломтика (Ксюша называла их «лусточками») разрешалось брать даром. Подспорье было существенным: часть

иногогородних очень скоро сменила полновесную норму из трех блюд на лусточки с бесплатной горчицей и бесхитростные горсти кислой квашеной капусты с вареным горошком, стыдящейся в своем ценнике не столько стоимости, сколько незаслуженного имени винегрет.

Девчонки купили в складчину кое-какую посуду и продукты. Користолюбивый Гусев за будущую тарелку каши научил пользоваться газовой плитой, где, к некоторому ужасу Ксюши, по мановению горячей спички мгновенно расцветали над конфоркой индиговые лепестки. Андрей был голоден перманентно. Не надеясь на свою бережливость, он купил обеденные талоны, однако незыблемая преданность комплексного меню рыбно-диетическим блюдам уже через час подначивала его искать подкормки.

Ларисино дежурство показало, что она, возможно, будущий руководитель государства, но не кухарка: молоко у неумехи наполовину выкипело, манная каша пригорела...

– Любая хохлушка из кочерги борщ может сварить, – расстроилась Ксюша.

– Не «может», а «может», – скорректировала Лариса. – И не хохлушка, а украинка.

«Смажь маслом края кастрюли, и молоко не сбежит», – вспомнила Иза совет Гришки во время ее первого опыта с манной кашей. Они часто готовили вместе во «всехной» кухне – вотчине тети Матрены. Гришка научил Изочку варить супы и каши с грамотным подходом к каждой крупе. Позже Изочка собирала рубрики с полезными советами и рецептами из женских журналов. Хотелось удивить чем-нибудь необычным маму, в последний год у нее из-за болезни пропал аппетит... Мамы не стало, а тексты некоторых рубрик Иза до сих пор помнила наизусть. «Если мясо имеет неприятный запах, положите при его варке несколько кусочков древесного угля... Если масло прогоркло, растопите его, залейте водой и переварите с подгорелой коркой пшеничного хлеба... Лимоны надолго сохраняются свежими, если держать их в банке с водой и менять воду ежедневно». Один экзотический рецепт, нечаянно залетевший в пролетарское издание, запомнился потому, что текст читался как стихи.

Пять помидоров, удалив семена,
нарежьте некрупными дольками.
Очищенный от семян сладкий перец
нашинкуйте тонкой соломкой.
Мелкими кубиками нарежьте

греческую брынзу фета (100 г).
Все смешайте в салатнице,
посолите, заправьте маслом,
посыпьте измельченной зеленью
и украсьте сверху маслинами.

Помидоры в Якутске продавались осенью на базаре. Сладкий перец Иза видела на картинках, маслины росли в несуществующей природе. Праздно полеживая в голове, рецепт греческого салата с брынзовым почти однофамильцем русского поэта терпеливо ждал грядущего изобилия, пока общая кастрюлька потчевала студенток скромной кашей.

Ксюша не разрешала подружке тратить личные деньги на еду: «Кашу варим манную, овсяную, перловую: что ли не разнообразие?» Но оборванный в субботу листок навесного календаря напомнил Изе о дате, немилрой с детства, и после «овсяного» обеда она потихоньку ускользнула из-под бдительного Ксюшиного ока. Однажды в детдоме, когда Изочка проклинала этот день из-за маминой смерти, дядя Паша сказал: «Не огорчай маму... Ты к этому дню по-другому попробуй отнестись. Особенный он: хоть и печальный, а в то же время с благодарностью к матери за счастье жить, и сама эта радость».

В беспокойных думах о том, почему дядя Паша не поздравил ее с днем рождения, Иза незаметно выстояла в ближнем гастрономе очередь за шпротами. Повезло, давали по три банки в руки.

Гришка все мечтал приготовить макароны по-флотски, но их тогда в якутских магазинах не было, здесь же соблазнительные итальянские изделия, завоевавшие камбуз и весь мир, продавались в коробках и на развес. К макаронам Иза взяла головку репчатого лука и два плавленых сырка; для маминых поминок – пачку вишневого киселя и пакет готовой блинной муки. Помешкав, добавила ко всему пирожных кондитерской фабрики «Большевик». День хоть и нелюбимый, но все-таки...

В вестибюле бранилась Дарья Максимовна: Андрей Гусев только что скатился по перилам. Стоял пристыженный, лохматый и счастливый, а ведь мог разбиться. Скосив на Изу глаза, поинтересовался:

- В честь чего оргия?
- Коменданту пожалуюсь! – крикнула вахтерша.
- Надо, надо, – скорбно закивал Андрей, – нечего в приличном общежитии вакханалии устраивать.

Дарья Максимовна закричала громче:

- Не слушай его, проходи! Мальчишка! Убьется насмерть – мне

отвечать!

Рояльно-черные перила, спущенные с четвертого этажа широкой спиралью, были, наверное, отполированы тысячей штанов. Пройдя полпролета, Иза услышала неясные от ярости вопли вахтерши и нахальное заявление великовозрастного озорника:

– Еще раз прокачусь, Дарья Максимовна, и больше не стану, даже не умоляйте!

Наверху по всему коридору неслась из открытой двери борьба девчонок с «хохляцким» произношением буквы «г». Борьба с неподатливой согласной велела преподавательница по технике речи. У Ксюши неправильный выговор был неизвестной географии происхождения, а Ларисе достался от родной мовы. Пуча в усердии глаза и раздувая ноздри, они сидели за столом друг против друга и покрикивали дуэтом:

– Жил я в городе Москве, говорил на букву «г»: «Генка, гад, гони гребенку, гниды голову грызут!»

Сдерживая смех, Иза похватила посуду, фартук и убежала в кухню.

Она почему-то не сомневалась, что макароны получатся у нее пусть не по-флотски, но по-семейски «браво», и как же потом упрекала себя за самонадеянность! Оказалось, макароны отваривают, прежде чем жарить. Без пропущенной процедуры они потемнели и сделались костяными.

Лариса всплеснула руками:

– Бачьте, шо вона, тундра, з макарон зробила – сэмэчки!

– Дикуюсь я на тебя, повариха ты непутевая, – вздохнула Ксюша. – В магазин, что ли, ходила?

Пришлось сказать об особенном дне. Ксюша взялась сама приготовить стол. Девчонки, «дикуюсь», наблюдали за ее ловкими руками. Изящные Ксюшины движения напоминали обряд, вещи оживали и перемещались в руках с доверчивой легкостью. Раз – начался счет с облитого жидким тестом дна сковороды, на цифре семь подрагивающая, словно в танце, сковорода встряхнула пылающими чугунными плечиками, и подрумяненный диск перевернулся. Десять – и на тарелку мягко лег испекшийся блин.

– Бабушка нас так до десяти считать учила по кухонной арифметике. «Нуль, – говорила, – не дырка от бублика, нуль означает рождение и солнце. С десятки новый круг начинается». А взять, к примеру, шаньги. Толченую черемуху для них вываривают в молоке с медом до творожной мягкости, но главное – тесто. Чтобы оно вспушилось и залоснилось, его сто раз об стол бьют. Вот те сто – тесто. Стол, говорила бабушка, тоже от слова «сто» и «стоять». Ять значит «есть», отсюда «столешница». Сто – число

хлебное. Без хлеба стол пустой, с хлебом стол – престол. Хотя счет у хлеба другой. Сколько дней в году – столько с тестом обнимаются руки. Можно больше трехсот шестидесяти пяти, но не меньше. Это чтоб ни одного дня не голодал в семье никто. Умелая хозяйка вслух не считает, счет в душе у нее сам живет. Не собьешь, даже если отвлекётся, такая сила в привычке... Правильно испеченный хлеб – святой, целебный. Бабушка хлебом головную боль лечила: привяжет к вискам по горбушке – и все проходит.

Скоро в тарелке подросла внушительная стопка блинов. Каждый в хрусткой обводке, в серединах нежные масляные кратеры и золотые веснушки. Не блины, а солярное совершенство, хоть хоровод заводи.

– Мучица осталась, – задумалась Ксюша. – Сделать запеканку по рецепту Эльфриды Оттовны?

– Немецкую?

Ксюша засмеялась:

– Антифашистскую! Яичко бы надо. Сгоняешь в магазин? – подмигнула Ларисе, пошептала с ней о чем-то...

Талантливые руки с изумительным проворством скатали желтое яичное тесто, припорошили мукой полупрозрачный пласт и закрутили наподобие рулета. Нож замелькал быстро-быстро, отделяя спиральки лапши. Тончайший серпантин полетел в кипящую воду и почти тотчас всплыл волнистой бараньей шапкой. Заскворчали в комбижире мелко рубленные кубики ржаных лусточек. Лапша с влажным вздохом откинулась в дуршлаг, оттуда – в сковороду, ложка смешала ее с хлебными кубиками, кольцами лука, руки притрусили тертым сырком... Пока совершалось это священнодействие, Ксюша рассказывала:

– Избы в нашей деревне крашены снаружи, как и снутри, наличники на окнах кучерявые, ворота в петухах и цветах, ходи – любуйся! По весне в огороде снежно от черемухи. Вызреет, налопаемся, помню, до оскомы и по-большому сходить не можем – крепит черемуха... Соскучилась я за своими. А малая вставала на городьбу – крынки раздвину и вдаль на горы смотрю. Тянуло куда-то, как тятю к австралам. Мама тревожилась за меня. Одна знакомая бабка перед смертью вот также места себе не находила, шлялася по домам без памяти. Болтали, колдун спортил.

– Колдун?

– Через избы от нас бобылем живет. Не из семейских, приبلудный. Сад держит с облепихой, ранетом, все как на дрожжах у него растет! Ранет на повидло пускает, облепиху – на лечебное масло и продает где-то.

Ксюша поставила сковороду с красивой горкой в духовку.

– Раз парни вздумали навесить его плоды-ягоды ночью. Залезли на

забор, и вдруг как пошел свист-то из сада нечеловечий! Будто с горлышка бутылки свистели, да не с одного – оркестр! Зареклись с тех пор лазить.

– Разве на свете еще есть колдуны?

– А сосед, думаешь, кто? Тятю нашего парализовало, так мама до сих пор на соседа думает. Не просто он колдун, человек худой. Обидится на кого, позавидует либо и порчу насылает. Не знаю, что ему тятя сделал, но в один день отказали у тяти ноги, и язык стал косный. Приеду, бывало, на солнышко тятю вынесу, он давай петь: «А-а-а-а!» Песня без слов... Люди с калиток говорят: «Никола запел! Знать, Ксюша от своего отпросилась».

– От кого «своего»? – удивилась Лариса.

Ксюша помолчала, вытерла ладонью бисеринки пота на лбу.

– Посухарилась я с одним, лето с ним жила, свадьбу хотели играть... Осенью к Эльфриде вернулась.

– А жених?

– В тюрьму посадили.

– За что?!

– Верующий был, из «темных». Они в крещение не в воду ступают – песком посыпаются... Но хороший был человек, очень хороший. Вот только забрали его в армию. Резко так, обоим мы опомниться не успели. Забрали, а он ушел.

– К тебе?..

– Просто ушел. Армия – это ж выучка на войну, на человечье убийство. По вере евоной нельзя, а по закону выходит – дезертир. Ездил я к нему. «Другого ищи, – сказал в окошко с решеткой, – нам с тобой не судьба». Не захотел по-хорошему свидетелься. Почему – не знаю. Разлюбил, может. Ну, заплакала я... Дальше живу. А что делать станешь? Не судьба.

Ксюша принялась, заглянула в пыхнувшую жаром духовку:

– Готово! Рушник скорей давайте!

Лапшешая горка подернулась золотистой соломенной корочкой. Умопомрачительный дух горячей запеканки вырвался в коридор. Ксюша понесла сковороду в комнату. Запела:

Ой, на холме-е сто-оит больница.

У той больни-ицы окна ярко светят.

Там бравых девок доктора-а лечат.

Ой, от всякой хво-ори, да не от любви...

Глава 12

Вредные стихи, вредная музыка

Изу растрогал немудреный подарок девчонок. Бегая в магазин, Лариса купила где-то чудные шпильки, украшенные прозрачными голубыми бусинами. Они подходили к цвету Изиных глаз и смотрелись в закрученной на затылке косе, словно крупные капли дождя.

Только сели за стол, как кто-то деликатно постучал в дверь.

– Не завалилась ли у вас, случайно, корочка хлеба? – всунулось лицо Андрея, облагороженное таким застенчивым выражением, что девушки засмеялись.

– Заходи, комик, – вздохнула Лариса, выдвигая ногой табурет из-под стола.

– Извините, я не один...

Это было чересчур.

– Ресторан нашел, – в легком бешенстве прошипела Ксюша. – У нас тут свой праздник, никого не приглашали!

– Свадьба, поминки? – ухмыльнулся Андрей.

– Ты почти угадал, – спокойно сказала Иза. – Сегодня у меня день рождения, а еще семь лет назад в этот день умерла моя мама.

Дверь закрылась, за нею послышался шепот.

– Иза, прости, – пробормотал Гусев, снова показываясь в щели. – Я не подумал... я дурак. Простите, девчонки. – Он обратил посерьезневшие глаза к Ксюше. – Юра пришел, джазист. Помнишь, я говорил? Но раз такое дело, отложим.

– Не надо откладывать. – Иза оглянулась на девчат, и они не возразили.

На Юре красовался моднячий джемпер с застежкой-молнией, перечеркнутый наискосок ремнем висящей за спиной гитары. Гость был из тех, кого Лариса называла «гарными парубками»: лицо открытое, пригожее и обрамлено «геологической» бородкой. С таким парнем не страшно сплавляться на байдарке по горным рекам и брать штурмом какие-нибудь вершины.

Юра руководил вокально-инструментальным ансамблем. Позже выяснилось, что Юрий Валентинович преподает в музыкальной школе. Называть Юрой взрослого двадцатидевятилетнего человека стало неловко, хотя он вел себя на равных и, кажется, не чувствовал своего возрастного

превосходства. Остановились на Юрии.

– Изольда – ирландское имя? – полюбопытствовал он.

– Вообще-то исландское.

– Ирландцы, исландцы – те и другие кельты. Любители пива и виски. – Он окинул стол слегка поисковым взглядом. – Слово «виски», кстати, из их гэльского языка. Означает что-то вроде «живая вода».

Лариса встряхнула кудряшками:

– О, вы знакомы с языком скандинавов?

– Увы, нет. Лекцию об Ирландии мог бы вам прочитать Патрик Кэролайн, музыкант моей группы. Его и назвали в честь святого Патрика, покровителя этой страны. Хотя сам Кэролайн из Гаваны, а здесь учится в МГУ.

– Отец Джона Кеннеди тоже был ирландцем и звали его Патриком, – сообщила политически подкованная Лариса. – Жаль, что Джона убили... Новый президент США не такой симпатичный. А ваш Патрик симпатичный?

– По-своему – да, хотя на вкус и цвет... – замялся Юрий. – Но импровизатор редкостный. Прямо как джазовый скальд. Рассказывает свои саги на саксофоне.

– Норны, феи, эльфы, нибелунги, – вспомнила Иза. – Вагнер...

– «Тристан и Изольда»? Вот откуда ваше имя!

Поначалу гости смущались, что, впрочем, не помешало им в два счета умять банку шпрот и большую часть «антифашистской» запеканки. Быстро опадала, таяла стопка золотисто-кружевных солнц.

– Спасибо, спасибо, – благодарил Андрей, кланяясь, как китайский болванчик, щедрым рукам, следящим за наполнением его тарелки. Ел он самозабвенно, едва слышно постанывая от удовольствия, чем пронял и смягчил суровое Ксюшино сердце. Сытый до одури, томный, с сожалением глянул на Ларисину кровать (он на ней сидел), не прочь откинуться на подушку, но девчонки не простили бы такую раскованность. За подушкой лежала зеленая книжка, и Андрей под видом того, что решил достать ее, все-таки прилег. Книжка оказалась поэтическим сборником Исаковского. Еще немного полежать удалось, пока читал вслух:

– Живи, советская отчизна, заветам Ленина верна, живи, страна социализма...

Дальше читать не мог, закрыл сборник и зачем-то признался, что не любит велеречивые стихи.

– Бачилы, яки у них словеса мудреные, – язвительно прищурилась Лариса.

Ксюша спросила, какие стихи он любит, и Андрей послушно поднялся. Он страшно отяжелел, осоловел, но чувствовал себя в долгу за ее умиление. Хотел прочесть свои – это было бы сюрпризом для Ксюши – и отложил на потом. В уме перелистались страницы – нет, не то, не то; сам не понял, почему выбор пал на машинописный лист из самиздатовской пачки, где шрифт, видимо, западал на букве «ё», и вместо маленькой везде смешно стояла большая. Читал вдохновенно. Андрею нравились странные, отдающие мистикой и быстро запомнившиеся стихи этого поэта.

Иза слушала с удивлением. Стихи были о завоевателях, пришедших в южную страну. Их встречала царица, не ко времени страстная женщина: «с глазами – провалами темного, дикого счастья». Захватчики явились на ее землю, а царица предлагала им себя без всякого стыда и зазрения совести. Может, несчастная сошла с ума от горя?

Ксюша сидела с блаженным лицом. Наслаждалась музыкой поэзии. Ларисе хотелось и прервать этот ужас, и узнать, чем он кончится.

Герольду был подан серебряный рог, но воины хмурились. Воины вспоминали северное небо, леса суровой родины «и царственно-синие женские взоры... и струны, которыми скальды гремели о женском величье».

«Царственно-синие» – при этих словах все глаза невольно устремились к Изе. Лицо возмущенной Ларисы покрылось красными пятнами, она не выдержала:

– Как же тебе, Гусев, не стыдно!

Брови Андрея вопросительно вздернулись:

– За что мне должно быть стыдно?

– Любые народы на свете бьются против рабства и угнетения, а этот рифмоплет цинично заявляет, что побежденные были рады кинуться врагам в ноги! Он унижил людей с кожей темного цвета, представил их так, будто они мечтают стать рабами! – Лариса не давала Андрею рта раскрыть. – Он нарядными словечками прикрыл свое презрительное отношение к борьбе с рабством! Подумать противно: а если бы мы вели себя так же с фашистами?! «Спешите, герои, несущие луки и пращи»! Фу, гадость!

– Сам написал! – ахнула Ксюша.

Андрей с непонятной усмешкой покачал головой:

– Нет. Николай Гумилев большой поэт... а моим рукописям место в столе.

– Большой поэт – Пушкин! – запальчиво крикнула Лариса. – Лермонтов, Шевченко, Леся Украинка! С победой социализма больших

поэтов у нас стало много – Щипачев, Симонов, Кулиев, долго перечислять!
А твой стихотворец – аморальный провокатор!

Ксюша словно не слышала Ларисиных воплей. Серые глаза ее с восхищением смотрели на Гусева.

– Почитай что-нибудь из своих рукописей.

– Не могу, – выдавил он, с надутыми щеками от еле сдерживаемого смеха (Ксюша поставила ударение в слове «рукописи» на предпоследний слог).

– Почему? – невинно спросила она.

Гусев развел руками в отчаянии от невозможности не сострить:

– Потому что по сравнению с настоящими рукописями мои еще рукопопы...

Шутка была детской, но взрослый Юрий захохотал. Заразительный смех взмыл к горлу Изы, как пузырьки шампанского. Прыснув в кулак, она хотела остановиться и не смогла, а следом рассыпался мелкий, с нервными взвизгами, Ларисин горох. Сразу стало легко: разрядилось напряжение, нагнетенное не совсем поэтическим спором.

Смеялись до колик и тянущей боли в скулах. Отстраненный силуэт Ксюши четко вырисовывался на фоне окна. Виноватый Андрей, торопясь покончить с обидным для нее весельем, передал Юрию гитару. Музыкант долго играл вступление, успокаивающе перебирая струны. «Спойте, друзья, ведь завтра в поход уйдем в предрассветный туман»...

Песня потекла за песней, общежитие ожило, захлопало дверями, особенно когда гитара разразилась страстными аккордами и Гусев надрывно взвыл голосом Николая Сличенко:

– Очи серые, я к вам с верою, к вам с надеждою я безбрежною! О, прости меня, пожалей меня!..

Ксюша оглянулась, ища подвоха. Андрей умоляюще простер к ней руки. Она наконец засмеялась – простила. И согласилась спеть.

Волосы ее распушились надо лбом мягким нимбом, на щеки лег нежный румянец, свойственный коже, о которой говорят «кровь с молоком». Ксюша пела о злом ветре и молодой сосне, и все поняли, что не пели до Ксюши, а так, баловались. Песня была – вот, по-настоящему, честная и простая. Сосна плакала, жаловалась на свою горькую долю, чего-то ждала и с чем-то примирялась, как «не судьба» Ксюшиной первой любви. Не усердствуя голосом, Ксюша жила в нем, летела с ним, с его не до конца отпущенной силой. Дай волю вырваться на свободу, песня покружилась бы над домом, вечерней аллеей, над людьми, собаками и трамваями, и взвилась бы в небо сквозь осевшие по-осеннему облака.

– Хорошо, – тихо сказал Юрий.

Андрей вскочил с горящими глазами:

– Я сейчас! – и убежал.

Юрий рассказал о концерте оркестра Бенни Гудмена двухлетней давности. Музыканты объехали с гастрольями несколько городов, и везде стали проводиться джазовые фестивали. Группа Юрия уже готовилась к следующему.

Гусев вернулся с магнитофоном «Яуза» и подсоединил ленту бобины к ведущему диску:

– Импровизации Эллы Фицджеральд, Патрик привез. Welcome to America.

Иза знала, что некоторые студенты (в том числе и Лариса) относятся к джазу с предубеждением. Пластинки с зарубежной джазовой музыкой не выпускались, но черный рынок располагал неплохим выбором магнитофонных записей, и все еще ходила по рукам «музыка на ребрах»^[17]. Джаз по заявкам радиослушателей иногда транслировала в передаче «После полуночи» новая станция «Маяк». Теперь же из магнитофона неслось нечто неуловимо похожее... и совсем другое. Не верилось, что «звучит» человек, столько из его гортани изливалось невнятных всхлипов, фальцетных кликов и рокота. Голос рвал воздух, будто бересту, отпускал катиться по скале камнепад и взвизгивал, как стекло под ножом. Женщина с ураганом в горле и повадками птицы выплетала из труднодоступных звуков музыку, полную вызывающе-тревожного, неотступного ритма. Эта музыка была рождена в каком-то свободном от условностей мире и не признавала ничего, кроме собственной непостижимой гармонии.

– Э-эй, проснись! – Иза пощелкала пальцами перед носом застывшей Ксюши. Вид у той был напряженно-оцепенелый, как у человека, увидевшего прекрасный утренний сон, но сон увильнул и скрылся, а она тщетно пыталась его догнать. Отмерев, Ксюша встряхнулась и сверкнула глазами:

– Никогда так не смогу.

Относя тарелки в кухню, Иза уловила слабое эхо ее слов: «Не смогу, не смогу». Юрий, по-видимому, доказывал обратное. Мягко, но с легкой ноткой досады. Андрей помог Изе помыть посуду. С ним было интересно, уходить из кухни не хотелось. Сочиняли варианты к окончанию «Евгения Онегина». Пришли в конце концов к выводу, что любой другой финал был бы банален, а так осталась интрига, и образ у Татьяны положительный, в отличие, к примеру, от Анны Карениной.

– Классики не думали о положительности и отрицательности образов, – заявил Андрей. – Они просто описывали жизнь, а нас с детства приучают к борьбе по закону диалектики, чтобы мы привыкли делить все на две части: плюс – минус, хорошо – плохо, восток – запад. Жизнь преподносится нам в черно-белом контрасте, и мы за этой шахматной клеткой не видим, какой мир разноцветный. Лучше всего об этом сказано в повести Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту».

Отлучившись на минуту, он принес книгу в красно-черной обложке:

– Вот как он пишет: «...они вколачивают это вам в голову... и вы начинаете верить, что это правильно. Вас так стремительно приводят к заданным выводам, что ваш разум не успевает возмутиться и воскликнуть: «Да это чистейшей воды вздор!» Возьми книгу, она твоя. С днем рождения.

Юрий ушел, забыв попрощаться. Ксюша, чем-то расстроенная, стояла в коридоре одна. Зайдя в комнату, девчонки оторопели: Лариса лежала в кровати с лицом коричнево-серым и рыхлым, как столовая котлета.

– Ну что уставились? Маску сделала для гладкости кожи, – холодно пояснила Лариса.

– Из хлеба?!

– А что – нельзя? У вас свои рецепты, у меня – свои.

Ксюша принялась было молча стелить постель и не вытерпела, зная истинную цену хлеба в крестьянском труде:

– Трудилася рожь, да пришел прыщ-молодец...

– Трудилася-трудилася, да не перевытудилася, – огрызнулась Лариса.

Закрыв ладонями уши, Иза попыталась сосредоточиться, прочла страницу книги и отложила. Собирая в бумажку хлебную кашицу с лица, Лариса жадно забрасывала Ксюшу вопросами: о чем с Юрием секретничала? в ансамбле петь предложил? в джазе солировать? ты согласилась?

– Нет, – вздохнула Ксюша. – У меня ж «хвостов» полно. Ни о чем не секретничали, Юрий о певице рассказал, никак фамилию еёнюю запомнить не могу.

– Фиц-дже-ральд, – отчеканила чем-то взбудораженная Лариса. Выкинула масочный хлеб в урну и, в стойке руки в боки, повернулась к Изе: – А вы с Гусевым что в кухне делали?

– Посуду мыли, – растерялась Иза. – О литературе разговаривали...

– Говорили дуре о литературе, – криво усмехнулась Лариса.

С вечера назревавшая ссора вскрылась, как нарыв.

– Вот допыталась до нас! – вскричала вполголоса Ксюша. – Не твое дело!

Лариса принялась было протирать лицо кремом, а тут взвилась, точно ее плеткой огрели:

– Мне не все равно, когда люди, с которыми я живу, радуются вредным стихам и музыке!

– Ну и докладывай давай! Беги в комитет комсомола, в деканат, партбюро, да хоть в милицию! Докладывай!

Хорошо, что Андрей, пожелав из-за двери спокойной ночи, попросил вынести магнитофон, а то бы девчонки, наверное, вцепились друг другу в волосы.

Он мог бы забрать «Язу» завтра, но однокурсники, возбужденные давеча обособленным концертом «камчатки», активизировались к танцам. Спонтанная гулянка разыгралась на этаже новичков впервые. Поводя опытным носом, к ним поднялся встревоженный шумом комендант. Спиртным нигде не пахло, разлило уксусной эссенцией. О хмельном ее воздействии на организм он не слышал и на всякий случай спросил. Ему продемонстрировали клейкую реакцию уксуса с часто рвущейся магнитофонной пленкой. Комендант успокоился, но предупредил:

– После одиннадцати отбой.

Наивный человек! После одиннадцати танцы, разумеется, были в самом разгаре, благо день впереди предстоял воскресный. Этой ночью предприимчивые старшекурсники, обитающие этажом ниже, зашибли неплохой барыш на спекуляции алкоголем.

За дверью на малом звуке жалела невезучего черного кота Тамара Миансарова. Гусевское пожелание спокойной ночи сбылось только у Ларисы. Привычная к режиму, она засыпала как по приказу. Под твистовое коридорное шарканье и приглашенный хохоток вздыхала и ворочалась на кровати удрученная ссорой Ксюша. Иза тоже не спала. Поплакала о маме и Майис. Потом размышляла о джазовой музыке и Юрии. О таких разных своих подружках с их разными рецептами в кухне и жизни. Думала о чем угодно, лишь бы не об Андрее... Боялась влюбиться.

Глава 13

Спасай себя сам

Причины, по которым золотой медалист из Перми выбрал профессию руководителя самодеятельного хора, были схожи с Изиным сюда поступлением. Еще в начале лета Андрей видел себя в будущем журналистом-международником либо послом в какой-нибудь зарубежной стране. Узнав о мечте любимого ученика, старый учитель английского языка сказал:

– Похвально, похвально. А не боитесь, что некие... – он задумчиво пожевал губами, – времена вернуться? Ведь Иосиф Виссарионович еще до войны уничтожил почти весь тогдашний дипломатический корпус... У вас могут возникнуть непредвиденные трудности.

Андрей трудностей не боялся. Он привык к ощущению легкости жизни. Школьные предметы подчинялись ему с праздничной готовностью, стройные веши нескучных замыслов уверенно вели далеко, выстроившись вдоль жизненного пути как телеграфные столбы. Андрея ждали полные блестящих открытий поездки, великолепные репортажи и читатели с номерами «Правды» в руках. Народ с восторгом повторял остроумные высказывания из аналитических статей А. Гусева. С особой приятностью предвкушал А. Гусев заполнение дневника путешествий, возвращение домой и работу над текстами выступлений перед рабочими на заводах (и на мамином машиностроительном, конечно). О чем? Разумеется, о бедственном положении людей в империалистических странах и победном шествии Советского Союза в несовершенном мире, где все еще жалко трепещет уходящий в прошлое капитал.

В Москву Андрей отправился на другой день после выпускного вечера: вступительные экзамены в Институте международных отношений начинались раньше, чем в других вузах. Мама дала адрес какой-то тридцатой на киселе родственницы, и та позволила абитуриенту поселиться у нее до осени. Он собирался хорошенько ознакомиться со столицей и подготовиться к поступлению непосредственно на месте, не сомневаясь, впрочем, в успехе. Не сомневались в нем ни мама, ни классная руководительница. Андрей чувствовал себя полководцем в начале открытых дорог – пришел, увидел, победил!..

Честолюбие круглого отличника сразу же и было посрамлено. Строгая

женщина в приемной комиссии осведомилась о рекомендации из райкома комсомола, которую он не подумал взять, и покачала головой:

– Что ж вы о главном не позаботились? Извините, без комсомольского направления я не могу принять ваши документы.

Андрей силился понять, почему он, явившийся одним из первых, с идеальным аттестатом, превосходной характеристикой и отменным здоровьем, не соответствует этому учебному заведению, и не понимал. Какая-то бумажка оказалась значительнее его несомненных достоинств. Норовила встать между ним и институтом непробиваемой стеной.

– Мне пришлют рекомендацию, раз она так нужна, – сказал Андрей.

Взглянув на него внимательно, женщина скептически пожала плечами и вместо ожидаемых слов ответила:

– До свидания.

Он продолжал стоять, униженный, ошеломленный, с красным лицом, словно ему поставили двойку за несданный экзамен. Плохих оценок он никогда не получал.

– До свидания, – повторила женщина утвердительно. Ничего не объяснила, но всем своим корректно-категоричным видом ясно дала понять, что никакие рекомендации положения не спасут, даже если Андрей добудет их сто штук. То есть дело совсем не в бумажках, сообразил он и запоздало откликнулся:

– До свидания.

Как же скоро начались непредвиденные трудности, о которых предупреждал старый учитель! Все вокруг было заполнено удушливой вежливостью так плотно, что Андрею захотелось вскочить на подоконник и выброситься из окна – полететь туда, где нет ничего необъяснимого. Но он, собрав остатки слабеющей воли, взял себя за шиворот, кое-как оторвал ботинки от пола и, выбравшись за дверь, вслепую побрел по Метростроевской. Все красиво расставленные впереди вешки закрыл перед ним гипотетический шлагбаум с вполне отчетливой надписью «Посторонним вход воспрещен».

Андрей плелся пешком, наобум ехал в автобусах, с трудом вдыхая растопленный зноем воздух, будто двигался в водолазном шлеме. В голове скопился углекислый газ безответных вопросов, в висках звенели куранты: досви-дан-динь-дон... досвидан... Душу разъедала обида. Какого черта они звенят?! Прощай и навеки заткни варежку, несбыточная мечта! Андрей бежал по незнакомым заулкам, чтобы выветрить из головы бессмысленные вопросы и звон. Остановился, когда грудь задышала со свистом, как сдувшийся на глубине резиновый круг. Красный в белый горох

спасательный круг, подаренный отцом в детстве... Спасай себя сам.

Легкие восстанавливались надсадно, в глазах скакали кометы – так и бывает после всплытия со дна. Дыша острым воздухом жизни, Андрей принял решение, на самом деле ничего не решающее: он заберет у «кисельной» родственницы свой рюкзак, но не вернется домой в Пермь. Времени подумать, где и на что жить, у него предостаточно. До тех пор пока не определится к дальнейшему, он не сможет по-прежнему открыто и спокойно смотреть маме в лицо.

Пылающая боль неудачи приутихла, и Андрей похвалил себя, что сумел сдержать слезы. Пора становиться взрослым. Кажется, он им уже стал. Жизнь не кончилась, надо просто избавиться от болезненного ощущения второсортности и отсева. Оглядевшись, он увидел в витрине книги, рассыпанные изысканно-небрежным веером. Сердце радостно екнуло: книжный магазин! Это был добрый знак. Страстный читатель, Андрей поглощал все печатное, включая периодику, в большом количестве, на бестолковый современный манер.

На углу здания о чем-то беседовали двое: коренастый мужчина в полотняной кепке и высокий бородатый. Андрей приблизился. Хотелось к людям, – не к той толпе, что безучастной лавиной обволакивала его со всех сторон, а к отдельно стоящим человекам. Путь преградила каменная урна. Хорошо, он опомнился, разговор мужчин в любом случае не предназначался для чужих ушей. Собеседники не заметили незваного слушателя за углом, хотя «кепка», почудилось, оглянулся с опаской.

– У нас после Шолохова сплошное село, – донесся приглушенный басок бородатого. – Кого ни возьми – одно и то же: война, колхоз, председатель, сеял-веял – фиг собрал...

– Эта штука сейчас посильнее, чем «Фауст» Гете, – поддакнул, усмехаясь, «кепка» и быстрым движением перехватил у бородатого из рук вынутую из-за пазухи книгу.

– Вольфовское издание. Ваш недостающий экземпляр.

– Спасибо. – Коренастый любовно погладил папку, в которую сунул приобретение, и пропал в толпе.

Андрей не решался сойти с места: бородатый мог заподозрить слежку. Тот постоял, весело покачиваясь с носка на пятку, и вошел в дверь.

Магазин оказался букинистическим. С наслаждением роясь на полках, Андрей возблагодарил книги за отсрочку нового приступа отчаяния. Взгляд привлекла красно-черная обложка с искусно подклеенным краем – Рэй Брэдбери, «451 градус по Фаренгейту». Распахнув наугад страницу, Андрей прочел: «Вы уже поумнели, Монтэг», и с удовольствием повторил

фразу вслух. Едва научившись читать в пять лет, он часто так делал – открывал и проговаривал по складам первое попавшееся предложение. Почему-то верил: утвержденные в буквах слова обретают смысл прорицания. Часто бывало, что подсказанное книгой действительно сбывалось.

– О, вам повезло, – раздался из-за плеча только что слышанный басок. – Пятьдесят шестой год, «Иностранная литература», а нынче Рэя выпустило издательство «Мир». Кто-то купил свежее издание и сдал старое.

– Хорошая книга?

– Отличная вещь, почти о нашей стране! – воскликнул бородатый. – Берите, не задумываясь.

Они разговорились и на улицу вышли вместе.

– В Молотове^[18] рожденный, – улыбнулся бородатый, узнав, откуда Андрей приехал. – Ох уж этот зуд переименования! Я вот родился на Воздвиженке, юность провел на Коминтерна, женился на улице Калинина... Теперь жена с сыном живут в моей квартире на проспекте, а все это одно и то же место, где мы сейчас стоим.

Так Андрей познакомился с Валентином Марковичем Дымковым. Они шли по проспекту, и Валентин Маркович, щадя раненые чувства Андрея, пространно объяснял, почему его документы «завернули»:

– Большинство продавцов придерживает под прилавком лучший товар для своих. Правило негласное, но действует исправно и всюду...

Престижный вуз, уяснил Андрей, не исключение. Места в институте, очевидно, распределялись заранее по естественному здесь элитарному отбору. Среди «своих». Некоторая часть мест приберегалась для иностранцев, а Гусев, сын обыкновенной работницы отдела кадров провинциального завода, был не то чтобы никем не рекомендованный – он был просто чужой.

Боль и отчаяние из-за крушения детских представлений о справедливости были бы сильнее, не догадайся Андрей смутно о чем-то подобном чуть раньше. И как же нежданно, как вовремя появился рядом умный понятливый человек! От него веяло недостающей отцовской надежностью. Голос был неуловимо знаком, будто, позабытый в детстве, вдруг счастливо вернулся в самый нужный момент.

– Ну и что ты собираешься делать?

– Не знаю. Куда-нибудь поступлю.

– Ничего, что я на «ты»? У меня сын старше тебя намного... Вот что... Я покуда живу с семьей. – Валентин Маркович придержал широкий шаг. – Пробуду, наверное, месяц-два от силы, но тебе, думаю, хватит времени

найти другое пристанище. А пока перекантуешься в моей берлоге. Таганка, улица, фонарь – почти по Блоку. Очень удобно, ночью можно читать, не включая свет.

...Фонарь смотрел прямо в окно коммунального дома, окруженного тополями. Холодноватый призрачный свет рассеивался по комнате на втором этаже. Стены ее покрывали книжные стеллажи, заполненные так плотно, что некуда было втиснуть палец. Несостоявшемуся дипломату (или журналисту-международнику) представилась милосердная по воспитательному действию возможность в течение двух месяцев усмирить наивную гордыню, овладевая теоретическим опытом нового качества.

Андрей вдыхал любимый библиотечный запах старых книг – запах выдохшегося перца и сушеных бабочек – и не мог насытиться. На затрепанных корешках лежала тонкая пыльца времени. Внутри спали семечки букв, готовые распуститься древами неведомых знаний. Тайн, приключений, событий... Андрей осторожно вытянул «Сочинения капитана Мариэтта» – том первый, 1912 г., издательство Сойкина. Засмеялся, оценив юмор хозяина: на внутренней стороне выцветшего голубого переплета красовался овал ажурного экслибриса – изображение дымящейся трубки, а в струйках дыма вырисовывались слова: «Доверить Вашей совести готов владелец этой книги В. Дымков». Должно быть, одалживая книги, рассеянный Валентин Маркович забывал, кому отдавал их почитать в очередной раз.

Огромная признательность судьбе за столь странный поворот обуревала нечаянного квартиранта. Прекрасно зная тайные (даже от мамы) мысли Андрея, судьба нашла огорчительный, но, кажется, единственный способ столкнуть и подружить его с удивительным человеком – человеком такого склада, каким он всегда хотел видеть отца.

В сухих книжно-энтомологических запахах, в деталях холостяцкого быта обитал добродушный, явственно ощутимый дух жилища, неотделимый от хозяйской души и в то же время вполне самостоятельный. Андрею нравилась легкая, по причине нехватки места, захламленность комнаты, нравилось кроткое обаяние давно переживших пенсионный возраст вещей. Широкий стол с пластиковым покрытием был завален с одного бока папками и бумагами, с другого – посудой. Из-под клеенчатой скатерти блестели железные уголки сундука с неизвестным содержимым. Древнее кресло, обитое стертым до ниток бархатом, гордилось витиеватой резьбой ампирических ножек, страдая от маргинальной близости двух грубо сколоченных табуретов. За импровизированной загородкой – узким шкафом – засилье книг над продавленным топчаном сдерживалось

островком акварельной живописи в простых деревянных рамках, среди которых выделялся фотографический портрет кудрявого малыша с проказливой мордашкой только что выстрелившего купидона. Сын, понял Андрей, и, не находя никакого сходства мальчика с Валентином Марковичем, застыдил в себе невнятного чувства, опалившего грудь.

Чудесна была Таганка, эта обочина центральной части Москвы с маячком высотки на набережной, с игрушечными церквями, тихими скверами и голосистым рынком, и нисколько не мешало слуху близкое урчанье автобусов транспортной петли. Возле Театра драмы и комедии Андрей обнаружил ресторан «Кама», покоривший его ностальгическим «пермским» названием, он разок скромно поужинал там из интереса. На улицу выходил редко, по крайней надобности – за хлебом, кефиром; покупал огурцы у бабуль. Под шорох желтоватых страниц особенно вкусно поедались почему-то именно огурцы – свежие, хрустящие, с округлыми белыми рыльцами, или малосольные, бьющие в нос из-под крышки банки ядреным ароматом смородинового листа и дубовой кадушки. Можно было что-то сварить в кухне – остальные жильцы с необычной приветливостью отнеслись к «племяннику» Валентина Марковича, – но было лениво, да ничего и не хотелось.

...Только читать. Андрей нашел здесь книги, о каких раньше не слышал: «Конармию» Исаака Бабеля, «Венецианское зеркало» некоего Ботаника Х, парижское издание романа «Лето Господне» Ивана Шмелева, дореволюционные тома Д.С. Мережковского – множество книг было с «ятями». Рассказы Аркадия Аверченко тронули Андрея своим грустным юмором, и со смущением, но не без смеха он за одну ночь осилил «Декамерона», о котором знал с чьих-то слов, что «Боккаччо написал препохабную дрянь».

В «Самопознаниях» Бердяева, раскрыв их посередке, Андрей прочел: «Я понял коммунизм как напоминание о неисполненном христианском долге. Именно христиане должны были осуществить правду коммунизма, и тогда не восторжествовала бы ложь коммунизма». Отставил книгу. Что-то надсадно царапнуло, кольнуло, словно зашевелилась от неосторожного толчка вросшая в душу заноза.

Ложь... Два года назад в газете «Правда» был опубликован текст выступления Хрущева на съезде комсомола. Мама почему-то отозвалась о речи с отвращением, вспомнив расхожую шутку: «В «Известиях» нет известий, а в «Правде» нет правды».

– Почему, мам? – удивился Андрей.

– Потому что вся информация в газетах фильтруется. У правды нет

прав...

В докладе говорилось, что все хорошее рождается на земле с муками, но это, собственно, всегда происходит при рождении, и волноваться не стоит. Нужно верно понимать болезненность проявления нового. Все неприятное со временем обязательно уйдет, главное – верить в программу партии и упорно проводить намеченную линию... Примерно такие были слова. Андрей сам зачитывал этот газетный доклад на пятничной политинформации в школе и недоумевал по поводу маминой досады: в чем солгал Никита Сергеевич?

– Помнишь, заводские вышли на митинг в поддержку рабочих Новочеркаска? – спросила мама. – А читал ты в центральных газетах о забастовке, а в наших – о митинге или о том, что люди возмущены ростом цен на продукты?

– Нет, – опять удивился он прозвучавшему в голосе мамы раздражению.

– Умолчание – та же ложь, Андрей.

Вот и все объяснение. О том, что в печати ни словом не было упомянуто о народных волнениях, у него не возникало и мысли. Родители большинства одноклассников Андрея трудились на «мамино» машиностроительном заводе, ребята в школе знали о митинге в поддержку забастовки рабочих Новочеркасского электровозостроительного и говорили об этом, но ложь официального умолчания никого не встревожила, как само собой разумеющееся... рядовое, обыденное. Потом кто-то сообщил страшную весть: солдаты стреляли в стачечников, есть убитые и раненые. В это совсем не верилось: какие солдаты, какая армия? Да вы что, парни, сдурели, это же наша Советская армия?.. Правительство отправило солдат убивать мирных людей?!

Чрезвычайную новость бурно обсуждали на переменах, но снова никто из ребят не вознегодовал по поводу молчания властей. Андрей тогда пересмотрел газету с докладом и понял, почему мама разозлилась. В обычной, казалось бы, речи Хрущев тонко намекнул на трагедию, в которой, можно сказать, сам и был виноват. Ведь он же знал! Должен был знать о посланных солдатах...

У Андрея с детства была «девчачья», как он считал, привычка мучительно переживать за книжных героев. В третьем классе он плакал, читая «Хижину дяди Тома». Срамил себя и всякий раз не мог удержаться. Ясно видел сквозь слезы юного Роберта Гранта, спасающего друзей от волков, летел с Ариэлем прочь от безжалостной земли, и Овода расстреливали на его глазах, и пепел Клааса стучал в его сердце. Андрей

ощущал почти осязаемую связь с этими людьми, они жили в его душе, дружили, любили, совершали непоправимые человеческие ошибки и великие человеческие подвиги, умирали... а он плакал.

Позорная чувствительность, несовместимая с суровыми понятиями о мужестве, осталась в Андрее, перешла во взрослость из книжного детства. Он научился успешно подавлять ее, по крайней мере на людях, тихо гордясь внешней невозмутимостью как одним из признаков мужского хладнокровия. Но резанувшее ужасом происшествие в Новочеркасске – не книжное, настоящее – не забывалось долго, и влажно жмурились глаза, когда Андрей представлял доблестных воинов, нацелившихся на безоружную толпу. На миг в ней показывались беспомощные мамины глаза... и он молча рыдал внутри, не дрогнув лицом, не столько из-за жалости, сколько из-за бессилия изменить беспощадный мир.

Вскоре начались экзамены за восьмой класс, забастовочный случай побледнел, отодвинулся в быстротекущих событиях. Лишь теперь всплыл тот разговор с мамой о хрущевском докладе, и с незнакомой ненавистью подумалось, что первый секретарь ЦК не оправдывался в своих тирадах – нет, не оправдывался! Он вообще не считал себя виноватым. Уверенный в своей правоте, Никита Сергеевич со снисходительным высокомерием поучал, как нужно людям жить, упорно проводя намеченную линию партии, чтобы не быть жестоко наказанными. И даже убитыми. В передовицах, отчетах, статьях, как ухмылка под жизнерадостной маской, таилась топкая ложь.

Перескакивая из страницы в страницу старых книг, Андрей уразумел, что Дымков имел в виду, когда сказал о «451 градусе по Фаренгейту»: «Отличная вещь, почти о нашей стране». Герой этой фантастической повести, пожарный Гай Монтэг, чьей работой было уничтожать книги, однажды встретил девушку Клариссу Маклеллан, и жизнь его полностью изменилась. Монтэг в конце концов смекнул: правительству не нужен читающий народ. «Сжигать в пепел, затем сжечь даже пепел» – чтобы полностью выбить из народа дурь знаний, накопленных человечеством. Это были книги, которые заставляли видеть. Слышать, сопоставлять, вдумываться и думать. Главлит, дважды пропустивший повесть в печать, не заметил в ней опасности. Если пожарного на его открытие натолкнула непохожая на других девушка Кларисса, то Андрея – Брэдбери и книги, запрещенные в Советском Союзе. Их, наверное, тоже жгли... Андрей испугался за рассеянного и беспечного Валентина Марковича. Прекрасные старинные издания на этих полках были способны навлечь на него беду.

«Вы уже поумнели, Монтэг».

Андрей впрямь чувствовал себя Монтэгом. Вчитываясь в автобиографический роман Шмелева, он испытывал раздвоение личности. Одна его половина углублялась в полные неизъяснимого очарования рассказы о давно отвергнутых религиозных праздниках и, не желая отвлекаться, досадовала на метания второй. А та, вторая, жила в настоящем времени и ощущала нетерпимый, в самом воздухе разлитый запрет. В реальной, не вымышленной, его, Андрея, стране человек не имел права читать светлые книги, написанные дивным русским языком, потому что их содержание расходилось с принятыми властью предписаниями. Свет этих книг был невыгоден власти.

В анемичных отблесках фонаря Андрей незаметно засыпал, уронив голову на книгу, и видел отрывочные сны о маме. Мягкий луч маминой руки гладил лоб и волосы сына, и так же незаметно рассвет принимался выметать из комнаты хрупких бабочек снов и угловые тени.

Почему мама не объяснила, предоставила самому разбираться? Всего раз прорвалась в ней неприязнь к замаскированной неправде. Не было подобных разговоров ни до, ни после. Сомневалась ли мама в себе, в Андрее или верила, что его не коснется согласие с ложью, что он не осознает собственного и всеобщего конформизма? Подозревала в сыне карьериста... смирялась с этим, ждала ли этого, поскольку так проще, удобнее, так безопаснее жить?

«Слетел мой золотой венчик, – весело писал Андрей маме, – но ты не волнуйся, я куда-нибудь поступлю, я себя не потерял...» В нем вызревало и всходило тяжкое знание. Чужая боль не просто задела – она проникла, кажется, в кровь и сердце, проросла в Андрее и сплелась с его собственной болью. Он не мог больше играть с душой в жмурки. Что-то непроницаемое разбивалось в душе. Андрей чувствовал, что обновляется – не козленок, напившийся запретной водицы, не Иван-дурак, изменившийся до неузнаваемости в кипящем котле... Сам не мог взять в толк, кем становится, кем будет нынче.

Глава 14

Птица Гусь, сын человеческий

В воскресенье Валентин Маркович пришел навестить жильца не один, с сыном Юрой. От озорного купидона с фотографии ничего не осталось. Юра был спокойный молодой человек с пригожим, светлым, как открытая книга, лицом. Сходство с отцом ограничивалось коротко стриженной кудрявой бородкой.

Выяснив, что Андрей окончил музыкальную школу, Юра обрадовался:

– Слушай, у меня в группе клавишник приболел. Заменишь?

Он же и предложил подумать о поступлении в институт с музыкальным «уклоном».

– Может, в этот? – ткнул в газету с объявлением о приеме в вузы (в нее была завернута принесенная колбаса).

Андрей кивнул. Ему стало все равно. Огорчило только, что придется уйти отсюда раньше осени.

Кроме колбасы из саквояжа появился второй газетный пакет с сайкой, нарезанным сыром и помидорами. Выставив на стол бутылку коньяка «Ереван», Валентин Маркович взглянул вопросительно:

– Как юное поколение смотрит на то, чтобы мы слегка зашибли муху?

– Нормально смотрит, – отозвался Андрей, хотя ему не казалось обычным, что отец допускает выпивку с сыном, каким бы он взрослым ни был.

– Дома нельзя – мама, – засмеялся проницательный Юра. – Все еще считает меня ребенком. А мы с папой вот малость позволяем себе иногда.

Покуривая «Краснопресненские», отец с сыном на равных, как друзья, пили коньяк из неконьячных по величине рюмок, болтали о музыке и литературе. Валентин Маркович читал стихи Гумилева из африканского цикла, Юра рассказывал о гениальном, по его мнению, квартете из Ливерпуля. Андрей что-то слышал о группе «Битлз» в прошлом году...

Не ведая ни ласк отцовских, ни подзатыльников, он по-хорошему завидовал Юре. Своего отца, ушедшего из семьи во времена спасательного круга, Андрей не помнил. Подаренный им круг помнил, а самого – нет. Красный в белый горошек, как божья коровка, круг внезапно лопнул и сдулся на речке, и таким образом научил трехлетнего Андрея плавать. «Странно, – подумал он вдруг, – не машинку отец подарил, не плюшевого

медведя с блестящими глазками на пухлой морде, с ситцевыми подошвами на лапах – такой был у соседского мальчика. Случайно купил то, что под руку подвернулось, или с намеком? Спасай себя сам». Человек, давший Андрею отчество и фамилию, уехал из Перми после развода с мамой и за все остальное время ни разу не подал признаков жизни.

А Валентин Маркович, узнал Андрей позже, расстался с женой десять лет назад. Но не с сыном и не до конца. Юра до сих пор страдал из-за разрыва родителей, пытался соединить несоединимое, однако дольше нескольких месяцев в году перемирие не продолжалось. Притом что все трое очень любили друг друга.

В прошлой жизни семьи приключилась драма, связанная с издательством, где супруги Дымковы работали вместе. Валентина Марковича, судя по туманным обмолвкам Юры, уволили с работы «по политическим мотивам». Жена взяла противную – начальственную – сторону. Не простив предательства, Валентин Маркович глухо запил. Едва сумел выйти из затяжной депрессии и, уже одинокий, бессемейный, понемногу восстановился во всем, кроме привычной работы. Устроился разнорабочим в цирк. Там его любили. Впрочем, редакторский труд он не полностью забросил, неофициально подрабатывал вечерами. С запоями завязал и лишь изредка позволял себе «зашибить муху» с сыном.

К Юре Валентин Маркович относился как к человеку основательному, уважал в нем музыкальную жилку и способность, с охотой приняв несколько рюмок, никогда не напиваться до зюзи. Юра же с высоты своей серьезности чуть снисходительно смотрел на эмоционального, неровного в настроениях отца. Взгляды их во многом совпадали, но характеры и предпочтения были совершенно разными. Книголюб и эрудит, Валентин Маркович водил знакомство с изысканными антикварами-эстетамы, сумасшедшими коллекционерами, продавцами книжных магазинов и распространителями самиздата. Он был личностью отдельной, штучной, не походил ни на кого из знакомых. Неуловимо напоминал Андрею его самого...

Вступительные экзамены в институт Гусев, птица залетная и «золотая», сдавал только по специальности. На курсе разыгрывал роль весельчака и юмориста, кем и являлся отчасти. Соседи по комнате попались славные, учился с всегдашней легкостью из привычного стремления к образованию, в чем бы оно ни заключалось. Хор, соло, терцет, альты, басы – не лучше и не хуже всякой другой науки. В лидерах тем не менее не состоял, поскольку не принимал участия ни в комсомольской работе, ни в жарких студенческих спорах на злобу дня.

Отказ в ИМО был первым и пока единственным фиаско в начавшейся взрослой жизни, но этого опыта хватило для истребления в Андрее отличника с директивными замашками. Тщеславие отпустило, он понял, что осечка с журналистской мечтой была и уроком, и переходом на неведомую пока ступень. Фонарь и комната на Таганке вернули его подкидышем в перевернутый мир.

Андрей привязался к Юриному музыкантскому братству, но в группу не вошел – не захватило. Больше нравились увлечения Валентина Марковича. Со временем старший товарищ ввел Андрея в неоднородную библиофильскую среду. Люди в этом сообществе всегда располагали сведениями о новинках, следили за литературной критикой и все в разной степени были оплетены тенетами книжной спекуляции. Так же, как Валентин Маркович, Гусев в поисках любопытных изданий с самозабвением исследовал магазинные полки и подвижные развалы, кочующие от бдительного милицейского ока. Вдвоем они посещали поэтические вечера в Политехническом музее, художественные экспозиции в Сокольниках и подпольные квартирные выставки, где после разгона в Манеже царила атмосфера, наэлектризованная вызовом и эпатажем.

Андрей завел приятельские отношения с симпатичной продавщицей из отдела букинистики одного из книжных магазинов. Девушка оставляла ему редкие книги, не принятые из-за ветхости или не допущенные к продаже по списку запрещенных авторов. Она рисковала как по соглашению, так и по искусу. Если выпадала возможность, приобретала раритеты у сдатчиков напрямую и накидывала цену для Андрея, прекрасно зная, что он сбудет их дороже. На вырученные деньги Гусев снова покупал книги, действуя, как Валентин Маркович, из интереса к манипуляциям с ними, а не из страсти к наживе.

Искренний в письмах с мамой, насколько мог себе позволить, в разговорах с Юрой и немногими друзьями, Андрей больше всего доверял старшему Дымкову. Духом они действительно оказались очень близки. Редкая отзывчивость причудливо сочеталась в Валентине Марковиче с резковатой иронией, интеллигентская порядочность – с предрасположенностью к авантюре, энциклопедические знания – с никудышными житейскими. И все это вкупе – с верой в Бога. Дымков познакомил Андрея с самиздатовскими стихами Мандельштама, Бродского, с бледным, из-под пятой копирки, пастернаковским «Доктором Живаго» и предупредил:

– Будь осторожен. Как прочтешь, сразу верни.

Андрей вспыхнул (кто бы говорил об осторожности!), Валентин

Маркович усмехнулся: «Обиделся?» – и подарил карманную Библию в твердом кожаном переплете. Текст в Книге книг был маленький, даже Андрей напрягался со своим стопроцентным зрением...

Он стал ощущать смутную тягу к наблюдению за людьми и событиями. Купил маленький толстый блокнот: зарождающийся интерес побудил вести нечто вроде дневника. Туда он вносил кроме своих пометок книжные цитаты и меткие высказывания окружающих. Те, что касались политики, часто доказывали дутую праведность советского строя. За внешней шелухой срывались все новые и новые лакированные оболочки, прячущие темное нутро лжи – скользкой и неодолимой. По Бердяеву, какой бы политический строй ни добился власти, основной ее целью была она сама. Впечатленный философскими рассуждениями автора «Самопознаний», безотчетно подражая ему, Андрей изложил в блокноте собственные размышления: «Власть невозможна без зависимости народа от нее, и всякие свободы, провозглашенные властью, – ложь, придуманная для влияния на массы в рамках этой зависимости. Ложь советской партийной диктатуры многофункциональна: как щит власти, она прикрывает ее пороки; как орудие критики – дестабилизирует врагов; как инструмент подчинения – воспитывает народ. Не что иное, как ложь партии тормозит развитие страны к ее переходу в настоящий, неформальный коммунизм». Партия власти представлялась теперь Андрею окаменелым, забронзовевшим во лжи резервуаром. Вливаясь в этот коварный сосуд, все новые и новые ряды партийцев принимали его незыблемую форму, словно злосчастное дитя, пойманное компрачикосами. Лучшие из них верили в справедливость партии, остальные – лгали... Ложь подменяла понятия, подгоняла их под свои установки, правила, приказы, и не было у покалеченной правды сил остановить этот inferнальный процесс.

От максимализма и ожесточения Андрей освободился так же неожиданно, как их приобрел. Гимн Ксюши пробился к нему сквозь угрюмый кошмар и вытянул из пасмурных дум, будто подал руку тонущему в мертвой воде. И Андрей выплыл. И спасся. И долго не мог поверить, что иногда человеку для спасения достаточно малой соломинки, чтобы вырваться из душевных хлябей. Ксюшин чудесный голос вызвал в нем острую, почти эйфорическую радость, близкую к подъему вдохновения: настоящий дар тем и прекрасен, что, прикасаясь к чувствам людей, пробуждает в них ощущение гармонии мира.

Было, кроме того, ошеломительное открытие. Радужная паволока застлала глаза, и Андрей, изумившись явлению давно не посещавших его слез, впервые не был ими раздражен. Снова шевельнулась, зажгла сердце

знакомая... нет, не боль. Он не знал этому чувству названия: в груди упругим цветком распускаясь странная нежность, мужественная в своем упрямстве и воле. Та нежность, которую он безуспешно вытапывал в себе ногами конфузливой мальчишки и возмужалого отрока, отвергал, как постыдно сентиментальное умиление.

Радостно привыкая к этим открытиям, Андрей не прекратил презирать ложь и все так же находился в конфликте с текущей историей, однако неистовая, по-змеиному шипящая ненависть, попытавшаяся взять над ним верх, отступила. Он знал, что злоба ему не присуща. Но знать еще не значит понять, а тут Андрей понял, что злоба иссушила бы его душу, уничтожила бы в нем личность, которую он с облегчением в себе обнаружил. Нежная слабость победила... цветок всяко лучше змеи. Со спокойствием, пришедшим вместо яростных мыслей, понял Андрей и то, что личность создается отношением к людям, и знания, как нравственный свет в поиске собственных истин, нужны человеку именно поэтому.

Внутренний свет, пробужденный властным зовом чудодейственного голоса, оптически выделил в Андрее яркую склонность его характера к сопереживанию, возможно, чреватую в будущем неприятностями, но пока он был счастлив своей посильной помощью Ксюшиному таланту. И позже, чувствуя счастливый взлет солнечной радости или горючую боль сострадания, Андрей думал, что ему как-то придется с этим смириться, как-то жить, ведь из этого, по всей видимости, жизнь его и состоит.

Он увлекся идеей воодушевить Ксюшу к джазовому пению. Юра сомневался:

– Не сможет. У нее же, ты говоришь, даже начального музыкального образования нет.

– Сначала послушай, как она поет, – обиделся Андрей за девушку. – Убедишься – находка для джаза!

Юра убедился. После сам сказал:

– Голос великолепный, экспрессия и прочие наработки – дело наживное.

Записи Фицджеральд потрясли Ксюшу. Раньше она, видимо, не слышала вокальных джазовых импровизаций. Андрея приятно удивила ее чуткость к стихам. Прочешь свои, правда, так и не решился: Лариса бы и к ним прицепилась. Ну и хорошо, довольно славы школьного поэта. Андрей с четвертого класса отвечал за праздничные стихи в стенгазетах и сочинял эпиграммы в девчачьи альбомы. А вот желание написать что-то для себя в нем вдохновила опять-таки Ксюша.

В бабушкином зеркале спали небылицы,
трещины коверкали видимость в углу,
где мерцали зыбкие слюдяные лица,
клоун жил, улыбкою победивший мглу.
Позолота падала со старинной рамы,
а из дымки ладанной мальчик цирковой,
мальчик гуттаперчевый в омут амальгамы
взглядом переменчивым звал меня с собой.
Было мне обещано на канате прочном
редкостное зрелище с огненным кольцом,
но рыдала в ситцевый носовой платочек
девочка с косицами и с моим лицом.
Мальчик опечаленный соскользнул с каната,
сквозь стекло нечаянно вырвалась рука...
Закричали зрители, заругался матом
клоун в старом свитере, белый, как мука.
Улыбнулся клоуну мальчик оробело,
руки в обе стороны крыльями простер,
и душа доверчивой птахой полетела
в воздух гуттаперчевый, в облачный простор.
Потерялся в трещинах цирк, как будто не был, —
просто померещилось мне виденье то...
Но осколки зеркала вдруг взлетели в небо
взрывом фейерверковым вслед за шапито.

Время от времени Андрея начало посещать элегическое настроение, а эти стихи он записал в блокнот с мыслью, что они будут дороги ему так же, как было дорого Ксюше ее детское воспоминание.

Ребята в комнате подтрунивали:

– Гусев, а отдельно от голоса она тебе нравится?

– Очень нравится, особенно когда варит супчики и каши, — отшучивался Андрей.

Смешная, добрая Ксюша нравилась ему, но, если честно, не «отдельно от голоса» (и супчиков с кашами). Внешне она его несколько не привлекала. Такими, как Ксюша, художники-плакатисты представляют крепких, загорело-молочных советских тружениц: доярок, трактористок, строительниц, которым рожать и работать, работать и рожать подобных себе, соломенноволосях и белозубых. Андрей мечтал вместе со всей страной гордиться всемирно известной певицей Ксенией Степанцовой, а

оберегать от всех бед он хотел бы другую девушку. Он подумал об этом сегодня днем, когда вылетел в вестибюль на перилах. Колочий холодок в животе, баянное движение ступенчатых мехов, спираль вихрей в ушах – эх, хорошо! Андрей едва успел притормозить в торце, с садинами на ладонях и дрожью в теле... Бедная Дарья Максимовна побагровела:

– Мальчишка! Чуть башку не расшиб!

Нашкодивший Андрей опустил долу нерасшибленную, к счастью, башку, а поднял – и увидел Изу. Ее глаза. Синие, почти фиолетовые от испуга. Такого же цвета, как в аллее летом, когда она стояла над ним в ужасе, а он притворялся, что умер. И тут, пока вахтерша кричала, он, поддавшись порыву, сказал этим глазам: «Не бойся, я же опять не умер! Я не скоро умру и тебя защищу от всех бед».

До Изы не донеслись его мысленные слова, она спокойно начала всходить по лестнице. От расстройства, что не услышала, не догадалась, он громко вслух пообещал Дарье Максимовне еще раз прокатиться по перилам. Потом, досадуя на себя и жалея ее, полил пальму, цветы и помыл полы в вестибюле. А вечером, после печально-веселого ужина у девчат, вместо того чтобы просто постоять рядом с Изой молча... просто постоять и, может быть, рискнуть обнять ее, он завел дурацкий литературный диспут. Пытался объяснить, как искусно подается воспитательная ложь на школьных уроках. Зачем?... Иза вдруг смолкла, в глазах копились вопросы, и глаза переливались, меняя цвет...

Сложно наслаждаться одиночеством, если лежишь на кровати в безлюдной комнате, а из коридора наплывами доносятся то бодрый голосок Миансаровой, то приглушенный бас Магомаева, густо зашарканный подошвами туфелек и тапок в бабаджаняновском темпе.

Танцы-шманцы, примитивные игры, неизбежная головная боль под утро... Нет уж, увольте. Андрей терпеть не мог многолюдные хмельные увеселения. Маленькая Библия под углом подушки с напрасным зовом подпирала щеку – не получалось читать. В памяти мазок за мазком воспроизводилась картина Врубеля, чья больная тревожная кисть, бродя в заколдованном царстве, из всех драгоценных камней взяла для изображения Царевны-лебеди самые нежные, не вполне расцветшие самоцветы.

Но вот магнитофон заглох. Свет под дверью погас, включилась темнота – друг молодежи. Сейчас народ разбредется парочками по углам или начнет гонять по полу бутылочку. Хватит света из открытой двери кухни, чтобы не ошибиться и нацелиться в губы, указанные к поцелую безголовым стеклянным горлышком. В школе на выпускном

одноклассники, помнится, тоже надрызгались красного вина до одури, потом играли в детсадовский «ручеек» и крутили юлой «тару». Андрей поцеловал соседку по парте, вторую девчонку, третью из параллельного, сжимаясь от ощущения тугой концентрации в нижнем своем отсеке. Доисторическая, животная, звероящерная глубина разверзла в нем горячую пасть, подталкивая к действию руки, обретшие полуосознанную смелость. Грудь одной из девчонок была на ощупь упругой и одновременно мягкой, как чуть приспущенный резиновый круг... В выветренном от мыслей мозгу шел тотальный свист: эрос-с, фаллос-с, коитус-с... Андрей рано ушел, стал противен себе.

Любовь, понимал он, далека от свистящих слов, и естественна по-человечьи, и необходима. Она обязательно когда-нибудь придет. Будет, всегда насущная, святиться, даждь днесь – сегодня и всегда, как Бог. «Всему свое время, и время всякой вещи под небом»... Как хорошо Бердяев писал о Всевышнем. Почему же Андрей, будто ворон, выбирал и склевывал из текста философа только те абзацы, что отдавали душком презрения и гнева? Наверное, человеку свойственно видеть не то, что есть, а то, что он хочет видеть. Внезапно Андрея осенило: Ксюшин голос вызволил его из мрачной пучины злобы благодаря лучистому воплощению Спасителя, через Свой заповедный Божий дар, выпускающий в жизнь радость и свет. Надо попросить бердяевские статьи у Валентина Марковича, перечитать, отличая «Гоголя от Гегеля». Осмыслить так, чтобы в фиксаже памяти закрепился не негатив, а строки, высветленные Богом.

Наугад развернув Библию, Андрей прочел: «Как рыбы попадают в пагубную сеть и как птицы запутываются в силках, так сыны человеческие уловляются в бедственное время, когда оно неожиданно находит на них»^[19].

Пожарный Гай Монтэг, носивший часть Библии в голове, называл себя «Экклезиастом». Другие из тех, кто хранил в памяти знания человечества для будущего, были Джонатаном Свифтом, Шопенгауэром, Эйнштейном, Махатмой Ганди, Буддой, Конфуцием...

– А ты – кто? – посмеиваясь, спросил себя Андрей шепотом. – Кто ты, птица Гусь, сын человеческий?

Часть вторая

Каждому свое

Глава 1

Не достоин звания коммуниста

Иза с Ларисой получили стипендию, троечница Ксюша – зарплату в конторе поблизости, где мыла полы по вечерам. Считали расходы: жилье, взносы в комсомол-профсоюз, общая «касса» на еду, тетради-ручки, всякая женская галантерея, зубной порошок, баня, дешевое «Земляничное» – десять штук на месяц.

Душистый румяный брусок мыла был полон запахов ягодной поляны. «Земляничным» стирали одежду и мылись. Оно нежно касалось упругой девичьей кожи, сокровенных выпуклостей и ямочек, таяло, испарялось и, отдавая себя без остатка, может быть, успевало ощутить блаженство на своем примитивном атомном уровне. Хозяйственное мыло за двенадцать копеек было больше, экономнее и предпочтительнее для стирки, но Лариса принесла откуда-то слух, будто мыловаренные заводы изготавливают его из бродячих собак: «...и как нашла эта женщина в мыле клык, так пошла возмущаться в газету...» В газетах слухи не подтверждались, однако и лохматые стаи, едва расплодившись, с таинственной методичностью исчезали из города.

Лусточки в институтской столовой почему-то перестали быть дармовыми, зато единый студенческий проездной выдавали бесплатно. Затраты казались незначительными, а сумма все равно набегала не пустячная, и у Ксюши снова не получалось купить рейтузы.

– Осталась я до другой полочки в гамашах, – сокрушалась Ксюша.

– Давай вместе на барахолке возьмем, мне тоже надо, – предложила Иза.

– Я ж тогда из долгов не вылезу...

– А я не в долг, пусть будет подарок.

– Ишь ты, подарок! – сердилась Ксюша. – Матушка твоя копила, чтоб ты весь бесштаный мир одела! Ничего, семейские бабы сроду по штанам не страдали. Им по вере и трусов нельзя было носить. Терпели как-то, и я без рейтуз вытерплю.

Несправедливо, думала Иза, что мужские брюки и кальсоны раздобыть нетрудно, даже с начесом, а женские рейтузы, совершенно необходимые в морозы, цеха выпускают мало, и то почему-то сплошь голубого и розового цветов. Висят в магазинах этакие «маяковские» облака последних слоновьих размеров. Наверное, начальство фабрик полагает, что в трикотаже мечтательного цвета женщины чувствуют себя легче после всех штатных и общественных работ.

Черные рейтузы в магазинах выкидывали редко, времени не напасешься маяться в очередях. А на «толчке» красовались горы фабричных рейтуз и самовязок. О том, как превратить светлую пряжу в темную, не писали в журнальных рубриках «Полезные советы» и «Сделай по-своему», хотя всем было известно, что для этого нужно иметь блат в химчистке. Спекулянты скупали там анилиновые красители и кипятили голубые рейтузы до дикого посинения. Шерстяная нитка сваривалась, и вещи уменьшались до «ходовых» размеров, а цена, наоборот, повышалась. Особые умелицы научились по времени кипячения варьировать цвет и размер.

Стипендия мало-помалу тратилась на запланированные мелочи, на билеты в театр, кино, выставки – для повышения в себе всесторонней развитости, конверты-открытки: приблизился праздник 7 Ноября. Иза послала поздравления всем «своим» загодя. Она, вообще-то, на них обижалась. Никто на ее письма не отвечал, дядя Паша даже ко дню рождения не отправил ни строчки... Его молчание было странным, непонятным и терзало Изу тревогой.

После праздников пришла запоздавшая поздравительная телеграмма от Натальи Фридриховны с тетей Матреной, а еще через неделю – открытка от Полины Удвериной из Свердловска. Под скучным пожеланием здоровья и успехов Полина приписала: «У меня все нормально, учусь. Галя с Сергеем ждут третьего ребенка».

Галя, староста комнаты в детдоме, не окончив восьмого класса, выскочила замуж за сельского шофера. Иза с легкой ревностью подумала: ей от Удвериной – краткая отписка, а с Галей, значит, связь держат. Ну и ладно...

Однажды в метро мелькнули знакомые круглые очочки и «калининская» бородка клинышком. Иза еле узнала Петра Яковлевича. Неужели этот сгорбленный старик впрямь он, бывший сосед по общежитию на улице имени Карла Байкалова?

Добрейшей души человек, весельчак и любитель над кем-нибудь незло подшутить, Петр Яковлевич был всеобщим любимцем. С его легкой руки

соседи завели традицию отмечать праздники сообща во «всехной» кухне, до сих так справляют... Вспомнилось тети-Матренино: «Петруша в Егорьевск рванул к своим. От Москвы, гряд, недалеко. Если доведется встретить, привет передай от нас с Натальей».

Иза обрадовалась, повернула за стариком, а он – от нее. Поклясться могла бы: заметил и тоже узнал, но почему-то пытается скрыться. Оглянулся украдкой в толпе на лестнице – затравленно, как разоблаченный карманник... Иза застопорилась в смятении.

– Ты куда полетела? – подбежала Ксюша.

– Езжай, не жди, мне со знакомым надо поговорить, – бросила Иза. Оставив Ксюшу в недоумении стоять у входа, поспешила по улице за удирающим стариком. Что-то здесь было не так, следовало разобраться, в чем дело, иначе эта загадка не даст покоя.

Петр Яковлевич наконец прекратил играть в прятки, прислонился к стене, протирая платком очки. Губы кривила какая-то обреченная полуулыбка, и острая бородка, вздернувшись с вспомогательной бодростью, сделала его похожим на старого козлика.

– Ну, здравствуй, Изочка, – прохрипел он с одышкой. – Рад тебя видеть...

– Петр Яковлевич, почему вы от меня убегали? – спросила она в лоб.

Он виновато помялся.

– Э-э... Разве?

– Вам привет от тети Матрены и Натальи Фридриховны. Просили передать, если нечаянно встречу.

– Спасибо, – пробормотал он. – А я, это... В Егорьевске живу. Воссоединился, так сказать, с семьей. Внуков с женой нянчим на пенсии. В Москву вот к сыну приезжал, сейчас домой...

– Петр Яковлевич, хочу спросить.

– А?

– Я знаю, я чувствую – что-то плохое с Павлом Пудовичем случилось, да?

Голос у Изы, сама не ожидала, был такой требовательный, что Петр Яковлевич сдался:

– Да.

– Он живой?..

– Живой, живой! – замахал руками Петр Яковлевич. Помолчал и тихо добавил: – Только вот в тюрьме твой дядя Паша, Изочка.

– Как... в тюрьме? Почему?!

Петр Яковлевич сунул руку в нагрудный карман и достал из него

сложенную вчетверо половинку газетного листа.

– Вот читай. Это из августовского номера «Социалистической Якутии», Наталья с Семеном отправили.

Под заголовком «Взяточник не достоин звания коммуниста» Иза прочла небольшую заметку: «24 июня данного года сотрудник Городской ветеринарной станции, коммунист П.П. Никитин, находясь при исполнении служебных обязанностей, в установленном порядке оформил сопроводительные ветеринарные свидетельства на продукцию Якутского рыбозавода. «Полномочия» ветеринарного врача на этом не завершились. Следствием установлен факт получения П.П. Никитиным взятки в виде денег от должностного лица рыбозавода за выдачу государственных справок на крупную партию продукции, не учтенной в документах. Таким образом, П.П. Никитин предоставил группе злоумышленников возможность обогащения за счет торговли скрытой от отчетности продукцией на рыночных территориях г. Якутска и пригородных зон. Получив денежные средства за оказание данной услуги, правонарушитель внес заведомо ложные сведения в отчетные документы, занижив количественный размер продукции, предъявленной ему на санитарное освидетельствование. В ходе предварительного расследования ОБХСС^[20] взяточник полностью признал свою вину. При проверке хозяйственной деятельности П.П. Никитина иных подлогов в его подотчете не обнаружено. На рыбозаводе проводится следствие, все виновные будут привлечены к судебной ответственности».

– Пашу осудили на восемь лет с конфискацией, – вздохнул Петр Яковлевич. – Сын у меня юрист, так Семен просил с ним поговорить, письмо ему отправил через меня с этой заметкой. Сын сказал – сумма не крупная, чтоб на такой большой срок садить, да конфискация еще... Переусердствовали судьи. Решили, наверно, показательную порку устроить. Пусть, мол, другим неповадно будет. А там денег-то всего на подержанный «Москвич»... Может, кто-то Паше машину предложил купить? Он копейки получал, тут не скопишь, да попивать, по правде говоря, стал частенько... Не знаю... Никогда не замечал за ним тяги разбогатеть, и про это... взятку-то, никогда бы на него не подумал. Правильного человека знал. Фронтовика, коммуниста...

– Это неправда... Дядя Паша не мог... не мог!

– Сын посоветовал подать апелляцию. Хорошо, если б срок скостили. Смягчающих обстоятельств достаточно: награды, медали, с работы характеристика неплохая... Ну, пойду я, Изочка, а то на поезд свой не успею. – Старик неловко обнял Изу. – Признал вину, пишут, а я все равно

не верю. Как ты, не верю... Скрывает Паша что-то. Он на помощь безотказный был. Похоже, помочь вздумал ненадежному человеку, а оно вон каким боком обернулось. Прости, Изочка, до свидания...

Она стояла будто громом пораженная. «Взяточник, взяточник», – стучало в висках. Петр Яковлевич пятился в толпу и все не мог повернуться, отвернуться от Изы. Мелко тряслась бородка, глаза мокро блестели сквозь запотевшие очки. Бедный, растерянный козлик.

Глава 2

Молох требует жертв

Вечером Иза вынула из-под кровати чемодан, достала куклу и мамину шкатулку. Усевшись спиной к девчонкам, вгляделась в милую игрушку, смастеренную дядей Пашей из березовых брусочков и берестяных закруток.

Сколько ни рассматривала Аленушку, не уставала ею любоваться. Блекнувшие брови куклы, румянец на округлых щечках и улыбка не раз обновлялись цветными карандашами, и не раз переплеталась жесткая косица из конских волос. А керамические бусинки-глазки на искусно выточенном личике сияли по-прежнему ярко и задорно. Стесняясь вручить Изочке подарок, дядя Паша робко топтался на пороге перед мамой. Он всегда стеснялся своего гренадерского роста в маленькой светелке и смешно горбился. Старался казаться меньше...

Обняв лицо деревянными ладошками куклы, Иза уткнулась в ее сарафан. Аленушкины одежды все еще сохраняли кисло-горький запах детдома.

Прав Петр Яковлевич, дядя Паша мог пойти на преступление только в том случае, если в деньгах позарез нуждался какой-то близкий ему человек. Иза перебрала одного за другим всех знакомых, но память не сумела подсказать ей ни одного настолько близкого, чтобы дядя Паша пожертвовал ради него своей свободой. Извлекла со дна шкатулки снимок, сделанный в фотоателье незадолго до выезда на учебу. Фотограф уговаривал дядю Пашу убрать шляпу, а он не убрал. Так и снялся: шляпа скрывала седоватый ежик с залысинами над побелевшими висками, отчего дяди-Пашин лоб стал внушительнее и выше. Залысины появились недавно и очень его конфузили, а усы не поседели, были такие же темные и пышные, как раньше. Принаряженный в белую рубашку и тщательно отутюженный выходной костюм с чуть залоснившимся воротником, дядя Паша сидел в черном плюшевом кресле, положив большую руку на украшенный фестонами подлокотник. Иза в лучшей кофте и новой юбке стояла рядом. Оба улыбались с вымученной радостью – фотограф усаживал их то так, то сяк, поворачивал их лица неприятно сырыми руками и все был чем-то недоволен...

Неужели... правда? Ведь при проверке ветеринарного подотчета

следствие не нашло правонарушений. Иза снова и снова вглядывалась в смешливо-печальные дяди-Пашины глаза, а они смотрели на нее из-под загнутых полей шляпы с легким прищуром, словно с упреком. Казалось, вот-вот дрогнут ресницы, мешочки под глазами размякнут, разбегутся лучистыми морщинками и дядя Паша улыбнется весело, по-настоящему. Оживет и скажет: «Эх ты! Поверила, что я – взяточник?» Иза и выражение лица представила – смесь тревожного ожидания и нежности. С таким лицом он, приходя с работы, спрашивал о самочувствии мамы: «Мария?..» В один вопрос-имя вмещалась куча других вопросов: хорошо ли мама ела? ставила ли укол медсестра? нет ли температуры? что маме снилось? не грустное ли у нее настроение? можно ли зайти?..

Дядя Паша любил Марию. Он и Изочку любил... любит. В детдоме она всегда чувствовала, что у нее есть надежная защита и никто не посмеет ее обидеть, пока дядя Паша заботится о ней. Ребята знали: здоровенный дяденька-ветеринар с «чапаевскими» усами, который каждое воскресенье приходит осматривать коров и помогает, в чем может, нянечкам и воспитательницам, – приходит на самом деле к Изочке. Он – ее взрослый друг, почти отец. Изочка им гордилась... И что теперь? Бесконечные земли простерлись между Изой и дядей Пашей. Не прижаться к теплой табачной груди с чутко бьющимся сердцем, ничего не узнать, не спросить...

Лежа ночью без сна, Иза продолжала размышлять о дяде Паше и, среди прочего, подумала: после маминой смерти она осталась его самым близким человеком. Все, что бы он ни делал, он делал ради нее. Ради Изочки...

Иза охнула и зажала ладонью рот. Вот почему говорят «как обухом по голове»! Не зарыдать бы, не напугать девчонок... Неясные мысли, догадки, воспоминания в мгновение ока встали на свои места, выстроились немудреной логической цепью, и точно ледяная игла пронзила колени... Донесся прощальный дяди-Пашин голос: «На стипендию, Изочка, не разживешься. Это ж гроши, а Москва – затейница, дразнит, как в праздник. Прости, что долго тянул с маминой записочкой. Вспомнил о ней вчера – ба-а, думаю, совсем черепок замкнуло! Еле нашел. Ты там не нищенствуй, извещай по нужде. Не стесняйся, я всегда сколько-нибудь вышлю...»

Ледяная игла поднялась выше, выше... подобралась к оцепенелому сердцу, кольнула с болью невыносимой, мертвящей... Последние шоры упали с глаз. Какие сбережения могли быть у мамы?! В шкатулку она складывала не пригодившиеся ей облигации и дореформенные рубли! Когда Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества полет по космической орбите Земли, мама покоилась в этой земле уже третий год, а денежная реформа подошла к завершению. Устаревшие банкноты исчезли,

в обращении осталась только медная мелочь. Даже если скопленный запас в «зачеке» сохранился, мамины рублики давно обесценились. Значит, дядя Паша ждал, сумеет ли Бэла Юрьевна выпросить денег для Изы в министерстве, и заранее прикидывал, откуда их взять, если не получится. Не дождался и в напряженных думах, в колебаниях просто-напросто забыл о реформе. Иза тоже не вспомнила... Она и есть тот «ненадежный человек», о котором говорил Петр Яковлевич!

А мама, скорее всего, не оставила вообще никаких денег. Сэкономленные с великим трудом, они ей же на лекарства ушли, на новое белье, халаты, тапочки, чтобы в больнице не видели в ветхом и штопаном. Да и жить надо было на что-то, и давать Изочке изредка на конфеты «Раковая шейка». Мария баловала Изочку напоследок. Единственно выполнимой заменой того, о чем так терпеливо, так страстно мечталось, остались долгие разговоры, если чувствовала себя лучше, беспредельная ласка и любимые дочкины конфеты...

Откуда-то взявшийся ветер похолодил Изе лицо, будто рядом быстрым веером развернулись страницы газеты «Социалистическая Якутия». Дрожащие искры вспыхивали и гасли в кофейной гуще сумерек, как в карих, затененных непроницаемой горечью глазах дяди Паши. Поверх облигаций и фотографий шкатулку тяжело обременял продолговатый кирпичик сильно початой взятки, не туго перетянутый аптечной резинкой... Иза привыкла жить в детдоме на всем готовом и относилась к денежным расчетам небрежно. Подражая бережливой Ларисе, составляла к стипендии списки необходимых вещей, но то и дело брала из пачки. Растрепала, разбазарила на одежду, обувь, на нужное и ненужное меченые преступлением деньги... Москва – затейница... Звон-город... Ах, дядя Паша, славный, хороший, что же ты натворил! «Из-за меня, – плакала Иза сквозь расстояния и дни, безнадежно отдалившие ее от дяди Паши. – Из-за меня!...»

Ответ Натальи Фридриховны на сумбурное, полное вины и покаяния Изино письмо был пространным и пришел неожиданно быстро.

«Все знали Павла Пудовича как исключительно честного человека, – писала соседка, и в ровной твердости почерка Изе чудился ее суховатый, с жесткими нотками, голос. – Многие до сих пор уверены, что кто-то его подставил и никакой взятки на самом деле не было. Конфискация приехала – нечего забирать. Тем не менее, раз уж по суду велено, забрали миски-ложки и даже деревянные поделки прихватили. Мы с Семеном и Матронею Алексеевной ездили к Павлу Пудовичу в СИЗО, пытались разговорить. Без толку, отмолчался. Единственное, о чем попросил, так это чтобы тебе о

позоре его не писали. Мы и не писали, а Петра Яковлевича не подумали предупредить, не ожидали, что есть вероятность встретиться вам в Москве. В глубине души я догадывалась, кому эти деньги предназначались, да все не верила. Сейчас очень жалею, что ни я, ни Матрена Алексеевна не выспросили хорошенько тебя ни о чем и сами не сообразили денег собрать. Не такую большую сумму, конечно, но прилично собрали бы. Лишний раз убедилась я в своей толстокожести. Павел Пудович гордый был, ни за что б в нужде не признался. В одиночку решил помочь, да вот как нелепо вышло...

Изочка, я должна перед тобой повиниться. Когда Марии Романовны не стало, мы советовались, как с тобой быть. Вначале Павел Пудович хлопотал, но ему удочерить тебя не позволили, а нашему с Семеном предложению он воспротивился. Ожидал весточки от литовских друзей твоей мамы. Она вроде просила послать тебя в Литву. Потом Павел Пудович согласился, чтобы мы тебя взяли, да у нас жизнь не по-хорошему закрутилась, то я болела, то у Семена началась катавасия на работе с начальством, и Павел Пудович осерчал. Сказал, как отрезал: «Пусть девочка в детдоме останется, сам заботиться буду». Упустили мы с Семеном время и больше к тому разговору не возвращались.

Знать бы, да соломку подстелить! Бедный наш Павел Пудович любил побалагурить. Не очень-то мне нравилась его слабость к пословицам-поговоркам, а ведь все они от людских ошибок придуманы. Павел Пудович потому и оступился, что мы вовремя ничего не сделали. Не настояли на твоём удочерении, нечасто навещали в детдоме. Не справились, хватает ли у тебя денег в Москву ехать, есть ли, на что жить. Сейчас другие слова норвят пристать к душе для оправдания нашего общего горя: не смогли, не сумели, забыли; да не хочу я оправдываться. Мы, взрослые люди, виноваты во всем, Изочка. Мы, а не ты, и не смей себя винить.

Всю оставшуюся жизнь я буду благодарна твоей маме. Мария Романовна привела меня к Всевышнему. Я пришла к Нему ногами, а душой – позже. Но пришла и дальше иду, и на душу мою источенную снисходит успокоение. Жаль, что Господь, успокаивая и усмиряя чад своих, не спасает нас от ошибок...

Павел Пудович хотел, чтобы ты жила и училась безбедно. У него, Изочка (вряд ли ты знала), сердце было больное. Он, видать, предчувствовал, что времени ему совсем мало осталось. Торопился сильно и потому, от спешки и отчаяния, взял на себя большой грех. Думал, наверное, вот помру, и не станут о взятке в газетах трубить. С покойника взятки гладки, если вообще раскроют, зато девочка будет в неведении,

сыта и одета... А ты собралась весь белый свет известить о своей «причастности» к преступлению, о том, что деньги находятся у тебя, и часть их ты успела потратить.

Мария воспитала тебя хорошим человеком. Я понимаю, почему ты хочешь отправить остатки нечистых денег в Якутск и спрашиваешь, куда их отправить. Но ты совсем еще юная девушка и не знаешь коварства режима. Система наша состоит из разных органов, и есть такие, что спрятаны, как шило в мешке. Не угадаешь, когда им заблагорассудится высунуться и вонзиться в человека. Советская власть никогда не была людской. Добро, если изменится в лучшую сторону для вас, молодых, пока же, по всей видимости, она по-прежнему двуличная. Власть, Изочка, Молох и всегда требует жертв. Прости, напомним больное: именно этот Молох отнял у тебя родителей. И мою душу, по молодости не столь грешную, власть поповеркала так страшно, как не дай Бог никому. Позволь предостеречь с высоты моих лет и жизненного опыта: едва ты секрет раскроешь, не только учебе твоей может прийти полный крах, но и тебе. Система непредсказуема и способна обвинить тебя в преступном сговоре с Павлом Пудовичем. Обвинить – и привлечь. Поэтому очень прошу: пусть об этом мы будем знать втроем – ты, я и Господь. А больше никто и никогда. И письмо мое сразу уничтожь, когда прочитаешь.

Знаю, как тяжело рукам твоим стало даже прикасаться к преступным деньгам. Мы с Семеном договорились посылать тебе в помощь помаленьку каждый месяц, и ты нас отказом, пожалуйста, не огорчай. Ты нам не чужая, и хочется верить, наша вина перед прекрасными людьми, добрыми соседями и верными друзьями, какими были Мария Романовна и Павел Пудович, хоть немного облегчится. А с теми остатками вот что сделай: в церковь их снеси. Там деньги не пропадут и на благое дело направятся. Думаю, ты неверующая, но все же свечку поставь за упокой души Павла Пудовича. Решили телеграммой не извещать, испугались: вдруг надумаешь приехать, с учебой начнутся неприятности...

21 ноября дорогой наш Павел Пудович скончался в тюрьме от инфаркта».

Глава 3

За прощением

Иза выпала из учебы и живого движения, а может, из самой жизни. Лежала, почти не шевелясь, лицом к стене. Вначале плакала, потом в ушах начало звенеть, и ресницы, сомкнутые обморочной дремой, перестали разлепляться. Слезы из глаз потекли внутрь, к сердцу, а в какое-то неуловимое время кончились и они. Вокруг, независимо от часов дня и ночи, стоял туман – холодная, с сумрачно-ватными наплывами, территория небытия. Внизу с безграничной тоской катилось что-то уныло монотонное – похоже, слепая река, без волн, шума, блеска и, кажется, без дна. Иногда, как сквозь папиросную бумагу, проскальзывала остроносая лодочная тень. Кто-то перевозил кого-то на неведомый берег. Силуэты и формы терялись в белесой зыби. Эта зыбь отбивала всякую охоту думать и двигаться, но издали донеслись голоса, и половицы заскрипели под чьими-то шагами. Извне с раздражительным шумом вынырнули Ксюша и Лариса, принялись беспокойно спрашивать о чем-то. Иза не хотела ничего слышать, люди казались ей бредом, туман же представлялся настоящим. Он затянул все реальное пространство, и никому снаружи в него не было входа. Так она полагала, а Ксюша затеребила, потрясла за плечи, и наклоненная ее голова прободала топкую муть. Иза вымучила из себя несколько слов: да, получила плохое сообщение, умер тот самый дядя Паша, о котором она рассказывала.

Лариса предложила вызвать врача. Не надо, не надо, к чему... У Изы не болели ни горло, ни живот, ни колени, помороженные в младенчестве. Болела и мерзла душа. От холода в душе врачи не лечат. Никто не лечит от смерти, пусть даже это не своя смерть, а близкого человека. Только бегущее вперед время – жестокое, милосердное – способно притупить боль.

Понятливая Ксюша сообразила, что невмешательство порой лучше сочувствия, и девчонки отвязались. Правда, ненадолго. Оставить Изу в полном покое, а значит, обречь на голодание, Ксюша все-таки не могла и несколько раз всплывала в течение дня – большая, словно подводная лодка.

На улице снегопад, фиксировала часть здравомыслящего Изинога рассудка. Ветер... обед... ужин... метель... завтрак... опять обед... С нудной назойливостью тикал Ларисин будильник. Сильная, как

воплощение жизни, Ксюша кормила с ложечки морковным салатом, молочным супом и заставляла пить кефир.

То ли вспоминались, то ли во сне слышались слова дяди Паши, сказанные им, когда с семьей Майис случилось несчастье: «Хоть я и коммунист и должен быть материалистом, а не хочется верить, будто ничего, кроме праха, от нас не сохраняется. Царь да народ – все в прах пойдет, все равны... Неужто только для удобрения на Земле живем? Несправедливо это и неправильно. Чувства, мысли, радость, горе – куда они деваются? Но и в рай с адом тоже не верю. Бог, святые, черти с рогами... Нет, не верю. Все как-то непонятно, и сколько бы живой человек ни видел чужих смертей, никогда ему к этому не привыкнуть».

Подбитой птицей колыхалась Иза между явью и сном – одна. Одна, не считая смерти. Эта черная дама с косой ходила рядом с детства, но привычной не стала. Даже с маминой смертью Изе не было так тяжело. Наверное, потому что тогда она знала, видела по налитому почечной бледностью лицу мамы, по слабым движениям ее бескровных пальцев, что она скоро... умрет. Боялась знать, но знала. А здесь смерть пришла резко, не предупредив ни видом, ни наитием, – исподтишка. Волнами память колыха, начала упрекать... винить...

Однажды туман заволновался, стронулся, и онемелое, зависшее в нем тело Изы медленно закружилось. Из тусклой хмари показалось светлое пятно. Оно приближалось, приближалось и превратилось в ясное, точно в озерном отражении, лицо матушки Майис. Лицо было грустным, но в ямочках губ слабо порхала улыбка. Майис сказала: «Огокком, ты забыла: я – есть. Ты не одна, моя птичка. Я жду».

Не внешний шум, а этот короткий счастливый сон разбудил Изу. Майис всегда умела исцелять Изочкины ушибы и раны. Глаза зажмурились от огромности света, успев сохранить под заалевшими веками лучистый прямоугольник окна с качающейся кленовой веткой. Иза вернулась в солнечный мир, возвращенный матушкой Майис.

В окне сияло блаженное воскресное утро. Облитые его масляным светом вещи твердым сверканием углов и граней теснили тающую мглу. Девчонки ходили на цыпочках и разговаривали шепотом. Тело привыкло лежать и просыпалось дольше Изы. Но жизнь, пульсирующая в каждой примете обыденности, пробежала по телу щекотным касанием, колкими мурашками, и ответно затрепетала в нем. Иза принудила себя сесть на кровати. Ксюша ойкнула и ничего не смогла сказать от радости все время, пока помогала стелить постель и готовила завтрак. Печенье почудилось Изе необыкновенно вкусным, а сладкий чай, прокатываясь по телу

горячими приливами, выгнал из него остатки вязкого холода. Предвкушая дыхание свежего утреннего мороза, она оделась.

Ксюша мгновенно выросла перед нею, загородила дверь:

– Ты куда? Я с тобой!

– Нет.

Глянув в воскресшие глаза подруги, Ксюша отступила.

– Только недолго.

– Недолго, – откликнулась Иза успокаивающим эхом.

По краям сквозной аллеи пушисто голубели маленькие сонные сугробы. Снег взбитыми сливками провис с березовых ветвей, прорисованных снизу углем прямо в воздухе. Под ногами сухо шуршал сотканный метелью ковер из последних сдернутых листьев со снегом вперемешку. Окна взблескивали в лучах изморозью, но солнце, не осилив безучастия неба, вдруг скрылось за облаком, и яркие рассветные краски подернулись пепельными оттенками. Налетевший ветер, предвестник нового снегопада, принялся срывать сливочную кисею с веток, афиши с заборов, опрокинул у подъезда жестяную урну и с хулиганским дребезгом покатил по дороге. Иза соскучилась по движению и решила пройти по парку пешком. Пассажиров в метро было на удивление мало. Погода не располагала к прогулке, но по-прежнему хотелось побыть одной. Тонкая вьюга задувала заметь в полы пальто, колени откликались дрожью, а телу было жарко.

В лесу снег слежался крепче, плотно засыпал оползни, овраги и не давал ветру разгуляться. В просветах ветвей проглядывали осколки обожженной морозом небесной гжели. Над кронами лазурно мелькал, приближаясь, церковный купол, хорошо видимый еще с Лужников. Иза остановилась передохнуть у высокой сосны, и тут послышался колокольный звон, тотчас приглушенный обвальным снегопадом. Летучая белая кисть покрасила лес, горы, весь зримый мир. Если сесть под сосной, быстро превратишься в Снегурочку. Иза улыбнулась – вернее, в снежную бабу – и, нащупывая ногами тропу, вытянув руки, незряче начала восходить к благовесту, смягченному шорохом густых тихих хлопьев.

У церкви снег поредел, замедлился, словно почтительно освободил место гудящим звукам. Игlistый воздух, полный деликатных шелестов, скрипов и чьих-то благостных мыслей, обрадовался – зазвенел. Колокол грянул в полный голос, с тугим ритмичным гулом и нежными отголосками. Просторная музыка, независимая от музыкальных мерок, созывала людей на богомолье вопреки усилившимся в газетах нападкам на попов-дармоедов, и прихожане шли, и их было много. В нише над входом в храм

Троицы Живоначальной засветилась икона. Чуть выше Сын Божий смотрел на входящих, подняв в благословении руку.

Иза осмелилась подойти, когда дорожка опустела, и выяснилось, что забыла, как креститься – слева направо или наоборот? Да и некрещеная, к чему эта фальшь... Молилась когда-то вместе с мамой. Просила простить детские свои прегрешения, позже – чтобы Майис нашлась, а пуще всего умоляла о жизни мамы. Он не дал... Иза в растерянности застыла сбоку кирпичной ограды, обнесенной поверху металлической решеткой. Звон смолкшей музыки все еще перехватывал горло непонятным благоговением.

Немолодая пара привезла большую девочку на салазках с откидной спинкой, мужчина подхватил на руки привычную ношу. Красивое чернобровое лицо девочки, обрамленное рюшами вязаной шапки, смотрело на Изу зеркально-блестящими бессмысленными глазами. Мать ступала за мужем и дочерью, не отрывая от нее любящего взгляда. Люди пришли за спасением к Богу.

Отдохнувший ветер бросил в лицо горсть мелкой крупки, одежду припудрила снежная пыль... Иза продрогла. Майис говорила, что в декабре у мифического Быка Мороза вырастает второй рог. Чем он длиннее, тем мороз на земле шибче... Не могла Иза заставить себя зайти в Божий храм. Она явилась сюда с сомневающейся душой, отягощенной язычеством и преступными деньгами.

...Но ведь пришла? С покаянием пришла... за прощением...

Старушка в клетчатом полушалке ласково тронула за руку:

– В первый раз?

Иза кивнула.

– Опоздали мы с тобой, поспешим-ка, девонька. На, возьми мой верхний плат. – Старушка сняла низко повязанный полушалок, под которым пряталась голубенькая косынка.

– Спасибо, не нужно, – смутилась Иза, – я не... мне бы только свечку поставить.

Накинув на ходу полушалок, старушка поклонилась перед дверью.

– Бабушка, подождите!

Старушка нетерпеливо развернулась сухоньким телом, сердцем и помыслами уже находясь в дымно-пчелиных запахах ладана и горячего воска, в окружении золотистых образов, смугло озаренных огнями свечей.

– Пожалуйста... возьмите для церкви! Вы – верующий человек, из ваших рук лучше... правильнее.

Иза совестилась перекладывать важную ответственность на незнакомого человека, но преодоление этого стыда было куда менее

тягостным, чем стыд безверия, а тем более – осязание шелестящих рублей.

Пачка денег, перехваченная аптечной резинкой, перекочевала из озябшей руки в теплую старческую.

– Для церкви? Так много?

– Очень вас прошу... Я не могу, а вы – можете.

Улыбка вызвала на пергаментном лице старушки веселое столпотворение морщин.

– Что могу-то? Ты, девонька, объясни толком.

– Отдайте деньги священнику, – выдохнула Иза. – Пусть он направит их на благое дело. И свечи бы поставить...

– А сама что?

– Я... я некрещеная. Господь не услышит... Поставьте свечи вместо меня, пожалуйста... За упокой дяди Паши... то есть Павла, Марии, Хаима и Степана. И панихиду, если можно, закажите по усопшим.

По морщинам старушки пробежала мелкая рябь сочувствия.

– Значит, Павел, Мария, Хаим и Степан.

– Да. За них... Бабушка, а если человек пропал без вести, то куда свечу... за упокой?

– За здоровье, – не очень уверенно сказала старушка.

– Тогда еще за здоровье Майис.

– Тебя-то саму как зовут?

– Изольда.

Мраморное облако тяжело навалилось на выглянувший было матовый, с розовым краем, диск, и снег засеял снова. Девушка скрылась за поворотом ограды, а старушка продолжала стоять у двери. Закрыв глаза, чтобы лучше сосредоточиться, заучивала имена. Половина из них была нездешней, нерусской. Старушка произносила вслух каждое и с трудом загибала шишковатые пальцы:

– Павел, Мария, Хаим, Степан – за упокой. Маис и Из... Из... Изснега?

Окликать было поздно, бежать – не догонишь. Старушка осенила заснеженный воздух крестом:

– Спаси и сохрани! – и утвердилась: – Изснега.

Отчетливее выговорила имена тех, за кого хлопотала незнакомая девушка, чтобы лучше запомнить, прочувствовать, зажигая свечу. Вдумалась в чудное зимнее имя. В отцветающей памяти мелькала то ли песнь грустная, то ли сказка.

– Изснега... Наше имя, русское. Видать, старинное.

Глава 4

Pleno de vida

Бесконечный поезд времени подтягивался к Новому году. Жить человеку надо сегодняшним днем и будущим, не только памятью, но иногда прошлое сильнее. А все же рана дяди-Пашиной смерти понемногу зарастала. Одна неделя, вторая – внахлест, – так над оголенными нервами схватывается стянутая кожица. Привыкая жить без дяди Паши, как раньше без мамы, Иза углубилась в учебу.

Московская зима заигрывала то с морозом, то с почти весенним теплом. Утром деревья стояли в белых нарядах, словно очередь невест в загс. Днем хрусткий морозец оттаивал, воздух наливался светлыню, и ноги хлебали слякоть. Девчонки спешили на политэкономию. Ксюша заранее зевала и побаивалась, что уснет на лекции так крепко – пушкой не разбудить. Профессор по политэкономии имел привычку строить речь в стиле «вопрос-ответ». Такая волнообразная манера чтения действовала на аудиторию усыпляюще, и студенты в самом деле спали на его лекциях, многие даже честно закрыв глаза.

– Зачем капиталист выходит на рынок? – спрашивал он, озабоченно хмуря брови, и сам же охотно отвечал: – Затем, чтобы обменять деньги на товар и чтобы этот товар снова обменять на деньги. Цель обмена, следовательно, заключается не в удовлетворении потребностей, а в обороте денег.

Ксюша держала лицо в ладонях, опасаясь стукнуться подбородком о стол, и часто-часто моргала, чем очень сместила Изу. Между парами Андрей веселил всех, изображая профессора:

– Что такое капитализм? Капитализм – это свобода богатых грабить бедных. А что такое революция? Революция – это свобода бедных грабить богатых...

Андрей дремал талантливо, в позе «Мыслителя» Родена, опустив голову и подперев кулаком застывшее в прилежной думе лицо. Уверял, что его уши при этом улавливают все звуки вплоть до мушиного жужжания, профессорский же голос доносится вроде скороговорки. Наверное, время Андрея во сне убыстрялось, как пластинка со скоростью вращения семьдесят восемь оборотов в минуту. А занятое мыслями время Изы двигалось черепашьими шажками. Спыхватываясь, она лихорадочно

записывала «колыбельную» профессора до тех пор, пока какое-нибудь слово не наводило ее на новое размышление.

– В чем же заинтересованы капиталисты? Капиталисты заинтересованы в сохранении эксплуатации рабочего класса...

Суть лекции еле проступала сквозь околоплодные воды вопросов. Оттолкнувшись от «рабочего класса», Иза подумала, что по сравнению с рабочими специальностями профессия культработника ценится гораздо меньше. Он ничего не изобретает, не производит необходимых для благосостояния вещей. Руки ему в работе не нужны. Разве что для составления отчетов. Из-за этого растёт мозоль на седалищном месте и складывается общая картина возрастающего количества народных университетов, секций и кружков художественной самодеятельности. Их в этом году (радостно сообщил вчера преподаватель по истории культпросветработы) двести тридцать пять тысяч, а участвуют в них около трех миллионов человек. Главный инструмент культработника – голос. Речи многоохватные. Набатным голосом культработник призывает народ и каждую личность к деятельному отдыху.

В будущем вязко колыхалось что-то неопределенное, аморфное и сырое. Туман... Иза сомневалась в способностях своего голоса возбуждать в людях неистовое желание мчаться в секции и кружки после дня трудового героизма. Голос у нее громкий и крепкий, но какой-то неподходящий для высоких речей. С другими, не трибунными интонациями.

– Цели и интересы обоих классов диаметрально противоположны. Буржуазные экономисты... объективные закономерности... развитие общества.

...Общество. На обсуждении пьес девятнадцатого века преподаватель по истории русской литературы говорил, что общество в то время шевелилось кое-как. Теперь жизнь движется в темпе семидесяти восьми оборотов в минуту. Людям в этой жизни все понятно, все четко распределено и преобладает твердый оптимизм. А Изе нравилось представлять себя на балу времен «Войны и мира», в пышном платье, с обнаженными припудренными плечами и жемчужным ожерельем на шее. Она представляла и стыдилась. Буржуйские мысли о балах, мазурках и кринолинах следовало уничтожить, набравшись за время учебы бойцовских качеств, чтобы потом трудиться до полного изнеможения. Наверное, в Изе бродили капиталистические гены деда Ицхака... Отец Изы хотел, чтобы все люди на Земле жили богато и счастливо. Значит, в коммунизме? Папа мечтал о равновесии в мире, а умер в ссылке, и мама

тоже. За что, почему? Когда Иза пыталась разобраться в вопросах, мучающих ее с детства, она совсем запутывалась.

Приближался, кстати, новогодний бал. То есть праздничный комсомольский вечер.

Старшекурсники пообещали провести игру КВН. Ринувшись с экранов телевизоров на сцены Домов культуры, КВН-движение приняло досуговую форму работы. Андрей предложил пригласить джазовый ансамбль для танцев. В институте был свой духовой оркестр, и в партбюро повозражали для порядка. Потом решили, что большого вреда не будет. Газеты давно не писали о разлагающем влиянии джаза на молодежь, и свежие инструкции еще не поступили. Никто пока не знал, порицает ли новое правительство это направление заокеанской музыки и как к ней относится, в частности, первый секретарь партии Леонид Ильич Брежнев, сменивший на посту Никиту Сергеевича. После того как страна с большой помпой отметила семидесятилетний юбилей Хрущева, ТАСС неожиданно заявил об уходе его на почетную пенсию.

Девушки задолго готовились к празднику, а на представление опоздали. Кто-то надоумил Ларису намочить накрученные на папильотки волосы сладким чаем, так кудри якобы дольше держатся. Лариса привыкла все делать с перевыполнением и полила голову сиропом, в результате чего бумажки прилипли к волосам намертво. Оживлять прическу пришлось вместе, и прибежали только к окончанию, когда веселых и находчивых хвалил декан. Они, по его словам, с блеском разоблачили гадально-колядную рождественскую мистику, возмутительную с точки зрения современности и атеизма. Декан выразил надежду, что с помощью выпускников института языческие и религиозные пережитки в скором времени отойдут в прошлое. Потом был объявлен небольшой перерыв для подготовки к маскараду и танцам под живую музыку.

Середину праздничного зала занимала елка, увешанная гирляндами и разноцветными конвертиками новогодних пожеланий. На маленькую угловую сцену с приготовленным пианино вышел Юрий с акустической гитарой, вслед за ним – молодые люди физкультурного сложения в Ларисином «геологическом» вкусе: тромбон, кларнет, клавишник и ударные. Блюзовые темы ненавязчиво сменялись вариациями танго, за вальсами взрывался фейерверк быстрой танцевальной музыки. Андрей без всякого стеснения сообщил девчонкам, что музыканты исполняют репертуар, обкатанный на ресторанных заказах. Не «чистый» джаз, а композиции, состоящие из фрагментов разных мелодий попеременно с джазовыми. Публика быстро распалилась и с упоением отплясывала под

это попури.

Зеркало в гардеробной необычайно польстило Изе. Юбку «татьянку» она сшила сама и накрахмалила для пышности. Лариса одолжила красивый пояс. Туфли цвета беж летали по залу с Золушкиной легкостью и задором, парни приглашали Изу наперебой. Она старалась не вспоминать выпускной вечер и бережные, сильные руки Гришки. Немножко жалела, что не сохранила его записку с признанием в любви.

Андрей оттанцевал с Ниночкой Песковской вальс-бостон и, гордый успехом Юриного ансамбля, похвастал, что музыка понравилась «кафедре».

– Ксюша где? – хватилась Иза. Поискала поверх голов, не нашла и усовестилась. Они тут скачут-прыгают, а одинокая Ксюша ушла! Перед вечером жаловалась, что ее чулочные резинки ослабли. Потому, верно, и не танцевала, боясь, как бы не спустились новые шелковые чулки.

– Да вон же ваша подружка, у окна стоит, – показал Андрей.

Толпа притерла Ксюшу к стене между сценой и окном в бумажных снежинках. Корона свернутых над головой кос – предмет Ларисино горестного восхищения – золотилась в мельтешащей глубине лиц и масок.

Продираясь сквозь плясовой вихрь к Ксюше, Иза ощутила затылком холодок чьего-то прицельного взгляда. Обернулась, и ее синие глаза схлестнулись с дымно-льдыстыми. Человек в темно-зеленой шляпе с плюмажем с откровенной неприязнью смотрел на Изу через прорези широких карнавальных очков. Из-под велюровых полей шляпы белели треугольники коротких баков, очки прятали почти половину бледного лица. Мужчина, вероятно, полагал, что они скрывают и выражение его глаз.

Секретарь парторганизации института Борис Владимирович Блохин преподавал у старшекурсников историю советского права. Это он летом в приемной комиссии задал Изе неприятный вопрос о родителях. Голос у парторга был тусклый, губы извивались, как два дождевых червяка...

– Добрый вечер, – растерянно поприветствовала Иза.

– Добрый, добрый, – усмехнулся Борис Владимирович, поигрывая рукоятью спортивной рапиры (с тем же успехом, без голосовых модуляций, он мог бы сказать «злой, злой»). Щеки раздвинулись в светской улыбке. – Чудесная мелодия, не правда ли? Если не ошибаюсь, мотивы «Чу-чи». Слышали «Поезд на Чаттанугу»? Музыка из старого трофейного фильма «Серенада солнечной долины». Да-а, в свое время оркестр Гленна Миллера гремел по всему миру...

Странно настораживающим показалось Изе благодушие парторга. И к

чему вдруг этот школьный мушкетерский маскарад? Борис Владимирович боролся с любой разновидностью антисоветчины, поэтому удивила и его джазовая осведомленность. Блохин, должно быть, хорошо изучал потенциальных неприятелей, чтобы победить наверняка... Но какого врага он нашел в обычной студентке Изе Готлиб?

«Мушкетер» изящным жестом приподнял шляпу, отдавая дань любезности застывшей возле него девушке. Позволил удалиться, что она и сделала с той прытью, какую сочла приличной, торопясь скрыться в толпе. Спину жгла двустволка целенаправленной стужи.

«Мал Блошка, да кусает больно», – недаром ходила о нем такая поговорка. Гуляли слухи, будто ректор не вправе был решать крупные вопросы без согласования с Борисом Владимировичем. Подпись Блохина стояла на всех важных институтских документах. За моральным обликом преподавателей и студентов он следил с ревностью отдельно взятого товарищеского суда. Особому его контролю подвергался факультет культпросветработы. Партийное руководство по любому поводу вмешивалось в воспитание будущих пропагандистов... Над тем, почему взгляд парторга померещился Изе командой «Пли!», еще предстояло поразмышлять, но настроение было испорчено. Она пробралась к Ксюше.

– Сейчас что-то интересное будет, – сказала Ксюша и, точно по ее заказу, начался знакомый проигрыш.

– Куба – любовь моя! Остров зари багровой! – бурно возликовал зал, хлопая в ладоши в унисон маршевому ритму. – Песня летит, над планетой звеня: Куба – любовь моя!

В шуме аплодисментов, топота и свиста на сцену вошел еще один музыкант. Юрий провозгласил имя саксофониста, чей выход приберег напоследок:

– Патрик Кэрлайн, Гавана – Куба!

Народ с новой силой зарукоплескал Патрику, Острову свободы, команданте Фиделю Кастро и революционеру Че. Все недавно переживали из-за Карибского кризиса, который чуть не спровоцировал войну.

Кто-то в зале выкрикнул девиз кубинских коммунистов: «Родина или смерть!» Если до того в уме у некоторых, возможно, вертелась небезызвестная фраза: «Сегодня он играет джаз, а завтра Родину продаст», на этом интернациональном фоне она стала неуместной и даже предосудительной. В Советском Союзе, как поется в «Песне о Родине» Лебедева-Кумача, нет «ни черных, ни цветных». И для «белых» нет ничего отдельного – ни улиц, ни вузов, ни сцен. Здесь всё – для всех. Представитель афроамериканской музыки был волен играть джаз с полным

правом.

Гость поклонился залу. В полутьме качнулся сахарный полумесяц и растаял, как улыбка Чеширского кота. Губы сжали мундштук, инструмент вздохнул и задышал музыкой. Вначале Патрик перебирал мелодии медленных песен. Томное их звучание окутывало зал бархатистым теплом без намека на саксофонную резкость. А чуть погодя, как табачный дым из огромной курительной трубки, выдулись густые и терпкие кольца, трели и джазовый смех...

Негры в Москве встречались часто. Они казались Изе неразличимыми, у всех были черные либо кофейного цвета лица, глаза чуть навывкате и рекламные зубы. Но в Патрике Иза сразу признала первого темнокожего человека, которого увидела в поезде метро. Он был каштановый, «каурый» – симпатичной лошадиной масти.

– Ты его помнишь? – дернула она подругу за рукав кофточки.

– Импровизирует, – благоговейно кивнула оглохшая Ксюша, не слыша ничего, кроме музыки. Ксюшу заморозили пряные, дымные, хохочущие звуки саксофона и несуетливые движения пальцев по клапанам – пальцев, словно одетых в коричневые лайковые перчатки. В широком поле Ксюшиного музыкального слуха джаз торил новый путь. В очарованном лице легко читалось, что этот путь рисуется ей усыпанным экзотическими цветами. Изе стало неловко за себя. Остро-перечные рулады джаза жгли и резали ее слух огнем расторможенных звуков. Энергия не уловленного Изой ритма искрами вспыхивала в глазах Патрика и на металлических изгибах инструмента.

– Слышишь, о чем я говорю? Если бы он не спас тебя в метро, ты бы упала на рельсы!

– Я? Чего?

– На рельсы бы упала, как Анна Каренина!

– Кто? Какая... Анна?

– Да не Анна, а ты! Этот Патрик успел затащить тебя в вагон.

– А-а, – обронила Ксюша равнодушно.

Из бушующей толпы, своим шумом мешающей Изе вникнуть в негритянскую музыку, вынырнула снежно-белая рубашка Андрея.

– Как тебе соло?

– Нормально.

– Ты пока не понимаешь, – снисходительно сказал Андрей. – Ксюша-то, смотри, поняла и теперь согласится петь джаз. Спорим?

– Сама вижу – согласится. Почему ваш саксофонист – негр?

Андрей взглянул непонимающе:

– Почему он не должен быть негром?

– Юрий говорил, что Патрик – ирландец, хотя живет на Кубе. Но он походит на ирландского скальда так же, как его музыка – на саги.

– Много ты слышала саг и видела скальдов?

– Нет, но...

– Саги импровизировались, как джаз. Иногда на ходу – после боев, например. Руны появились позже, и не все скальды их знали.

– А Патрик тут при чем?

– Ирландцем был его прапрадед, корабельный плотник и певец. Он оставил детям песни, долги и любовь к Ирландии. Там он сражался за свободу, бежал и оказался в Латинской Америке. На родине его ждали англичане и виселица. Патрик пел нам одну из его морских «саг». Она на испанском языке, называется *Pleno de vida*.

– Что это значит?

– Наполненный жизнью. Песня о парусе и о том, что жизнь прекрасна.

– Роман какой-то, – усомнилась Иза. В детстве Гришка все уши прожужжал ей о морских романах Фенимора Купера.

Гусев обиделся за чужого предка:

– Никакой писатель не нафантазирует того, что накручивает судьба! Другого прапрадеда Патрика плантаторы завезли на Кубу из Гаити, а отец, между прочим, воевал против диктатора Батисты. В прошлом году, когда Фиделю дали Героя Советского Союза, он приезжал с группой...

Андрей продолжал говорить, но Иза отвлеклась. Саксофон и Патрик пели, слившись, как сиамские близнецы. На обоих играли блики гирлянд, оба всем своим видом и звуком заявляли, что джаз *pleno de vida*, и сами они *pleno de vida*, и молодость, и Москва. Этот дуэт совершенно околдовал Ксюшу. Иза с изумлением заметила, что в Ксюшиных глазах сверкают крохотные фонарики, хотя сцена не освещена. Значит, свет шел изнутри. Наверное, независимо от того, живут девушки с горячим сердцем в Советском Союзе или на Кубе, зовутся Ксюшами или Гуантамерами, их манят вдаль дороги в прекрасных цветах. Девушки с фонариками в глазах готовы переступить через пороги, рубежи, границы и пойти по цветастым дорогам навстречу неизвестности, несмотря ни на что... Включая слабые чулочные резинки и опасность падения чулок. «А малая, помнится, стану на городьбу, крынки раздвину и вдаль на горы смотрю. Тянуло куда-то, как тятю к австралам»...

Ксюша была такая красивая, что в горле у Изы застряло дыхание. Золотая корона из кос сияла высоко, как звезда на елке, и, как елочная гирлянда, матовым лаком блестела на Ксюшиной шее низка деревянных

бус. Они были крупные, крашенные под бирюзу, немного дикарские и очень шли Ксюше.

Патрик с саксофоном разъялись – кончился их маленький концерт, и кто-то врубил электричество над сценой. Зал взорвался овациями, адресованными уже лично Патрику. Он жизнерадостно заулыбался, кланяясь, скользнул взглядом по залу, толпе, елке, по окну в бумажных снежинках, кивнул Андрею... и уставился на Ксюшу. С восторгом. Изу он вообще не заметил. Патрик узнал в Ксюше девушку, которую летом в последнюю секунду вытянул с платформы в вагон, и, конечно, вспомнил, как она кричала в его нечаянных объятиях. Судя по музыке, ему нравилось все кричащее и наполненное жизнью. Глаза Ксюши тоже вспыхнули узнаванием – она только что признала в нем того самого негра, от которого бежала, тараня вагонную толпу туго набитым рюкзаком. Пылкие взгляды мерцали и плавилась прямо над Изой, чуть выше затылка. Иза очутилась под током высокого напряжения. Наэлектризованная челка искрилась и липла ко лбу, волосы на руках приподнимались и сухо потрескивали. Всполохами возгоралась над головой огненная смесь генов непокорных ирландцев, гаитянских рабов и упрямых семейских раскольников.

Любовь с первого взгляда. Так называется это чудо? Не с самого, вообще-то, первого, первый был в поезде, но померк на фоне сегодняшнего огня. Иза ощущала себя проводником какого-то интернационального опыления и одновременно – громоотводом, потому что ни Андрей, ни подошедшая Лариса не видели чуда. Не видел и занятый собой зал. Зрение Патрика и Ксюши тоже поразил временный дефект – распахнутые душами друг в друга, они только друг друга и видели. Изу слегка колотило в их магнитном поле, но держалась стойко. Отводила посторонние молнии, пока наверху выплеталась новая дорожка Ксюшиной судьбы. Иза понимала, как важно влюбленным знать, что жизнь на самом деле прекрасна. Для них двоих... И тут опаленной зноем щеки коснулось дуновение сквозняка. Макушка тотчас завибрировала от перегрузки разнотемпературных взглядов и загудела. В энергетическое перекрестье вторглась чужая линия, будто дверь открылась с мороза. Защитницу настиг колючий снежок, посланный льдистыми глазами. Иза в панике метнулась за спину Андрея.

– Что с тобой? – Он приобнял за плечи. – Замерзла, что ли? Дрожишь вся.

– Из окна дует, – сказала Лариса.

– Андрей, проводи меня домой, – попросила Иза.

– Да скоро уже все пойдем.

Холодные глаза скрылись в толпе.

Глава 5

Конь бледный

...Простодушная, но по-своему тщеславная маманька Варвара Ниловна дала безотцовщине имя красавца-актера, игравшего в театре провинциального городка роли злодеев и роковых любовников. Кормила-одевала сына, как могла со своих почтарских, огородных да случайных денег от редкой блудной любви. Жалела и не любила.

Борис Владимирович родился с белыми волосенками и с белой сморщенной кожей. «У всех новорожденных кожа такая, – сказали Варваре Ниловне, разогорченной ошибкой в отцовстве и невозможностью содрать теперь мзду с черноволосого соседа, – после щечки разгладятся, и волосы потемнеют».

Варвара Ниловна ждала-ждала, когда сын начнет выглядеть, как обыкновенный ребенок, чтобы нарядить его в красивую матроску и выйти с ним гулять в парк на люди, и не дождалась. Кожа у сына осталась сморщенной и белой, цвет волос тоже не поменялся, словно он постарел у маманьки в животе и, седой, морщинистый, доживал остаток времени в тесном дворе, занятом огородом по самое крыльцо.

Мальчишки дразнили Бориса Владимировича «стариком», взрослые – «белой мышкой», те и другие смеялись. Маманька называла «ростком». Росток мой белесенький... Как-то раз по весне послала в подвал за картошкой. Ростки, велела, обломай.

В подвале было сыро, темно, спутанная картофельная прорость, изголодавшаяся по свету и повернутая к двери, протянула к Борису Владимировичу полупрозрачные могильные пальцы. Он дергал эти пальцы, срывал во мраке, бросал на земляной пол. Картошку складывал отдельно в ведро. А как наполнилось ведро, сел на край и заплакал. Потом собрал с полу грязно-белые стебли, похожие на кучу обескровленных крысыих хвостов, и с отчаянной силой размазал по лицу. Ростки оказались неожиданно сочными, нежными, лопались податливо и хрустко. Холодная влага с пенициллиновым запахом подземелья текла по старческим щекам и тонкой детской шее вниз, под воротник. Тогда-то Борис Владимирович и понял, что маманька его не любит. Любящие матери не думают о сыновьях, как об отравной, никчемной прорости.

К школьным годам неутоленное тщеславие родительницы воспрянуло:

с помощью почтмейстера удалось поместить отпрыска в гимназию. Несмотря на частые стычки с недругами, учился он исправно. Собирался и после соответствовать настояниям Варвары Ниловны, видевшей его на первых порах почтовым писарем, но пришло недоброе время, и гимназия закрылась. Пояс на шее у народа затянулся ту же некуда, в городке воцарились тиф, голод и хмельный угар мародерства. Над уличной падалью каркало драчливое воронье – верные спутники военных событий. Почтмейстер уехал, бросив на произвол судьбы сарай с лошадьё для сельских отправок. Кобылу кто-то ловко свел в тот же вечер. Варвара Ниловна ругала себя, что не успела сама заколоть доходяжку, а назавтра явились чужие люди и погнали Варвару Ниловну со службы.

Борис Владимирович подворовывал на нищих базарах, нарочно измазанный грязью, на себя непохожий. Маманька нанималась кому-то стирать, белить, бралась за всякую работу, если везло найти. В невезучие дни Борис Владимирович подбивал камнями ворон. Варили и ели. Одно время ели собачью солонину. Варвара Ниловна ослабела телом, а пуще того – сердцем и однажды померла с поварешкой в руке, нечаянно опрокинув на себя кипящий суп.

Готовить бурду из чего придется стало некому, нечем садить огород. Промаявшись с полгода, Борис Владимирович продал маманькин домишко и пошел служить в свеженабранную милицию, набитый амбициями и глистами. Амбиции частью достались Борису Владимировичу от маманьки, земля ей пухом, частью образовались в нем от желания отомстить своим обидчикам. А паразиты, понятное дело, завелись от дурной пищи. Взяли его сразу, хотя возраст в метрике чуть-чуть не догонял до ответственного взрослого дела. Медсанчасть вывела глисты, попутно избавила от вшей и вылечила чесотку. Подпитанные пайком и дерзкими мечтами амбиции потихоньку принялись прорастать дальше.

Новая власть определила Бориса Владимировича на присмотр за арестантами, не к операм же назначать такого. Работу свою он не любил, но сжился с ней из чувства самосохранения, сильного, как материнский инстинкт у Варвары Ниловны: любить не люби, а долг исполняй. Самосохранение, зарубил себе на носу Борис Владимирович, – долг, данный природой, вся жизнь на нем держится. Нет вернее и превыше этого чувства-инстинкта, о любви и поминать нечего – мелочь.

У многих товарищей по службе имелись девушки, некоторые даже женились по глупости, благо тиф с голодом незаметно сошли на нет. Борис Владимирович не обольщался, что какая-нибудь краля посмотрит на него с ласковым интересом. С ласковым никто не глядел, а интерес... Бывало,

вылупится любопытная дура, глаз не отводит: отчего у парня кожа будто вываренная, глаза выцветшие, волосы белые?.. В том, что молодой он человек, не старик, не сомневались, и то ладно. На довольствии Борис Владимирович раздался в плечах, нарастил на фигуру крепость. Впрочем, в физиологическом плане он отсутствием девок не мучился: вдовица, у которой снимал угол в комнате, через ночь-две по-хозяйски ныряла в кровать к квартиранту. Ночью лица не видно, ночью серы кошки любого цвета, а женщина, годившаяся ему в матери, желала потешить себя неизрасходованным мужским телом. Нахваливала: «Жеребчик мой серенький»... Потом дали, спасибо, комнату, избавили от наметившихся вдовьих притязаний: начальство относилось к сотруднику благосклонно. Сослуживцы едва терпели из-за нелюдимого, подозрительного нрава. Похихатывали за спиной над обличем Бориса Владимировича. Придумали кличку Конь бледный, он знал.

В конце тридцатых правительство всего на год с небольшим разрешило вольные пытки в кутузках. Вышибай зубы, коли глаза, дергай ногти, круши хребты, лишь бы преступники признались в содеянном и выдали сообщников. Не все следователи умели выбить правильные показания, и тут Борис Владимирович отличился. Призывали в камеру его, младшего по годам и чину. Он оказался изобретательным. Ему было все равно, блатарь перед ним или пятьдесят восьмая, и жизни чужой не жаль. Особенно нравилось терзать смазливых. Пальцы ярких шатенов, жгучих брюнетов ломались с одинаково смачным хрустом, как картофельные ростки. Одинаково красная влага заливала каменный пол, дымилась на холоде доверчивым теплым парком... «Конь бледный», – содрогаясь, курили следователи и заполняли протоколы торопливыми показаниями. Больше не хохотали. Борис Владимирович был доволен.

Позже... много позже он старался не вспоминать о службе в тюрьме. Началось время сытное и приятное совсем по-другому. Парня взял к себе ученый человек, очутившийся в том месте и городке по секретному делу и специфике своей околomedicalской науки.

Бориса Владимировича повысили в чине. Назывался не адъютантом, однако мыслил трезво – холуй он и есть холуй, как ни крути: подай, отнеси, постирай, ботинки почисть, пошел нах... Кто б другой с Борисом Владимировичем так посмел обращаться, он бы нашел, как досадить тайком, но на Роберта Иосифовича скоро почти перестал обижаться. Вкрутился в новую службу оборотистым винтом, притерся, привык воспринимать ее издержки со стоическим, без упрека, достоинством. А что, не может быть достоинства у денщика? Еще как может. Оно, конечно,

специфическое, зато оглядчивое.

Борис Владимирович гордился хозяином, и собой гордился, что служит у великого человека. Роберт Иосифович состоял на крупной военной должности, был полусекретным ученым, и наука его считалась секретной, а лаборатория вообще была суперсекретной, и он ею заведовал. А вот почему именно Борису Владимировичу выпала по жизни пруха прислуживать гению, сформировались у него некоторые предположения.

Хозяин был рыжим. Не просто рыжим – буйно, празднично, до неприличия рыжим, точно клоун в оранжевом парике. Со спины как ходячий господин-апельсин. Природа подшутила над Робертом Иосифовичем необычайно. Если снять с него густые апельсиновые кудри и начисто соскрести с лица морковную россыпь веснушек, пред изумленной толпой предстала бы в человеческий рост ожившая скульптура мятежного Давида, изображенного в камне Микеланджело Буонарроти. Об итальянском художнике Борис Владимирович узнал после, а над толстым альбомом с фотографией Давида в первый же месяц службы у Роберта Иосифовича просидел в смутных раздумьях целый вечер. Понял, что человек этот, в смысле Роберт Иосифович, – самый красивый из когда-либо виденных им людей.

Так вот рыжий красавец решил взять себе в холопы белого уродца – то ли из куража, то ли из психической блажи, или научного интереса. Может, из всего вместе. Не родись Борис Владимирович у маманьки Варвары Ниловны неведомо от кого альбиносом, Роберт Иосифович на него б и не глянул. Остался бы Борис Владимирович тем, кем был изначально – выблядком почтарки, а также ненавидимым всеми надзирателем каталажки, и не попал бы волшебным образом в Москву...

Борис Владимирович впервые проникся благодарностью к своей внешности и к маманьке. Белый да рыжий, цирк да и только, но над гаерской наружностью Роберта Иосифовича не рисковали потешаться даже за глаза. Борис Владимирович, на что внимательный, ухмылок не примечал. Все-таки Роберт Иосифович был гигантом мысли в своей науке и на короткой ноге с главными начальниками в главном ведомстве страны. От своего вида он не страдал. Напротив, посмеивался, когда на него пялились те, кто не привык. С легким презрением посматривал на подкрашенную смесь хны и басмы шевелюру профессора с выразительной фамилией Рабинович. Коллега по «цеху» предпринимал жалкие потуги сравняться с молоденькой новой женой если не в темпераменте, то в юных красках. У Роберта Иосифовича случались стычки с профессором. Не из-за жены, конечно, по научной области.

Сам Роберт Иосифович был убежденным холостяком и женщин сторонился. О, нет, не из склонности к каким-нибудь поганым извращениям, просто времени не хватало, потому что любил женщин изысканных, красиво одетых и вкусно пахнущих, а они любили время и деньги Роберта Иосифовича. С такими женщинами за десять минут не управисься, им всю ночь подавай и не жадничай хорошо потратиться. Всего-то раз-два в месяц отсылал хозяин Бориса Владимировича ночевать к охранникам в лабораторию – глянь-ка, Борька, как они там, не дрыхнут ли. После Борис Владимирович принюхивался к ароматам, оставленным надушенным женским телом на постельном белье, исследовал волоски в ванне, каемки на окурках в пепельнице, то красные, то перламутрово-розовые, пытаюсь угадать, какая была нынче – блондо или чернявая?

Да, еще приключилась у Роберта Иосифовича однажды внеплановая связь, страсть короткая, но огненная к одной цыганке из экспериментального лагеря, в чем Борис Владимирович осуждал (мысленно, конечно) неразборчивого в том единственном случае хозяина. Правда, цыганка была очень недурна собой, просто удивительно хороша для человека в крайней степени истощения. Но с изъянцем – глаза разные. Одно око мерцало агатом, второе сыпало драгоценные золотые искры, как кипящее в колдовском котле приворотное зелье... Человеческие дефекты всегда живо интересовали Роберта Иосифовича.

Через несколько лет денщицкой службы в просветленной голове Бориса Владимировича беспокойными мушками зароились вопросы: с кем Варвара Ниловна его прижила? как залучила в постель, тоже невзрачная, мужчину явно благородных кровей? похож ли Борис Владимирович на отца? кто он, отец, – житель маманькиного города или заезжий?

Борис Владимирович не считал родным город, в котором явился на свет и вырос. Он ведь там по-настоящему и не жил. Не мог назвать жизнью то мерзкое, засасывающее в безнадежную трясику бытие. Подлинно жить и чувствовать себя человеком хватким, удачливым Борис Владимирович начал только в Москве. Поллюбил ее как огромное, теплое сердце страны с вечным пульсом башенного Кремля, прильнул к хлебосольной столице с благодарностью безродного отщепенца.

Раньше, в неприкаянности и покорности судьбе, мысли о собственном происхождении не посещали Бориса Владимировича, теперь же зашевелились из-за того, что пристрастился он к чтению и Мамаем прошел по изрядной хозяйской библиотеке. Не по научной, понятно, а по художественной ее части. И как-то раз Роберт Иосифович зацепился за книжное словцо, слетевшее нежданно с плебейского языка, устроил

экзамен и с изумлением отметил семимильные шаги в неофициальном образовании простолюдина: «Да ты молодцом, братец мой Борька! Скоро меня догонишь». Незавершенную учебу в провинциальной гимназии, довольно-таки качественную, между прочим, хозяин в расчет не брал.

Необычное в его устах обращение и шутовская опаска «меня догонишь» ласкали Бориса Владимировича всю ночь. До себя, почудилось, приподнял Роберт Иосифович. Ан нет, так и остались в мечтах дальнейшая духовная близость и интеллектуальные беседы на равных. Сохранилось привычное «подотри, принеси, подай», посылки на три буквы, а то и похуже, если настроение ученого не блистало. Матерщинник был еще тот. Борис Владимирович расстраивался, но огорчения не выказывал. У всех гениев, в книгах подтверждается, полно причуд.

И было так: вся художественная литература в доме Роберта Иосифовича обласкалась в руках его верного слуги: километры строчек пробежали перед глазами, а некоторые накрепко впечатались в бойкую память. Особенно хорошо запомнились строки из старой, поданной ему хозяином книги. Сообразно своему ветхому виду она называлась Ветхий Завет. «Поймешь ли, Борька, не знаю, – сказал Роберт Иосифович не без сомнения, – но прочти».

Борис Владимирович прочел, и в восторг привела его Песнь песней Соломона, непохожая на остальные религиозные сказки, местами известные по маманькиным рассказам, и про то, кто кого от кого родил. Не стихи это были, к которым исподволь потянулся и впоследствии нечаянно пристрастился Борис Владимирович, а впрямь песнь. Гимн любви, о любви. Несколько дней ходил, будто в тумане, повторял, как заведенный: «Сотовый мед каплет из уст твоих, невеста; мед и молоко под языком твоим, и благоухание одежд твоих подобно благоуханию Ливана!»

Частные события происходили на фоне суматошных ведомственных, общественных и военных. В системе закрутились непонятные передвижки, наркомат расчленился, затем, едва грянула война, случилось новое объединение. «Туда-сюда-обратно, – тихо ругался Роберт Иосифович, – заеб... эти комиссарские фрикции!» Суперсекретная лаборатория тем не менее стояла на месте, ученый по-прежнему ездил в командировки на север страны, где в засекреченных лагерных зонах продолжал исследование кое-каких экономических показателей, связанных с антропологией. Сопровождая хозяина, Борис Владимирович безмерно рад был, что передвигались по тылу, за тысячи километров от передовой... Превыше всего инстинкт самосохранения.

По завершении войны Роберт Иосифович отправил адъютанта учиться

в Ленинград. На прощание сказал: «Иди, Борька, в жизнь. Будь, как я». А сам исчез вместе с лабораторией. Сколько бы потом, годы и годы спустя, Борис Владимирович ни пытался раскопать – в распыл пустили? в лагере? за границей? – ничего не смог найти. Органы госбезопасности всегда отлично замечали следы независимо от того, куда отправлялся исполнитель – на неведомое местожительство или в мир иной.

В квартире Роберта Иосифовича жили незнакомые люди, получившие на нее ордер. «Нет, не знаем. Библиотека? Не было здесь никакой библиотеки». Сосед тоже не прояснил ситуацию. Оглянулся боязливо: «Он же не маленький пост занимал сам знаешь где... ой, что я в прошедшем-то времени говорю! Живет где-то Роберт Иосифович, обязательно живет, такие люди на дороге не валяются...»

Время словно напрочь откусило основательный ломоть биографии Бориса Владимировича. Он слегка растерялся, как язычник, не взявший с собою идола на охоту, – вернулся домой, а божка-то и нету. Ни в одной газете не нашел некролога об ученом колоссальных заслуг и знаний, о человеке кристальной честности, верности партии и народу, и немногочисленные знакомые, помалкивая, отводили глаза... Но все пошло точно по маслу. Борис Владимирович вплотную занялся своими делами и преуспел, и не раз являлась мысль, что пламенный след Роберта Иосифовича пометил его ареалы высоким покровительством. Постигая возню карьерного закулисья, Борис Владимирович не лез активно в травли, но и не отсиживался в стороне. Совершенствуя в себе предвидение, развил в себе глубокий нюх на опасности. Когда доводилось благополучно выскользнуть из неудачной игры, будто чувствовал на плече одобрительную руку хозяина: молодцом, братец мой Борька...

В знак признательности, осторожно обойдя дорогое имя, Борис Владимирович написал докладную о явном сионисте и космополите профессоре Рабиновиче. Внес личную патриотическую лепту в начавшийся из-за заговора врачей сыр-бор. А нечего было молодящемуся сластолюбцу корчить из себя равного Роберту Иосифовичу. Не имелось ему равных, и Борис Владимирович не пытался догнать. Гения не догонишь. Правда, одолевали порой сомнения насчет пятой графы Роберта Иосифовича. Судя по редкой, нигде не встречавшейся фамилии, был он немец. Или еврей. Похожие же у немцев и ашкеназов фамилии. Картавил к тому же подозрительно, букву «р» произносил, как бы смачивая для мягкости, с булькающей трелью. В бытность первого года адъютантской службы Борис Владимирович заглянул в его паспорт и с удивлением прочел: русский. Пришло на ум, что отчество Роберту Иосифовичу дали в какой-нибудь

детской коммуне в знак уважения Сталину, ведь ни одного родственника вокруг ученого не наблюдалось. Маманька Варвара Ниловна вон тоже пожаловала Бориса Владимировича именем сгинувшего актеришки из периферийного театра... Но по летам не выходило. Когда Роберт Иосифович родился, Иосиф Джугашвили носил партийную кличку Коба и Сталиным еще не был. Ученый как-то обмолвился: имя его отца на самом деле не Иосиф, а Йозеф, что все равно загадки генезиса не раскрыло.

В печалях об утраченном кумире Борис Владимирович посетил архивы. Нашел упоминание об однофамильце Роберта Иосифовича, мастере по корабельному розмыслу. И всё. Понемногу уверился: хозяин за рубежом. Нужны же и там стране ученые агенты, тем паче что Роберт Иосифович знал в языках. Читал на иврите, хотя к евреям (возможно, к собственным предкам, всякое же бывает, у самого Гитлера, говорят, нечисто было в родне) относился с предубеждением. Не без антропологических оснований, безусловно. Так оценивал лукавую иудейскую натуру незабвенный Роберт Иосифович: «Недаром еврейский народ прошел многовековой огонь, воду и медные трубы. Мотай на ус, Борька: все крупные эксцессы вызревают в передовых фарисейских головах с целью мирового господства. Войны и революции полезны как для узурпации власти в мире, так и для избавления от собственного балласта. Есть доказательства, что известные еврейские ученые, писатели, представители искусств были кем-то почему-то в войну спасены, вывезены в безопасные места. Погибла масса ассимилированных, потерявших веру, забывших язык, обряды, колена...»

К сожалению Бориса Владимировича, после «дела врачей» ожидаемый грандиозный погром приостановился. Но работы было много. Родине все так же не давали покоя изменники, шпионы, диверсанты. Потом перестало биться сердце председателя Совмина и т. д. товарища Сталина. Сразу же провели заседание большого пленума, где снова приняли решение объединить два сопричастных министерства в одно... и снежный ком внезапных перемен, набирая скорость, покатился под горку. В круговерти интриг, подстав, предательств на советский олимп взошел Хрущев. Во внутренних кругах началась жестокая чистка, опальные руководители потянули за собой прицепы сподвижников. Могучая кучка партии, вся дрожа от нетерпения полновластия, уселась на развороченный муравейник МВД, как слониха, а ни Ежова, ни Берии, недавно назначенного министром и зампредом Совмина, там уже духу не было. Партийная номенклатура взяла верх, низвела имперские функции главных органов до охранно-милицейских. Комитет ГБ образовался при Совмине, и Борис Владимирович едва удержался на мелком плаву. Маленький, легкий, щепка

в человеческом море – щепки всегда летят при строительстве новой власти...

Снизилась зарплата, пропали некоторые привилегии и надежда на обещанную ведомственную дачу по Калужскому шоссе, но свежая, мощная волна борьбы с криминальным элементом совпала с радостными для Бориса Владимировича хозяйственными хлопотами. К той поре ему повезло приобрести симпатичный домик в Мамонтовке. Ездил туда с неизменной приятностью, переигрывая в уме мелкие поражения, по сути, ничемные, приближающие физическое и духовное блаженство одиночества, к которому стремился на фоне надоевших преступлений и наказаний.

Доигрались расхитители народного имущества – получили вышку в законе, а Борис Владимирович в это время как раз завладел четырьмя сотками, а на них ягодным садиком и грядками. Куда больше одинокому человеку? Утвердили ту же меру наказания взяточникам и фальшивомонетчикам – дачник устраивал гнездышко и, удивляясь себе, с ласковыми воспоминаниями о маманьке Варваре Ниловне сажал-растил яблони. Суд над тремя валютчиками кончился расстрелом – ему удалось выпросить списанный в конторе шкаф, подремонтировал стол, стулья. Хрущевское правительство повысило цены на молоко, мясо и масло – Борис Владимирович прикрепил к стене напротив нового дивана репродукцию из журнала в красивой рамке – фрагмент скульптуры «Давид» Микеланджело. В городской квартире такая же картинка висела.

Познакомился с соседом, сообщил ему уклончиво, без подробностей, что преподает в институте... Накаркал. Бурное недовольство ростом цен началось на следующий же день. Из магазинов испарилось молоко, покупательская паника нарастала. Борис Владимирович отслеживал с горкомовцами обстановку у студенческих общежитий. Восстановилась статья 70 УК РСФСР, преследующая антинародный элемент, и успешно подавленные волнения завершились для Бориса Владимировича печально. Главный вызвал и торжественно известил: «Партия решила поручить вам, товарищ Блохин, ответственнейшее дело – воспитание будущих поколений. Историю права вы хорошо знаете, институт идеологический. Станете партторгом, бюро там небольшое, но крепкое, выборы вот-вот. Райком уже утвердил вашу кандидатуру. Дело за малым...»

Называется – без меня меня женили. А еще лучше: мавр сделал свое дело, мавр может... Ничего он уже не мог. Не сумел приспособиться к новой гвардии, пришедшей взамен расколотовой старой. Эта набранная из партийно-комсомольских работников каста – наглая, молодая, несытая,

проникнутая чужим въедчивым духом, не чаяла от него избавиться. При всем том Борис Владимирович благодарил судьбу за то, что новоиспеченное руководство не пожелало пачкать руки в залежалой пыли давних бумаг и склок, поленилось отомкнуть ржавые секретные замки, или побоялось. Мало ли какие выпрыгнут монстры... Легче употребить слегка подтухший, но вполне пристойный на вид продукт увядшей эпохи, поместив его где-нибудь с краю.

...Да, вполне пристойный. С годами облик Бориса Владимировича претерпел занятную мутацию. Не хна и басма, не унизительные кремы сравнивали вечного старика со сверстниками. Возраст – вот что оказалось сильнее косметических средств. Бреясь, Борис Владимирович теперь смотрел на себя в зеркало без омерзения: лицо как лицо, лоб высокий, нос патрицианский, подбородок твердый, а морщины, говорят, красят мужчину. Осанка под стать двадцатилетнему, плечи накачаны, торс гибок, ни складки жира... Не красавец, но и не урод. словно время вспять пошло, и помолодел.

Самым невероятным открытием стали глаза. Те же резкие, светлые, цвета выстуженного булата, они, наверное, всегда обладали свойством, о котором Борис Владимирович не знал. Случайно брошенный им со стороны взгляд в зеркало примерз к отражению – так любознательное дитя пристывает зимой языком к железу. Стальные глаза обжигали яростным холодом. Его очи, прекрасные, как оружие. Весь вечер посвятил Борис Владимирович «стрельбе» из этих двух дул. Учился пользоваться взглядом в неведомых прежде возможностях.

Место новой службы и просторный кабинет, выделенный для заседаний партбюро и профкома, неожиданно пришлись по душе. Важным шарниром могущественной эпохи Борис Владимирович себя уже не чувствовал, но не считал и ходячим анахронизмом. Быстро перелицевался ко вторичному применению по линии партии. Предмет свой сдавал в Высшей школе когда-то на пять, со студентами оказалось даже интересно поработать. Канцелярия была знакома: входящие циркуляры, исходящие рапорты. Внутренние дела требовали больше телодвижений, но тоже не особо напрягали. Руководство комсомольским активом, заседания, принятие в партию, проведение камерных товарищеских судов, политучеба. Много на первый взгляд, но и помощников хватало. Главное – не допустить нежелательного вмешательства «родных» суровых структур и жадной до скандалов прессы. В спокойствии были обоюдно заинтересованы как партийные инстанции, так и учебное заведение. Велась, разумеется, и мелкая подпольная работа. В закрытом на ключ шкафу хранились досье на

преподавателей, «трудных» студентов, докладные и откровенные доносы. В институте язвили, что мимо Блошки блоха не проскочит. Блошкой прозвали. Подхалимы доложили о прозвище.

Положение обязало подумать о соблюдении апаранса в одежде. Борис Владимирович обновил гардероб вплоть до белья, носков, галстуков, сорочек, купил добротный плащ, пальто и смушковую шапку «пирожок». Молодая портниха в пошивочном ателье прикидывала, приметывала на боках заказчика будущий костюм из дорогой английской шерсти, остро отточенным мыльцем водила по переду, заду, вызывая сердцебиение и другие невольные позывы, – аскетом Борис Владимирович не был. Спросил, как зовут. Сказала углом губ – Таисия, в другом ловко держа булавки; испугался, как бы не проглотила, замолчал. Еле решался искоса разглядывать ее пышущую жаром грудь, круглые ягодицы, нежные, должно быть, безошибочно улавливая в порхающей вокруг женщине флюиды доверчивой доступности, без ужимок и ненужных слов. Костюм получился изящный, строгий, сидел как литой...

Борис Владимирович следил за здоровьем, покупал свежую телятину на Центральном рынке. Торговки быстро заметили, зазывали издалека. Две помоложе, разбитные, в накрахмаленных белых фартучках и нарукавниках, заигрывали – охотно шутил с ними, но женщины кустодиевских форм его не привлекали. Покладистых женщин с узкими, как ему нравилось, талиями и упругими ягодицами ферментировало по Москве без числа.

Проверенные дамы приходили изредка в холостяцкую квартиру по вызову. Разувая в прихожей суконные боты «прощай, молодость» с резиновыми подошвами без галош, Борис Владимирович посмеивался над собой. Вел себя так, чтобы дама, приближенная к телу, не возомнила о себе лишнего. Едва обнаружив избыточный пыл временной избранницы, порывал с ней. Как человек честный, вручал на прощание умеренно ценный подарок – эмалевую брошку или бусики из поделочных камней.

Больше всего Борису Владимировичу любилось отдыхать в выходные на даче. Она казалась крепостью и броней, с не оскверненным ничем диваном, с уютно потрескивающей в кухонке беленой печкой. Все-таки нелюбовь, сопровождающая Бориса Владимировича с детства, была его привычкой. Наслаждался умиротворенным покоем в одиночестве и вдвоем с Давидом. Попивал хороший коньяк, беседуя с полиграфической статуей в рамке: «Представляешь, Роберт Иосифович, ведомство растащили по всем республикам, в каждой открылось свое министерство. Упразднили управления ГУЛАГом, внутренних войск, снабжения, раздали геодезию, связь, Штаб противовоздушной обороны. Все порушили, все...

Номенклатура затыркала наших по чужим отделам... Эх, Роберт Иосифович, хорошо, что ты уехал и не видишь этого бедлама! А я, знаешь, ушел. Они думают, что меня «ушли», а я – сам... И не жалею. Теперь ограждаю будущее страны от тлетворного влияния Запада. От того Запада, где ты живешь, дорогой мой Роберт Иосифович, и благоденствуешь...» Потом, шагая по комнате с дымящейся сигаретой «Лорд» в пальцах, говорил с Давидом о мелких бытовых проблемах и радостях: сосед обещал помидорную рассаду, посажу цветы, ты же любил цветы, хотя какой в них, честно сказать, толк, в их недолговечной красоте, в хрупкости их стрекозьей... Чудилось, что хозяин рядом – за спиной, за дверью, в сумерках окон, везде.

К ночи мятежный Давид выкатывал на бывшего холуя пустые каменно-бумажные буркалы и посылал его, по обыкновению, на три буквы. «Спать так спать», – соглашался Борис Владимирович, валился на невинный диван и засыпал ласково, как в детстве.

Глава 6

Суламифь

Однажды в приемной комиссии он обратил внимание на робкую девчонку. Она зашла после рослой девицы с голосом Эмиля Горобца, но лиричнее, мягче, с арпеджиями (или как там у певцов называют склонность к колоратуре), за которую просил Вельяминов из городского отдела культуры. Борис Владимирович пригляделся и замер в болезненном ступоре, словно от удара в промежность. Эта девушка была – Суламифь. Именно такой он представлял красавицу из Ветхого Завета – последней книги, прочтенной им некогда по рекомендации Роберта Иосифовича. Аж руки затряслись от незнакомой счастья.

«Кто эта, восходящая от пустыни как бы столбы дыма, окуриваемая миррою и фимиамом?..» «Кто эта, блистающая, как заря, прекрасная, как луна, светлая, как солнце?..»^[21]

Она вошла в душу Бориса Владимировича с именем Суламифь, хотя звали ее по-другому. Имя, данное ей родителями, ему не понравилось. Не теплое, чужое имя. Девушка не стерегла от лис виноградники Ливана, не пасла коз на вершине Аманы возле львиных логовищ и барсовых гор. Она приехала из затрапезного северного городка в статусе столицы автономной республики, но Борис Владимирович вдруг догадался о своем неизвестном доселе, в терпеливой невозмутимости взлелеянном ожидании: только ее, Суламифь, он желал бы ввести на неискушенную дачу, «в дом пира под знамя любви».

«О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна! глаза твои голубиные» – так и было вначале. При первой встрече в приемной комиссии его больше всего ошеломили ее глаза. Они излучали блеск и синь. Борис Владимирович скользнул взглядом по анкете: возраст, место проживания, родители, пятый пункт. Умилила куца биография – совсем еще не жила девочка, а воспитывалась в детском доме. Почему-то сразу смекнул: сирота, еврейское дитя, дочь спецпереселенцев. Одинокая, как он, что странно вообще-то – евреи, с их развитой семейственностью, единокровных не бросают. Наверное, родственники были истреблены с обеих сторон фронта – видимого и невидимого...

В институте ходили слухи о преподавателях-жуирах, и Борису Владимировичу кое-кто наушничал. Он отмахивался – пусть их, лишь бы

не до скандала. Видных студенток на факультете было полно – культура же, клумба в цвету. Попадались танцовщицы с точеными фигурками, девушки с лицами киноактрис. Борис Владимирович спрашивал с красоток, как со всех, никому не делал исключения, хотя иные, бывало, пытались кокетничать ради отметки. Он обычно констатировал факт – да, пригожая, и брал на заметку, опасаясь деликатных разборок с кем-нибудь из преподавательского состава, пойманным на «зачеточном» флирте, не более того. А тут, увидев возлюбленную царя, воспетую в библейском любовном гимне, едва не задохнулся от изумления. Поразился себе и даже испугался, поэтому вначале от макушки до пят пронизало мимолетной ненавистью к Суламифи. Снова вспомнились дразнилки мальчишек, похохатывания товарищей по первой работе в тюрьме, вытаращенные глазки любопытных дур... Но нет же, нет! Его уродство, все его внешнее и тайное безобразие остались в маманькином городе... Теперь он не такой.

Борис Владимирович с ужасом почувствовал напряжение в теле. Заметив, что брюки под ремнем приподнялись, заложил руки за спину, как арестант, и резко повернулся. Шагал, чуть согнувшись, по красной дорожке, расстеленной перед столом, разворачивался перед стеной и снова шагал. Сосредоточился весь там, в брюках, пока не заставил себя успокоиться. Испытующе глядя на девушку, задал ей вопрос по анкете. Суламифь ответила, он кивнул и почуял ее отвращение, а кроме того – аромат. Об отвращении не успел подумать, нежный аромат перебил огорчение и растерянность. От девушки пахло свежим жасмином... пачулями... иланг-илангом... кажется. Если Борис Владимирович что-то понимал в духах. «Нард и шафран, аир и корица со всякими благовонными деревьями, мирра и алой со всякими лучшими ароматами». Во внутреннем зрении поплыли ландшафты, озаренные нездешним солнцем, с переливчатой дымкой, в глазах начала лучиться тончайшая паутина – та, что ловит последний бисер росы в осеннем лесу. Кажется, выбились слезы, чего еще никогда не бывало. Соломон, надо полагать, знал толк в женских ароматах, с его-то немислимым числом жен и наложниц... Борис Владимирович подивился: явно недешевые духи. Не «наши».

Существовала негласная инструкция по ограничению приема евреев на поднадзорный факультет в этом вузе. Не более двенадцати, и эти-то двенадцать еле втискивались в рамки поступающих с неизбежными челобитными и связями. У Изольды оказалась серебряная медаль, что, в общем-то, говорило об ее способностях и прилежании, а не о возможности обязательной удачи на вступительных экзаменах... Но Изольда Готлиб должна была поступить.

Борис Владимирович шел домой, спотыкаясь, как одер (Конь бледный), и ничего вокруг не видел. Смоковницы на бальзамических горах распускали почки, слышалось воркованье горлицы, и сквозь благовонные виноградные лозы расцветали глаза Суламифи. Чудный цвет их, он заметил, меняется от освещения. Они были то небесно-синие, то фиолетовые, то в глубине хрусталиков мерцала мшистая зеленца. Совсем как на придонных камешках в рассветной реке, когда над сопками разгораются первые светцы. Ресницы соединялись в углах глаз густыми стрелками вниз, что вместе с разлетом шелковистых бровей, словно рисованных тонкой колонковой кисточкой, придавало лицу выражение по-детски доверчивой и в то же время очень женской загадочности. Кудри... да ну тебя, Соломон, с твоими сравнениями, какое еще стадо коз, сходящих с горы Галаадской?! Кудри девушки, если распустить косы, были, несомненно, – сон блаженный, туман черный, блестящий. Хотелось зарыться лицом в их мягкие сумерки и уснуть, пусть навечно... вся она – нежность и любовь. Ярких красок Суламифи хватило бы покрыть дефицит меламина в Борисе Владимировиче, хватило бы на них двоих...

Очнувшись, Борис Владимирович завернул в магазин ювелирных изделий. Необходимо было купить бусы для очередной своей дамы. Чересчур экзальтированная попалась женщина, следовало подготовить ей достойную отставку с утешительным презентом, да и не до женщин стало. Девочка, хрустально-чистая девочка ходила по коридору – только руку протянуть... Недорого взял симпатичную брошь – гранатового жука на серебряном кленовом листе.

В ломбардном отделе Бориса Владимировича привлекли серьги с крупными сапфирами, выставленные на продажу. Чудесные камни с разных сторон меняли цвет от синего, сине-фиолетового до глубокого аквамарина. Долго ими любовался и впервые в жизни стыдливо предположил, что счастье мужчины зависит от женитьбы. Несло куда-то в благоуханные купальни с лилиями стоеросовую, энкавэдэшную партийную башку, в которую черт знает что было напихано, от марксовского, без купюр, «Капитала» до самиздатовских перепечаток-вещдоков, перехваченных у ребят с Лубянки. Полюбила бы... А уж как бы он ее любил. Прочь на три буквы послал бы партию, советское право, работу. Суламифь оказалась важнее. Его Суламифь.

Ночью (прости-отвернись, Давид, то бишь Роберт Иосифович) являлись перед Борисом Владимировичем глаза-сапфиры, колонковые брови, кудри – ладно, чего уж там, – как козы и овцы стадами, а сам он был Соломон. Он ласкал трепещущую сернами грудь, налитую сладкой юной плотью,

целовал атласный живот с пупочной ямкой, сливочные колени, молочные ягодицы. Суламифь моя, ты – мед золотой в фигурном сосуде, внутри тебя солнечный свет. Собственная песнь не удавалась, встревали нетленные фразы. Пальцы исследовали дальше, подбирались к вожделенному треугольничку, к шелку и неге, амбре и мускусу, гладили, перебирали волнистые волоски. Бедра твои, как ожерелье, дело рук искусного художника... Внутри раздвинутых ножек пальцами не трогал. Осторожными губами, бережным языком раскрывал аметистовые лепестки, не стремясь вглубь, касался набухающего рубиновой влагой бутона кончиком языка, дрожал им по всему цветку бесконечно нежно – так капли сонной вечерней росы стекают с розового куста... «Запертый сад – сестра моя, невеста, заключенный колодезь, запечатанный источник».

«Подожди, Суламифь, – шептал Борис Владимирович в подушку, возвращаясь в остывшее одиночество, – все будет: серьги с сапфирами, колье, наряды, модные туфельки, шубки, – все, что захочешь».

И себе шептал: «Подожди».

Недоступные воле глубины, оказывается, живут в человеке. Выходит, совсем не знал себя Борис Владимирович. Инстинкт самосохранения, маманкина нелюбовь, всегдашнее благоговение перед Робертом Иосифовичем, до сих пор несокрушимое, – все пошло прахом. «Подкрепите меня вином, освежите меня яблоками, ибо я изнемогаю от любви».

С поздним раскаянием вспомнился сгинувший куда-то отпетый сионист профессор Рабинович, воевавший со своей сединой древними индийскими средствами (бес в ребро, бес роковой, прелестный!). Поздновато снизошла и к Борису Владимировичу вторая молодость. Постичь не мог, радоваться ему двоякому счастью или плакать. Принимая ванну, смотрел на свои колени в податливой мыльной воде. Они восходили над горячим туманом двумя розовыми чашечками и обманчиво напоминали другие, до боли желанные, если бы в следующую секунду не досадная твердость их и костистость.

Борис Владимирович зачесывал непослушные белесые пряди на плешь, наметившуюся над лбом, вычищал до пушинки костюм английской шерсти с юношеским волнением в груди – для тебя, Суламифь. Опять купил женский крем для лица. «Жена просила», – буркнул продавщице конфузливо, хотя ее-то какое дело. Стоял перед зеркалом вечерами, в тысячный раз присматриваясь к носу скульптурной лепки, к мужественному подбородку, и находил сходство с профилем на нумизматическом наполеондоре. Но кто бы дал в руки колдовской резец,

способный срезать всю лишнюю кожу, все испещренные тонкими морщинками складки, наслоения провисшей глины на брылястом лице, забытом художником в обидной незавершенности. Да еще бы избавиться от этих проклятых красных жилок на белках глаз... А все же плечи расправлялись во всю ширину, над локтевыми сгибами, как вкаченные в лузы шары, поигрывали тугие мускулы. Не у многих молодых такое тело, напоенное не худосочной силой. Жаль, под одеждой не видно... Очевидность достоинств перешибала сомнения: кто сказал, что урод? Никто не говорил, сам так думал.

С силой втирая крем в дряблую кожу, Борис Владимирович отгонял видение мертвенно-бледных картофельных ростков... пел ставший привычным монолог. Удивлялся прихотливой памяти: сколько лет не вспоминались бессмертные строки и вдруг лавиной рухнули в голову всеми своими садами, стадами, ливанскими потоками. Невозможно брэнному телу противостоят любви, покоряющей сразу и навсегда.

...А не получалось «навсегда». Видел, не слепой, мечась в себе раненым зверем, – избегает его Суламифь. Начал сердиться на нее, убеждал мысленно: мы созданы друг для друга, но девушка смотрела вскользь, и в коротких враждебных взглядах откровенно читалось: он ей противен.

Как-то раз в начале зимы она не явилась на занятия. Борис Владимирович встревожился, почтил присутствием комсомольский актив и после заседания выцепил в выходящей толпе соседку Суламифи по комнате.

– Лариса, нам нужно выяснить, что случилось, почему Изольда Готлиб прогуляла сегодня лекции?

Девчонка захлопала глазами:

– Я уже предупредила куратора, у Изы несчастье, получила известие о смерти дяди.

– Спасибо, Лариса, извините. Впредь предупреждайте, пожалуйста, заранее, если что-то у вас происходит. Мы отвечаем за каждого студента и обязаны контролировать, где вы находитесь. Участились приводы молодежи в милицию, сборы комсомольцев с людьми сомнительного поведения...

Всякую чушь напорол.

Значит, был дядя и умер, оборвалась ниточка, связывающая с последней родней. Борис Владимирович облегченно вздохнул: дяди-тети в его планы не входили. Зато возникла идея воспользоваться услугами Ларисы. Под видом, например, крайней необходимости отследить

увлечение студентов низкопробной иностранной музыкой, копирование, чего доброго, дурных образцов западной моды.

Борис Владимирович хорошо был знаком с такого сорта людьми, как Лариса. В голове правильной комсомолочки свербила вошь властолюбия. Ох, сколько он знал товарищей, подобных этой девице, пораженных душевной глухотой ко всему, что не могло принести им выгод! Массу, массу перевидал таких перевертышей в родном ведомстве, меняющем названия со скоростью смены блюд на званом сталинском обеде (Роберт Иосифович сподобился потчеваться, рассказывал, самим Берией был приглашен).

Лариса была вызвана в кабинет. Вопросы Борис Владимирович обставил так, что девушка, переполненная чинопочитанием, комсомольским рвением и завистью к чужой удаче, выложила собственные догадки-сомнения как на духу. Ни разу не споткнулась в своем бойком словесном распутстве. Щеки разругались, вошь зудела и щекоталась в завитой наивными кудряшками голове, в лицемерной душонке, в глазах ежащегося от брезгливости Бориса Владимировича. Далеко пойдет Лариса... и пусть стремится, ее ханжеская природа была ему на руку. Он понял, что активистка не откажется выполнить поручение. Ей же потом и пригодится искусство плетенья паучьих сетей.

Суламифь, по словам Ларисы, владела драгоценностями – золотым кулоном с янтарем, серьгами из серебра (наследство, наверное). Деньги имеет большие, хотя не сильно расходует (странно... ну, может, дядины). А дядя, сообщила Лариса, не родной, бывший сосед, Ксюша обмолвилась. Борис Владимирович, забывшись, чуть не воскликнул: сосед?! Тотчас, слава богу, вспомнил из характеристики «дела», в каком году Суламифь попала в детдом. Посчитал – в одиннадцать лет. Значит, не что-то дурное с соседом связывало, не могло быть дурного... По словам Ларисы, Суламифь до сих пор переписывается с женщинами, все в одном общежитии жили с тем скончавшимся скоропостижно «дядей». Камень с души упал. Борис Владимирович проникся к незнакомым женщинам благодарностью – не оставили сироту. Поторопился расспросить об остальных студентах, друзьях по курсу, а то как бы рассказчица чего не заподозрила, и тут впрямь встревожился. Лариса доложила, что у Ксении Степанцовой семья баптистская. Правда, сама Ксения не молится, но все время болтает о ссыльной немке-врачихе и замужем успела побывать. В груди у Бориса Владимировича захолонуло: искушенная Мессалина... Представил гнусные ее разговорчики перед сном о подробностях альковной жизни... Испортит, испортит мне Суламифь! Остановил Ларисин поток.

– Ваша исключительная преданность и принципиальность, Лариса, нам известны, поэтому было решено доверить вам партийное задание, – глянул многозначительно, – понаблюдать за Изольдой Готлиб и Ксенией Степанцовой. Существует опасность, что эти комсомолки могут свернуть с ленинского пути. Вам поручается еженедельно составлять отчет о характере времяпровождения девушек вне института, об их приятелях, встречах, отлучках. Вспомните, пожалуйста, все подозрительные, на ваш взгляд, происшествия, разговоры и представьте мне в конце недели рапорт в письменном виде.

Девушка слушала, открыв рот в верноподданническом восторге. Борис Владимирович в ней не ошибся.

– Надеюсь, нет нужды предупреждать вас, Лариса, о сохранении нашего поручения в тайне. Вы же умеете беречь секреты?

Опустила глазки:

– Да...

Он поверил – не выдаст, есть опыт, поскольку сама из «почтового ящика». Тоже вперился в стол, гася неприязнь. Согласилась, ни секунды не колеблясь, а ведь дружила с соседками. Стыда ни в одном глазу.

Борис Владимирович пригляделся к Ксении – нет, промахнулся со скорой оценкой. Деревенщина простодырая, ведет себя так, будто только вчера на свет родилась. И снова промахнулся. Деревенщину, прочел в докладных записях Ларисы, пригласил заниматься джазовым пением учитель музыкальной школы Юрий Валентинович Дымков. Не сын ли того Дымкова, что лет пять назад привлекался и вывернулся по делу о самиздате? Надо проверить. А привел учителя в день рождения Изы Андрей Гусев... Вот как.

– Ознакомился с вашим отчетом, – сказал Ларисе Борис Владимирович. – Вы справились замечательно. Продолжайте в том же духе, и прошу вас включить в сферу наблюдения Андрея Гусева. Непростой паренек этот отличник из Перми. Политические эксцессы ни к чему институту, где воспитываются культурно-идеологические кадры, будущая наша надежда и опора. О спасении заблуждающихся комсомольцев и мерах пресечения вредных влияний мы позже подумаем вместе.

На новогодний вечер Борис Владимирович ни с того ни с сего решил вырядиться мушкетером. А что? Праздник же, товарищи, были когда-то и мы рысаками... Сам смастерил маскарадные очки, заткнул за ремень спортивную рапиру. Нашел в «Сувенирах» для старой зеленой шляпы легкомысленный пучок перьев какой-то южной птицы.

Суламифь была в пышной юбочке, хрупкая талия стянута широким кожаным поясом, светлые туфли на каблукке. Танцевала со всеми подряд! Борис Владимирович умирал от бешеного напора крови в голову, рот непроизвольно кривился. «Положи меня, как печать, на сердце твое, как перстень, на руку твою: ибо крепка, как смерть, любовь; люта, как преисподняя, ревность; стрелы ее – стрелы огненные...» Малодушничал, пригласить не смея. Зубами скрипел: что ты со мной делаешь, прекраснейшая из женщин, дочь иерусалимская?!

А ничего она с ним не делала. Знать не знала и видеть не видела. Только и всего. Потеряла, видно, подружку, заоглядывалась. Вон твоя подружка, торчит у окна столбом неприкаянным... И чуть в тартарары сердце не ухнуло: приблизилась любовь, пожелала доброго вечера. Четко обрисовались в свете гирлянд совсем еще детские плечи; пасмурным фиолетом переливались глаза. Борис Владимирович откликнулся на пожелание доброго вечера: «Добрый, добрый», очень кстати вспомнил «Чу-чу», которую наигрывали музыканты. Сам не ожидал от себя романтического всплеска. Дома, честно сказать, хранилось несколько джазовых пластинок, любил иногда послушать. А пригласить на вечер джаз-банду позволил комсомольскому активу потому, что хотелось присмотреться к ее руководителю – Юрию Дымкову.

Суламифь торопилась к подруге, и Борис Владимирович не стал задерживать. Выражение глаз показалось испуганным, словно врага в нем увидела. Какая любовь, какие сапфиры в серьгах?! Не возьмет. Он плакал в себе и одновременно гордился: не Лариса его Суламифь, родник чистейший, незамутненный.

Костерок негромкой ее миловидности рядом с подругой приглушался, не пылко сиял. Приметность Степанцовой – тяжелая артиллерия. Ксения броская, яркая, но восхищенный взгляд быстро привыкает к ней, а тонкая живопись лица Суламифи, изящное строение ее фигурки, открывшись однажды, каждый раз видятся по-другому. Только бы не положили похотливо ищущий глаз молодые прохвосты, только бы не увели... «Мандрагоры уже пустили благовоние, и у дверей наших превосходные плоды, новые и старые: это сберегла я для тебя, мой возлюбленный!»

В музыкальную группу с воплями толпы «Куба, Куба!» влился саксофонист, и неизменный соломоновский речитатив поблек. Звездный полумрак сцены осенила белоснежная улыбка. Негр, – удивился Борис Владимирович. Вспомнил о Карибском кризисе, совпавшем с окончанием строительства МКАД, что казалось важнее внешней политики, значительнее с трудом выправившейся затем ситуации. Москва всегда

была, есть и будет центром мироздания.

Кубинец играл с истинным южно-латинским темпераментом. То низкие, то высокие жильные струны пели, пылали в мигающем воздухе, и взвизгивали, и смеялись. Густые сочные звуки кружились над залом, не теряя ни дюйма равновесия. У музыки универсальный язык, думал Борис Владимирович расслабленно. В журчании и смехе невидимых струй плавали разноцветные звезды. Интересно, действительно ли астрологи предвидят по звездам судьбы народов и отдельного человека? Роберт Иосифович говорил – правда. А он никогда не лгал... И вдруг Бориса Владимировича насторожило не в меру вдохновенное лицо Ксении Степановой. Девушка буквально поела негра глазами. Музыка сразу же отдалилась шумовым фоном, Борис Владимирович почувствовал, как напрягся в охотничьей стойке его позвоночник: вот она, Мессалина! Подобрался ближе, досадуя на огнедышащий юный вихрь... черт бы побрал карнавальную шабаш, все ноги отдавили...

Завершился концерт. Негр, саженого роста, выпялился на развратную блондинистую мучачу. Знакомы с Ксенией, – понял Борис Владимирович. Куба – социалистическая, но зарубежная страна, у ненавистной Америки под боком, а эта на латиноамериканца запала... блудница, падшая блудница! Дай волю – закидал бы камнями!..

Чуткая Суламифь поймала взгляд (безумный, наверное, сам себя испугался Борис Владимирович), юркнула за спину Гусева, и тот приобнял чужую невесту... как смеешь, мальчишка! Еле-еле парторг совладал с собой, чтобы не броситься вперед со шпагой.

Танцевальный топот продолжился под магнитофон, и невыносимы стали Борису Владимировичу вульгарные телодвижения компаний, сбившихся в тесноте не столько для отбивки плясок, сколько для вольных, якобы ненамеренных касаний. Всюду чудились горящие любопытством глаза, подлое хихиканье; он разозлился на себя, на нелепую шляпу с перьями, смотрящую на нем, должно быть, шутовским колпаком. Страшная мысль об ожидающем времени пронзила Бориса Владимировича, о жизни в натужном молодечестве, в постоянной слежке, ревности, безрассудстве. Так ли сладостны будут ночи после несносного напряжения, не стоит ли одуматься и остановиться, пока самоё жизнь не прервалась?..

Он втискивался в плотный человеческий кавардак, проходил сквозь вьюги конфетти, серпантина, вздрагивая от залпов дурацких хлопушек, кляня душно-одеколонную толпу, медлительную гардеробщицу, роняющую номерок, – спите, что ли, Анна Дмитриевна? Обидел старуху,

извинился, готовый вот сейчас, вот здесь повеситься на железном крючке, с которого она сняла пальто... Не выдержит крючок. Сам не понял, как приплелся домой.

По окончании каникул Борис Владимирович первым делом взгрел бюро за ленивое проведение политечебы. Самолично взялся за составление плана факультативных занятий, приглашал лекторов. Садился на конференциях сбоку, стараясь быть незаметным, разглядывал красивое лицо Гусева. Удушливая ненависть сжигала сердце, кулаки невольно сжимались. Попался бы ты мне в застенках, парень, когда я был в твоём возрасте...

Теперь Борис Владимирович и без Ларисиных отчетов четко видел антисоветчину в Гусеве и блуд в Ксении, как опытный цензор видит подтекст. Видел инакомыслие во всех молодых – дерзких, шальных, с фарцовым забугорным налетом в прическах, одежде, поведении. Штамп советского негде ставить... а ты, парторг, хитри, как лис, крутись между инструкциями и политической корректностью, не показывай прежних замашек.

Борис Владимирович читал докладные Ларисы и ужасался: подозрения подтверждались. На нее вообще не смотрел. Он всегда пользовался услугами таких ларис и всегда их презирал. Одна Суламифь была чиста во вселенском вертепе. Слушала лекторов, сидя у окна, опустив лицо на скрещенные пальцы – дитя; смуглые тени лежали под ресницами, тонкий пушок золотисто высвечивался на щеках...

В привычку вошло у Бориса Владимировича захаживать по дороге домой в магазин ювелирных изделий. Любовался сапфировыми серьгами. Возлюбленная моя, глаза твои голубиные.

Глава 7

Блэк энд уайт

Все каникулы Ксюша ходила на репетиции в музыкальную школу Юрия. Начались занятия, продолжились и ежевечерние репетиции. До самого общежития провожал Ксюшу Патрик Кэролайн. Она так расцвела, что вокруг, тесня зиму, закипели горячие страсти, и слышалось солдатское щелканье каблуков. Это народ мужского пола резко разворачивался в сторону Ксюши, словно мимо прошествовал генерал. Воспринимая жизнь в музыкальном ключе, она не могла понять, почему за спиной непрерывно раздаются звуки кастаньет.

Казалось, сам воздух в институте и общежитии был напоен жаром любви, а Изу бросало попеременно то в жар, то в холод совсем по другой причине. Приглашенные парторгом товарищи из общества «Знание» читали лекции на факультативных занятиях. Борис Владимирович называл их конференциями: лекторы отвечали на заготовленные заранее вопросы. Политучеба была малоприятна и сама по себе, и потому, что на ней обязательно присутствовал Блохин. Он обычно сидел сбоку, лицом к аудитории, и рассматривал студентов изучающе, будто ставил им про себя какие-то отметки. Остановившись на Изе чаще, чем на остальных, пристальный взор пронизывал ее насквозь. Холодный ветер.

Будь у Бориса Владимировича внешность невзрачного человека из толпы, он бы мог стать разведчиком, но бесцветность в пестром мире приметна. Когда студенты после занятий высыпали в коридор, парторг выделялся в толпе, как крупная моль в стайке луговых бабочек. Изе и тут мерещились ледяные глаза, приценивающиеся издали: «Тепло ли тебе, девица?» Содрогаясь, Иза отгоняла глупые мысли о том, что Борис Владимирович смотрит на нее просто по-мужски. Как пишут в книгах, «раздевает взглядом». Допустим, так, но отчего же с ненавистью?.. Становилось жутко, и затылок мерз, а щеки горели.

Пусть парторг и не ходил за ней по пятам, Изе чудилось, что он ее преследует. Порывалась рассказать об этом Ксюше и не решилась. А той было не до чьих-то домыслов, из-за нехватки времени, едва выдавался свободный час, спала как убитая. Причем ни хроническое недосыпание, ни катастрофическая занятость не отражались на ней. После репетиций Патрик провожал Ксюшу до общежития. Из окна комнаты хорошо

просматривалась часть пяточка под фонарем, где они стояли.

– Опять не поцеловались... Молодцы, держатся! – констатировала Лариса. Следя за ними в окно, она занималась важным делом: блюла Ксюшину комсомольскую честь. Ведь целоваться, например, с однокурсником – одно, а с иностранцем – другое. Но в голосе наблюдательницы Иза вместе с удовлетворением угадывала разочарование. Лариса состояла из двойственных чувств. Душа ее была скроена по разным лекалам: в одной половине обитали птицы, в другой – змеи. Иногда эти соколы и ужи с горьковским пафосом отрицали жизненные позиции друг друга, а бывало, даже сражались между собой, как добро и зло в книге. Впрочем, Лариса при любом своем военном исходе была совершенно уверена в личном праве осуждать интернациональные поцелуи – несла заблудшим добро.

К сожалению, несмотря на договор о неразглашении тайн своего закрытого города, секреты в ней плохо сохранялись. Лариса страдала недержанием слов, как иные страдают недержанием мочи. Показательная комсомолка часто сама мучилась из-за последствий собственной болтливости, но почему-то это ничему ее не научило. Ларисин «невтерпеж» очень скоро пустил теплую водичку слухов о Ксюше, и любознательные начали донимать Изу вопросами:

– А правда, что Степанцова будет участвовать в джазовом фестивале?

– Правда, что Степанцова дружит с кубинцем?

И даже так:

– Правда, что Степанцова выходит замуж за негра?

Догадываясь об авторстве сплетен, Иза приперла ближайшую соседку к стене.

– Хиба народ не бачил, або ослеп? – выкрутилась Лариса. – А я... ну да, сказала, что они дружат. Люди же сами спрашивали. Мне врать надо было?

Сказать – не соврать... Поди докажи, сколько процентов правды в Ларисиних словах и кто подлил к ручейку грязь домыслов. Одна Ксюша ни о чем дурном не думала, ходила со своей песней без слов, радуясь жизни, а на Изины вопросы о джазе загадочно отвечала:

– Погоди, послушаешь.

Андрей с Патриком предложили девушкам покататься в воскресенье на коньках в парке. Навязалась и Ниночка Песковская, влюбленная в Андрея, по словам Ларисы, «до мозга костей». Вообще-то, полный текст был такой: «Песковской бы найти мужа среди торгпредов и атташе и устраивать ему веселую жизнь с домашними восстаниями где-нибудь в парижках, а ей не повезло до мозга костей втрескаться в Гусева». Наверное, Лариса была

права. Ниночка, дочь какого-то крупного начальства, приходилась племянницей декану и считалась на курсе безусловно бластной.

За день до катка сходили без парней на фильм «Я – Куба», снятый Михаилом Калатозовым и кубинскими режиссерами. Лариса после кино озадачилась, полностью ли истреблена на Кубе проституция.

– А ты у Патрика спроси, – усмехнулась Ксюша.

– Ну вот еще! – фыркнула Лариса. – Кто-кто, а я-то знаю, что бывает за разглашение политических тайн!

Снег в парке сверкал, точно присыпанный стеклянным новогодним блеском. Миниатюрная Ниночка едва доставала Андрею до плеча, а Патрик и его, долговязого, превосходил ростом. В толстом зеленом свитере, желтой лыжной шапке и перчатках, кубинец напоминал ожившую банановую пальму и притягивал взоры людей, как редкое явление природы.

Он любил русскую зиму, сугробы и деревья в инее. Увидев каток, воскликнул:

– Так много морозной воды! Пятый год, йа до этих пор удивляться!

Ксюша учила Патрика держаться на коньках прямо. Застыли как монумент, устремившись вперед рука в руке. Патрик боялся поскользнуться, уронить наставницу и не двигался с места.

– Рабочий и колхозница! – воскликнула Лариса.

– Похоже, – согласился Андрей. – А что, вариант в международном духе. Пролетарии всех стран, соединяйтесь.

– Колхоз? – скосил глаза Патрик. – Крестьянин? О-о, Пушкин! – Он артистично откинул незанятую руку. – Зима! Крестьянин, тордествуйя, на дровнях обновляет путь!..

Последнее Патрик выкрикнул на лету. Падая, Ксюша инстинктивно схватилась за полу Ниночкиной шубки, и все повалились на лед. Потом с визгом и хохотом барахтались в куче-мале; гудя, бегали «прицепом» за Андреем; восхищались изобретателем на широких лыжах, с тарахтящим мотором на спине. Он носился по парку, как гигантский шмель, а за ним радостно мчалась собака и помахивала флажком языка. На катке нет взрослых, все дети, даже большой Патрик превратился в забавного негритянского мальчишку и с самозабвением пулял снежками...

Зима стала настоящей, совсем снежной, без слякоти. Ночами кто-то неустанно стриг овечью шерсть с облаков. Днем лучи проклевывали в сугробах рафинадные лунки. Иза нагнулась над лункой – с краев она была слюдяной и синей изголуба, а на донце нежно-лиловой, будто пробивался к свету подснежниковый бутон.

Было весело и хорошо, но скоро холод собрался в коленях, и захотелось к теплу. Лариса тоже продрогла, сморщилась лицом, и у Ниночки носик покраснел, несмотря на шубку и шерстяные трико. А Ксюша не мерзла, ее грел ультрафиолет кубинского солнца. Он лился из лучезарных глаз Патрика щедро – для нее одной. Глаза без всякой утайки сияли о том, что его счастье замкнулось на Ксюше с полной потерей ключей.

Засобирались домой, но тут Патрик рискнул прокатиться с Ксюшей по краю катка, и они заскользили как-то сразу легко и быстро. Издалека их гармоничные фигуры, удлинённые «цыпочками» коньков, казались выточенными из темного дерева. Все залюбовались: это было очень красиво – ожившие статуэтки на белом снегу.

По дороге из парка Патрик рассказал, как советские специалисты помогли кубинцам нарисовать геологическую карту страны и как он с поисковыми группами исследовал месторождения меди, никеля и участки, где Америка прежде безнадзорно и нагло качала нефть. Когда при новом Министерстве промышленности был создан Институт сырьевых ресурсов, министр Че Гевара решил отправить молодых людей на учебу в Москву для укрепления кадров. Здесь Патрик вначале окончил факультет по изучению русского языка для иностранных студентов и теперь, считая, что вполне сносно владеет разговорным языком, собирался научиться читать в подлинниках толстые романы русских писателей.

– Гавана – большой город, но не такой большой, как Москва, – охотно отвечал Патрик на вопросы. – Оччень красивый. Зданий с колониального время, есть соборы семнадцатый век.

– Я думала, Гавана – отдельное государство где-то возле Кубы, – удивилась Лариса. – Помните, у Маяковского в «Блэк энд уайт»: «Если Гавану окинуть мигом – рай-страна, страна что надо...»

– Маяковский имел в виду не государство, – объяснил Андрей. – Здесь «страна» вместо «сторона», такая фигура речи.

Выяснилось, что Куба развивается хорошо, крепко держит бананово-кокосовую марку и поставляет в страны советского содружества тростниковый сахар. По-прежнему идут на экспорт прославленные кубинские сигары, ром, кофе и цитрусовые. Перечисляя фрукты-овощи, Патрик назвал неведомый плод агуакатэ.

– Авокадо, – поправила Ниночка. – Походит на грушу, по вкусу чем-то напоминает грецкий орех. В знойном климате все растет.

– Зимой не сильно знойно, а весной додьи.

– Что такое додьи?

– Додь – вода с небо. Йанварь – плюс двадцать градус по Цельсий.

– Тепло...

– Первый день йанварь – шестой год революции, праздник Освободений. Парад, потом – гулять! Весь февраль гулять, карнавал. Большие чучела маньеконес, танцы, музыка, тейатр. Лето – море синий-синий на Тропикоко, голубой на Варадеро, бьелый песок, красивый пляды...

– Кто-о?! – ахнула Лариса. (Вот он, ответ на не заданный вопрос о проституции!)

Патрик не успел повторить ужасное слово.

– Пляжи, – успокоил хохочущий Андрей, – не волнуйтесь, пляжи!

– В прошлом году я отдыхала с мамой в Болгарии на Золотых Песках, – ввернула Ниночка. – Мама много работает, а на этом курорте хорошо снимают усталость. Ах, как хорошо я там загорела! Кожа была бронзовая. Жаль, курортный загар не держится долго, сдирается к зиме, как змеиная шкура. У вас, Патрик, наверное, все ходят загорелые...

– Да, – усмехнулся он, – но мне не повезло, йа не загорать.

Лариса поспешила загладить свою и Ниночкину неловкость тем, что на ум пришло:

– Когда коммунизм на Земле победит, будем ездить друг к другу в гости. Вы, Патрик, в Москву, кататься на коньках, мы – загорать к вам на Варадеро.

Неблагодарная Ниночка не вняла помощи:

– Мне, может быть, удастся побывать летом на Варадеро. Говорят, новый авиатур открылся на Кубу и в Мексику.

– Тебе-то – да, а для нас эти страны все равно что та сторона Луны, – поджала губы Лариса.

– Советикос делали фотографий на ту сторону Луны, – серьезно кивнул Патрик. – Советский Союз – великий страна!

...В комнате Иза сразу забралась на постель и закуталась в одеяло. Колени ломило от холода. Скорей бы в Москве потеплело...

Весной Изочка с Сэмэнчиком сбивали сосульки с крыши ледника и смотрели сквозь них на солнце. Верили, что так можно увидеть лучи-поводья, которые спускаются с неба к каждому человеку. Матушка Майис говорила – солнечные поводья поддерживают в людях жизнь. В Якутии сейчас морозы под пятьдесят, а то и ниже, не то что на Кубе, где зимняя одежда вообще не нужна. Там все знойное, яркое, пышное... все немного чересчур. Язык с раскатистыми звуками, люди другие, музыка, танцы, реки, цветочные луга... Но вот подснежники в тропиках не растут, да и здесь вряд ли. Подснежники, их еще называют сон-травой, – дымчато-

пушистые анемоны, похожие на выводки птенцов. Возле Якутска они желтого цвета, а у деревни Майис – фиолетовые. Глянешь в мае – подножия гор в пуху, будто грозовую тучку кто-то ощипал.

Лариса дежурила по мытью полов. Энергично двигая шваброй под кроватью, сказала:

– Зря Песковская Гусева окучивает. Он ее из жалости терпит.

– И провожает из жалости?

– Ну да, чтоб не обидеть.

– Жалость – сестра любви, – вспомнила Иза дяди Пашины слова. – А кто ему, думаешь, нравится?

– Будто не видишь! Ты.

Иза не видела. Андрей относился к ней ровно, как ко всем. Иногда беседовали с ним о литературе, но что тут такого? Они просто оба любят книги.

– Тапки убери, – командовала Лариса, выжимая тряпку, – чемодан вытрани, вытру под ним... Лет через двадцать-тридцать жалость устареет и станет пережитком, как религия и капитализм. Все будут счастливы, кого жалеть? В человечестве произойдут глобальные изменения, многие чувства исчезнут.

– И любовь?

– Это вообще не чувство.

– А что?

– Инстинкт видового самосохранения.

– Но ты же иногда подкрашиваешься, волосы закручиваешь, значит, хочешь кому-то понравиться...

– Я себе хочу нравиться, – гордо выпрямилась Лариса. – Вон Ксюшка мается – ни отдохнуть путем, ни выспаться, так я и поверила в ее репетиции! А уйдет любовь в прошлое, и масса времени освободится у людей для знаний. Наука взлетит! Яблони зацветут на Марсе, как в песне, всем откроются дороги в космос!

Изе ясно представились бегущие вперед дороги. Они летели параллельно друг другу, их было три, а она стояла на перекрестке перед сказочным камнем. Не богатырь на коне – обыкновенная девочка в венке из одуванчиков, с голубой лентой в косе, – белый сарафан запачкан по подолу желтым одуванчиковым соком. По левой дороге, кружащей, цыганской, шли медведь и мальчик со свирелью. Мальчик не оглядывался. Осенними кленовыми листьями пылали издали, вспархивая с плеч, кольца червонно-медных волос. Прямая дорога вела к морю, где плыл корабль с Гришкой. Плыл-плыл, как колесный пароход во сне, и пропал на

горизонте. Гришку всегда манил воздух чужих широт... Почему Изе нравятся странники? На правой дороге, небрежно накинув на плечи куртку, стоял Андрей. Так он стоял после кругов на коньках. Глаза с крапинками насмешливо светились из-под мягких бровей. Светились, но не грели. Зимнее солнце. Под таким и снег не тает.

«Налево пойдешь... Прямо пойдешь... Направо...» Три дороги не пересекались ни по закону геометрии, ни по нестандартным человеческим правилам. Иза не знала, ступит ли когда-нибудь на одну из них или появится четвертая.

– Пик любви пришелся на эпоху Шекспира, потому что люди в то время мучились от безделья, – рассуждала Лариса, возя шваброй под окном. – Нечем было заполнить пустоту, вот и влюблялись направо-налево. Давно пора избавиться от атавистического инстинкта, выкинуть его, как аппендикс...

Иза не выдержала:

– Что-то ты слишком много говоришь о любви.

Лариса замолчала. Силуэт ее в оконном проеме, со шваброй в руке, напомнил Изе девушку с веслом и кого-то из знакомых... Да. Полина любила смотреть в окно. Неизвестная женщина бросила новорожденную Полину под дверь детдома. В записке, найденной в пеленках, было имя ребенка, и больше никакой информации. Девочке дали фамилию Удверина. Полина ненавидела свою фамилию, ненавидела детдом, много чего ненавидела, а бросившую ее мать – нет. Перед тем как уехать на учебу в Свердловск, Полина долго-долго смотрела на дорогу в окно. Прощалась.

Наконец-то Изе стало жарко. Прошлепала босиком к окну.

– Фонарь еще не включили, – тихо сказала Лариса.

– В конце марта концерт в музыкальной школе, Ксюша будет петь. Пойдешь?

– Меня она не приглашала.

– Ксюша никого не приглашала, рано пока и стесняется. Мне Андрей сказал.

– Я не люблю джаз.

За окном быстро расплескивалась синева. К пяточку расставаний медленно подошли две смутные тени, и, как только застыли под фонарем, он зажегся. Мужчина и женщина стояли друг перед другом в потоке прозрачно-белого сияния, и непонятно было – то ли свет спускается на них, то ли он от них исходит.

Глава 8

Это не джаз

На «Ксюшин бенефис», как назвал Андрей джазовый концерт, Иза с Ниночкой купили букет белых, с оранжевыми венчиками, нарциссов. Концерт вообще-то был не совсем настоящим, чем-то вроде открытой репетиции к предполагаемому осенью фестивалю.

Скромный зал музыкальной школы оказался с неожиданно четкой акустикой. Друзья музыкантов привели своих друзей-музыкантов, друзья друзей – своих. Всех заинтриговало обещание вокального соло. Народ собрался сведущий, позади кто-то разглагольствовал о новом мюзикле Гершвина и вокальной технике скэт^[22]. Андрей занял места старшему Дымкову с женой и, светясь предвкушением Ксюшиного триумфа, носился со стульями для тех, кому не досталось кресел. С Валентином Марковичем он познакомил Изу зимой на выставке книжной графики. Экспозиция, честно признаться, показалась скучноватой, Иза ожидала большего от хваленых Андреем иллюстраций Кустодиева и Моора. А Валентин Маркович воодушевленно обсуждал с кем-то возможности нынешней полиграфии, здоровался за руку с художниками. Они обращались к нему с явной симпатией, как к знатоку и человеку уважаемому, Андрей шепотом называл известные имена. Странно, ведь работал-то Дымков в цирке. То ли уборщиком, то ли зрителем зверей... Усевшись рядом, он кивнул Изе. Супруга выглядела значительно моложе Валентина Марковича, лицо у нее было такое же, как у Юрия, ясное и приветливое. В руках она держала завернутые в хрустящий целлофан крокусы – сиреневые и млечно-белые в середине. С мужем женщина почему-то не разговаривала, даже не смотрела на него. Может, повздорили.

Начался концерт. Сперва Иза угадывала отрывки неуловимо знакомых мелодий, затем они сместились к более сложному звучанию. Солировали то один, то другой инструмент, раскрепощенная игра ярко раскрывала характерные особенности музыкантов. Саксофон вдруг исторг нежную трель, и все заулыбались, захлопали. Патрик не просто заливался соловьем – так он представил певицу и заодно выразил личное к ней отношение.

Ксюша робела и сомневалась в себе. В предисловие мягко просочились струнные аккорды. Подтянулись клавиши, взрокотал тромбон. Инструменты подбадривали тактичными басами: не бойся, мы с тобой, и Ксюшин голос дрожащей капелью пробежался по умашенному

сочувствием вступлению ансамбля. Цветные бусины звуков, нанизываясь друг на друга, принялись выплетать вокруг звонкие узоры – будто кто-то кормил цыплят, а они цвиркали, пощелкивали, щебетали жизнерадостно и задорно. Еще не окрепший голос отстранялся, закругляя трепетные колена. Патрик взял несколько нот в унисон, щекотнул «пятки» удирающих фонем. Ксюша охнула, засмеялась, и веселые круглые слоги покатались безудержно, как с горы, высверкивая отражением акустических искр. В песне без слов пульсировала и ликовала изначальная мелодия праречи, архаический говор, словно Ксюше удалось поймать чутким слухом азбуку древнего общения. Наверное, музыка возникла до рождения слова, а первобытный лепет был вот таким – бесконечно удивленным жизнью. Новорожденная молвь замирала на миг, задыхаясь с легкой, точно со сна, хрипотцой, набирала воздух и снова бежала, исследуя неизвестную землю. Саксофон запел почти человеческим голосом, Ксюша подхватила. Голоса подражали один другому, догоняли друг друга, сливались, текли дуэтом, ручьем, весенним потоком...

Взволнованный Валентин Маркович взял жену за руку. Иза порадовалась за них. Песнь опровергала предположение о том, что лучшие произведения искусства – плоды неразделенной любви. Любовь Патрика и Ксюши не изолировалась от мира, не пыталась возвыситься над его изъянами. Любовь щедро и просто делилась с миром солнечной радостью, как дети на празднике делятся со всеми дольками мандарина.

Когда партию на фоне Ксюшиного вокала вновь повел саксофон, музыка оторвалась от земного притяжения. В нее проникла светлая грусть. Иза услышала свою ностальгию и, закрыв глаза, узрела с высоты птичьего полета движение ледохода в верховьях реки. Могучее тело Лены просыпалось, взламывало зимние узы, густо дыша из глубины взбаламученным придонным течением. Взгляд скользнул на конскую тропу во влажном ельнике, где колючие ветви были выкручены книзу до высоты лошадиных морд. Голос Ксюши вознесся к несвойственному ей регистру и, кажется, достигнув опасных пределов срыва, спокойно, ровно воспарил в блеске верхних звуков над храмовым сводом вросшего в небо сосняка. «Лес моей Майис», – подумала Иза со смятением в сердце. Мысленный ветер летел вдоль колоннады лучистых стволов дальше и дальше, остатние звуки угасали, таяли до тех пор, пока не сошлись в точке звящего эха... Или то был иллюзорный голос тишины.

Ксюша утопла в цветах. Артистов насилу отпустили, после чего на сцену поднялись музыканты из объединения ансамблей. Они говорили о природной технике голоса солистки, ее врожденном чувстве ритма и

находке уникального стиля.

– Вы, бесспорно, достойны восхищения, – сказал какой-то музыкальный авторитет. – Но мне трудно вписать вашу версию в известные джазовые направления. Во фразировке прослеживалась лиричность славянских линий, – он повернулся к Патрику, – ваш интернациональный дуэт был ни на что не похож! Я не знаю, как называется изобретенная вами разновидность джаза... да это и не джаз! Вы, кстати, забыли объявить название.

– Без имья, – пояснил Патрик. – Человек слышит, что хотеть.

– Каждый – свое? – озадачился авторитет.

– О, да. Сам придумывает названий. Йа назвал «Куба». Так йа слышал и так придумал, потому что сейчас играл водопады на горы Сьерра-Маэстра. Там в Орьенте жил мой дед, там мой отец ходил с команданте делать революций.

– Ты играл Кубу? – удивилась Ксюша. – А я пела о своем Забайкалье...

Глава 9

Ниночкин мир

Ниночка пригласила «свою» компанию на день рождения. Ксюша не хотела идти.

– Эльфрида Оттовна показывала, как надо кушать культурно, да я запомнила.

– Некому там ужасаться твоему невежеству, – хмыкнула Лариса. – Ниночка сказала, что предки уйдут.

– Ну и что, – упрямилась Ксюша. – Не корова же я, чтоб по-культурному кушать.

– Коровы умеют есть культурно? – удивилась Иза.

Ксюша засмеялась:

– А то! Они, когда жуют, челюстей не открывают, а я забыть могу. И столовыми приборами правильно пользоваться не научена.

Лариса тоже развеселилась:

– Ой, горенько мэни з тобою! А еще на Кубу собралась!

– Чего-о?! Куды это я собралась? – Щеки Ксюши мгновенно разгорелись.

Иза поспешно вклинилась между вечными спорщицами:

– Ничего сложного: салфетка на коленях, вилка – в левой руке, нож в правой, мясо отрезаем кусочками от края к середине...

Отец Ниночки руководил важным заводом, мать занимала влиятельный партийный пост. На курсе одну Ниночку называли уменьшительным именем. Не из ласковых побуждений, а потому, что двадцатилетняя девушка выглядела максимум на пятнадцать лет и вела себя поначалу, как невоспитанный подросток. Безукоризненная ее фигурка обещала никогда не меняться, о чем Лариса, по обыкновению, злословила: «Маленькая собачка до старости щенок». Густо крашенные ресницы придавали глазам Ниночки мрачноватое мерцание, длина ресниц поражала самое смелое комсомольское воображение. Под косметикой в стиле немного кино она, очевидно, пыталась скрыть комплекс инфантильности. В институте ее боевую раскраску осуждали, но так, чтобы это не дошло до слуха декана.

Выяснилось, что учеба и Песковская патологически несовместимы. Если она садилась на лекциях близко к кафедре, преподаватели раздражались и читали предмет через пень-колоду. Поговаривали, будто

Ниночка успела сменить три вуза и нигде не протянула дольше семестра. Но глупой она вовсе не была. Просто ее способности лежали за границей избранного родителями образования. На французском языке девушка шарила, как на родном. Того же Мопассана, возмущившего идейно выдержанную Ларису, читала в подлиннике и любила Ван Гога, несмотря на отрезанное ухо и предосудительную манеру импрессионистской живописи. Понятно, что для культработы эти неофициальные достижения и любви не годились.

К большей части однокурсников Ниночка относилась с пренебрежением, то есть в упор не видела. «Народу полно, интересных людей мало, а я – одна такая», – заявляла она всем своим видом. Независимая ее душа не принимала философию равенства и братства.

За преданность делу партии матери Ниночки когда-то простили родство с «бывшими». Мать не предполагала, что усиленно скрываема породе совершит марш-бросок сквозь несколько поколений и с сокрушительной силой выстрелит в единственное дитя, рожденное поздно, после взятия многочисленных карьерных, а затем санаторно-больничных бастионов. Дочь получилась копией прабабки-дворянки, унаследовала ее старосветскую привычку воротить нос от всего не *comme il faut* и даже склонность к легочным заболеваниям.

В малом возрасте любимым словом болезненной девочки было детское словечко «лзья». Разнообразные «лзья» росли вместе с дочерью, принося родителям кучу хлопот и неприятностей. «В семье не без урода», – вздыхала отцовская родня, поднывая к интеллигенции из честных пролетарских кругов. А плевать Ниночка хотела на порицающие поговорки и прочую критику. Ну и пусть урод, зато любимый до затмения родительского разума. Отец с матерью из кожи вон лезли, чтобы жизнь у ненаглядного ребенка была сплошным праздником.

Андрей сразу заинтересовал Ниночку полным равнодушием к ее поведению. Ведь экстравагантность тогда приносит удовлетворение человеку, когда возбуждает чье-то удивление, а лучше – негодование. Непритворно безразличный Гусев задел воспаленное вседозволенностью самолюбие Ниночки, поэтому на первую общекурсовую лекцию по истории КПСС она явилась в рубахе-апаш и брючках, заправленных в мягкие итальянские сапоги выше колен.

Отчаянное пижонство студентки вызвало скандал и сорвало занятия. Андрей воспользовался переполохом и спокойно принялся читать какую-то книгу. Не оценил дерзкую экипировку однокурсницы, не поразился ей, не осудил! Неотзывчивость Гусева потрясла Ниночкин выхолненный

эгоцентризм до основания.

Парторг Борис Владимирович назвал выходку будущей культработницы реакционной провокацией. Контрреволюционерку препроводили в деканат, оттуда – домой, переодеваться и стирать с лица «Веру Холодную»^[23]. Дядя пригрозил отчислением. Племянница впервые почти искренне попросила прощения.

Вначале она возненавидела Андрея. Но ненависть – страсть со знаком минус. Ненависть могла быстро сжечь душу и слабое тело. А что взамен? Ниночка начала мечтать, чтобы Гусева каким-то образом не стало. Никогда и ни для кого. Потом вдруг подумала – ни для кого, кроме нее, и нечаянно на этой мысли утвердилась. Так у всех на глазах развернулся односторонний роман.

Видя ее танталовы муки, враги злорадствовали. Беспечный Гусев не догадывался, что мстит ломаче за высокомерие. Назойливая девушка его тяготила. Он старался сплавить ее подальше и забывал всюду, куда она с ним напрашивалась. Ниночка поняла – ослепительным оперением Гусева не проймешь, и стала одеваться скромнее. Отошла на второй план, за спины, в тень. Постепенно Андрей и привык к ней, как к тени. Тень не замечают, однако избавиться от нее нереально. В Ниночке проснулась прабабкина целеустремленность и способность использовать этот фактор движения как форму существования. Когда-то упрямая тяга к цели довела прабабку до самопожертвования – заставила ее последовать за мужем в Сибирь и спасла его от гибели в холодном краю.

Ниночка отцепилась от бессознательного детства и неожиданно перепрыгнула через несколько ступеней в зрелую рассудочность. Редкий человек может признаться себе в собственных недостатках – Ниночка призналась. Она сумела выковырнуть и выкинуть из взбалмошного характера неутолимое самолюбие. Не утолилось? Прощай. Вслед за тем были выброшены капризы и лень. Заносчивость выжималась труднее, мелкими частями. Не все сразу, *cherie amie*, не все сразу... Образовавшиеся пустоты активно заполнялись учебой, потомственной женственностью и любовью. Ниночка остро ощутила вторжение в жизнь приставки «не» и разумно решила не бороться с ней, а взять в союзницы. Однажды она выйдет из тени. Андрей другими глазами посмотрит на Галатею, вылепленную заново не его руками, но ради него, и поймет, что жить ему без нее НЕЛЬЗЯ.

...В парадной здания, облицованного гранитом, перед журнальным столиком сидел старик в синем форменном костюме и вязал носок.

– Вы к кому? – спросил он строго и записал фамилии в тетрадь.

– Началось, – затосковала Ксюша, – охранники, швейцары...

– Ниночка называет его консьержем, – непонятно усмехнулся Андрей. – Дом непростой, тут живут высшие государственные служащие.

Был уже здесь, подумала Иза. Наверное, дружба Ниночки с отличником подпитывает родительскую надежду, что дочь наконец доползет до диплома... Поймав себя на ядовитой «Ларисиной» мысли, устыдилась. Ей-то что до того, в чьи дома вхож и не вхож Гусев.

Вознеслись в лифте к квартире. Андрей вручил Ниночке общий подарок – букет роз и торт в нарядной коробке. Заказывали вместе, и получилось чудесно: взбитые с цукатами сливки, именное поздравление в окружении двадцать одной свечи. Высокий «колонный» торт смотрелся как макет Курского вокзала или Дворца съездов.

Хрупкая Ниночка смахивала на хорошенького пастушка. Ей шла бесформенная хламида грубой вязки с короткими рукавами. По плечам и груди живописно рассыпалось ожерелье из необработанных поделочных камней. Вскрикнув с преувеличенным восторгом, виновница торжества передала коробку выглянувшему в прихожую чернявому парню.

– Добрый день, я – Тенгиз, – подмигнул он. – Прошу любить и жаловать.

В речи его не было кавказского акцента. Московский грузин, судя по повадкам. Черносливые глаза масляно блестели предвкушением предстоящего веселья, губы складывались пухло и сладко: изюм-м...

Вернулся Тенгиз не один. Снисходительная улыбка второго выдавала в нем человека, которому все в жизни дается легко. Тряхнув крупными волнами каштановых волос, он представился:

– Владислав.

– Ребята из театрального, – отрекомендовала Ниночка и шепнула Изе: – Владик – копия Владимира Коренева, правда?

Лицо Владислава, с томными бархатными глазами и четко очерченным чувственным ртом действительно напоминало портрет красавца-киноактера.

Тонкие ноздри Ниночкиного носика зашевелились.

– Не могу понять, Иза, что за духи? Неужели «Мицуко»? Где купила?

– У спекулянтки, – смутилась Иза.

– Аромат тот, хотя вряд ли фирма... – протянула Ниночка с сомнением. – Ленинградцы шикарно научились налево химичить... Нет, точно «Мицуко». Я хорошо знаю эти духи, они мамины любимые. Маме их из Парижа привозят, а тебе просто жутко повезло. Но они женские, не для девушек.

– А я люблю духи «Красная Москва», – заявила Ксюша.

– «Красная Москва» – неплохо, – рассеянно согласилась Ниночка. – Ваниль, жасмин, роза, еще что-то... На мой взгляд, громковато.

– Избыток пряностей, – вставила свои пять копеек Лариса. Ей тоже хотелось блеснуть парфюмерным знанием.

Ниночка спохватилась:

– Проходите, проходите в мою комнату!

Изу потрясли масштабы квартиры. «Сталинкой» назвала ее Лариса: дом строился для партийной элиты в сталинское время. Три огромные спальни, два кабинета, гостиная, не считая передней, кухни, ванной! На такой площади вполне мог бы разместиться сельский клуб с кинозалом. В приоткрытых дверях виднелась живопись в багетных рамах, мебельные гарнитуры украшали обстановку в продуманной цветовой гамме. В одном из кабинетов покоилась под стеклом коллекция каменных чаш. Музейное впечатление получили от квартиры девчонки.

Ниночкина комната, последняя по коридору, была попроще, но и она казалась картинкой из иностранного журнала. Ковер в ней висел не над диваном, как принято, а лежал на блестящем паркете – простертый в прыжке зверь с расправленными по рыжему полю коричневыми полосами. Солнечные оранжевые шторы кидали летние блики на черный лак рояля. Перед трельяжем на комодке валялись какие-то флакончики и щеточка-ершик с еще влажной тушью. Ниночка закрутила ее в цилиндрик.

– Американская? – поинтересовалась Лариса небрежно.

– Да, эту мама из Нью-Йорка привезла, а так я обычно югославскую в «Березке» беру.

– Тебя пускают в «Березку»? – не поверила Лариса.

– Маме выдают чеки Внешторга, – пожала плечиком Ниночка и отлучилась в кухню.

– А в нашем городе «Ленинградская» продается, – сдавленно пробормотала Лариса вслед. – И то редко...

Она очень берегла свою тушь. К сожалению, ленинградские технологи тушь «химичили» только сухую. По негласному рецепту в нее рекомендовалось плюнуть и растереть, а для экономии и придания ресницам длины добавить пудру «Лебяжий пух».

Иза случайно поймала в зеркале отражение Ларисино лица: глаза знакомо сузились, рот скривила недобрая усмешка. Зарубежные фирмы раздосадовали Ларису умением делать косметику удобной для пользования. Но вот Лариса затрепетала ресницами-опахалами, наращенными фабрично-народным способом, и светски улыбнулась

зеркалу – понравилась себе назло нью-йоркам и «Березкам».

Внезапно кто-то громко заговорил:

– ...Участвуют в практических вопросах коммунистического строительства. На кафедре биологии разрабатываются методы защиты от вредителей хлебных запасов на складах.

Это Владислав включил Ниночкин телевизор. Лицо диктора волновалось из-за красочных полос светофильтров, как радужный пузырь в воде. Ксюша присела на край дивана под желтым абажуром торшера, осторожно потеснив круглолицую плюшевую обезьяну с улыбкой-оскалом до ушей. Ксюша не прочь была послушать, чем полезным занимаются кафедры Московского государственного университета. Ей все было интересно, что хоть как-нибудь, пусть лишь местом учебы касалось Патрика, но тут Тенгиз позвал всех в гостиную.

– Руки, – напомнила Лариса.

В ванной комнате холодно блестел голубоватый, будто подернутый вечерним инеем, кафель. Хорошо пахло апельсинами. Изе еще не доводилось нежиться в ванне, в теплой воде со взбитой пеной. Сколько помнила себя, мылась из цинковой шайки. Температура в общественной бане полярная – голова пухнет от жары, ноги коченеют на каменном полу. Поскользнешься – костей не соберешь. То ли дело плавать в реке. Живая речная вода смывает внешнюю грязь и внутреннюю...

Над столом гостиной сверкала трехступенчатая люстра. А стол!.. Сервированный по ресторанным правилам, он был из старинной жизни – той самой аристократической жизни, в которой навсегда остались атласные балы, пудренные плечи и лунное сияние морского жемчуга. В Изиной голове мелькнула мысль о метании какого-то бисера перед какими-то...

– О, как я люблю книгу Молоховец «Молодым хозяйкам»! – воскликнул Андрей. – Особенно то место, где фрикандо теленка перед приготовлением закапывают в яму на два аршина.

На двойных тарелках возвышались белоснежные конусы льняных салфеток, в длинных фужерах и вазочках непонятого назначения отсвечивали отраженные подвески люстры. Прелестная посуда придавала необычной еде изысканный вкус, и даже хлеб казался особенным. Бри – это сыр, напоминала Иза, а анчоусы, на слух обещавшие что-то плодоягодное, – рыбка, похожая на ленского тугуна. Балык – тоже рыбное изделие. По названию нетрудно было догадаться: «балык» и есть рыба якутски. Иза понемножку попробовала все, кроме лососевой икры. Прозрачные икринки болезненно напомнили вкрапленные в память янтарные бусы и мамины руки, перебирающие их с чуткостью зрячих

пальцев...

Немолодая женщина в белом фартуке принесла исходящее мясным парком горячее. Из присыпанных зеленью, по виду птичьих ляжек торчали кости, украшенные кружевными бумажками. Гости хором поздоровались с женщиной. Она коротко улыбнулась, кивнула им и вышла.

– А сказали, родителей не будет, – зашептала Ксюша, провожая женщину сочувственным взглядом. – Мать-то, поди, устала одна в кухне вожкаться. Мовет, помочь чего?

– Сиди, – прошипела Лариса.

Ксюша в смятении взялась левой рукой за кость с бумажкой. Собралась было отрезать кусочек мяса, как Лариса пихнула локтем в бок:

– Это котлета по-киевски! Ее сперва вилкой протыкают, чтоб масло вытекло, и вилку другую возьми, не рыбную.

Ксюша густо покраснела и отложила нож.

Сама Лариса ела мало и морщилась, словно выпила уксуса, хотя была голодна: днем девчонки не пообедали, надеясь на яства. Вскипел Ларисин разум, возмущенный тщеславной демонстрацией всяческого изобилия, и кость социальной несправедливости встала наконец поперек горла. Лариса очень не любила, когда кто-то выказывал свое превосходство над другими (если этот кто-то не был ею самой), поэтому в ней началась классовая борьба с Ниночкиным превосходством. Первой жертвой борьбы пал собственный аппетит, и Лариса злилась.

Иза, неприятно уязвленная нечаянным согласием с Ларисой в мыслях, в мыслях же с нею спорила, понимая, что роскошный «березкин» мир был для Ниночки естественным. Баловница родителей и судьбы не видела, не замечала ревнивой мнительности другого, менее обеспеченного существования.

Ребята болтали о джазе. Андрей говорил, что настоящий исполнитель, в совершенстве владеющий ритмом, вкладывает в эту свободную музыку свое видение. Владислав вальяжно, двумя пальцами, покрутил хрупкую ножку фужера:

– В «Коктейль-холле» неплохо играют джаз и песни из репертуара «Битлз». Мы с Тенгизом иногда позволяем себе посидеть в «Коктейле» за пуншем.

– Два раза были, когда разжились «манями», – уточнил Тенгиз.

Лариса встрепенулась в надежде поцапаться и спустить пыл застрявшей в горле борьбы. Назревший конфликт противоположностей рвался из нее наружу.

– На днях я был в МГУ на конкурсе «английских» групп, – сказал

Андрей. – Там многие подражали «Битлз».

– И что, все они, как эти жуки-навозники, орали – пусть Бетховен с Чайковским катятся вон?^[24] – голос Ларисы звенел от напряжения.

– Кухонная философия наших газет, – покровительственно улыбнулся Владислав. – У нас же, кого мы не понимаем, тот сам виноват.

Вначале парни без особого азарта, вперебивку, втянулись в спор, потом замолчали, не выдержав Ларисиново воинственного натиска. Ее несло, и несло быстро, без знаков препинания, а местами и без интервалов.

– ...У них дети зарабатывают мойкой машин! Они пропагандируют всеантисоветское потому что мечта там одна обогатиться они пудрят вам мозги хотят чтобы вы им уподобились их певцы-банкиры-гангстеры-фабриканты даже священники воспевают доллары и готовы торговать во всем со сцены телом-оружием-акциями-наркотиками чем только могут!

Поставив восклицательный знак, Лариса остановилась передохнуть.

– Проповедями еще, – подсказал Андрей смиренно.

– Да! А вы тащите сюда их идолов, называете их дурацкие вопли музыкой и платите за нее «мани-мани». – Лариса сложила губы бантиком, передразнивая сладкую улыбку Тенгиза.

Однокурсники знали, что Лариса, взбеленившись, скоро успокаивается, а гости из театрального смотрели на нее, открыв рты и вытаращив глаза.

– Мы выше их на голову! – торжествуя крикнула она. – По космосу, спорту, науке, образованию мы – первые!

– И даже в области балета...^[25] – напомнил Гусев.

Лариса отмахнулась:

– Империалисты грозят нам военными ракетами, забрасывают шпионов, лазают у нас, вынюхивают! Пауэрса^[26] забыли?! Из-за них Советский Союз вынужден открывать закрытые города с пропускной системой, как в тюрьме!

– Что значит «открывать закрытые»?

Лариса поняла свой промах и, обведя всех убийственным взглядом, заткнула рот кружком сервелата.

Неловкую паузу прервала Ниночка – поднялась из-за стола и, нервно цокнув о приотворенную дверь ухоженными ноготками, позвала:

– Марина!

Женщина не откликнулась, гудел какой-то прибор. Ниночка вышла, оставив распахнутой дверь.

– Кого кличет? – приглушенно спросила Ксюша.

– Прислугу, – злорадно пояснила Лариса.

– Прислугу?! А я думала, это мать... Почему без отчества-то?..

– Марина! Марина! – раздраженно вскричала Ниночка сквозь гул в коридорных дебрях, и гул прекратился. – Ты с ума сошла – «стиралку» включать?! У меня гости! Убери со стола для чая! Скорее, – потребовала она тоном ниже. – И не мельтеши.

– Я мельтешу? – донесся голос Марины-без-отчества.

Гости были не глухие и прекрасно слышали кухонную перебранку. Вернувшись через минуту, Ниночка скроила милую гримаску:

– В последнее время нам что-то не везет с домработницами. Ну, Марина хоть не вороватая... – и тотчас предложила: – Потанцуем? У меня новый диск Пресли!

– Извини, я, пожалуй, пойду, – с достоинством отказалась Лариса. – Источники до завтра надо повторить.

Из чувства противоречия Ниночкиному барству она теперь изо всех сил держала себя на высоте культуры.

– Ой, забыла! – подхватила Ксюша. – Мне ж полы мыть в конторе!

– А танцевать? – растерялась Ниночка. – И торт же еще не попробовали...

Губки на полудетском лице вспухли от расстройства. Иза и пожалела ее, и тоже собралась уйти. Стало почему-то неинтересно слушать новые записи короля рок-н-ролла. Не хотелось даже узнать, что такое цукаты. Вчера спорили с Ксюшей, Иза полагала, что цукаты – кусочки южного плода вроде неведомого авокадо, а Ксюша – что измельченные орехи.

Когда Ниночка пошла провожать Ларису с Ксюшей в прихожую, Иза собрала посуду со стола.

Кухня в сановой квартире была размером со спортзал, примерно в таком и проходили вечера в Изиной школе. Пришибленные перспективой шкафы с переливающимся голубым пластиком, стол со стульями и финский холодильник Rosenlew скромно примостились в глубине. Марина руками жамкала целлофановые пакеты в стоящей на табурете маленькой стиральной машине. Вблизи женщина оказалась вовсе не пожилой. Наверное, просто утомилась. Иза сложила посуду в раковину и сказала из вежливости, чтобы не молчать:

– Удобная машинка.

– Удобная, но шумит сильно, – отозвалась домработница. – Для носовых платков и другой мелочи. Одежду и постельное белье Тамара Евдокимовна в прачечную сдает.

«Тамара Евдокимовна – Ниночкина мама», – поняла Иза.

– Давайте я посуду помою?

– Не надо. У меня тут работа нетяжелая.
– Вы очень хорошо готовите, – похвалила Иза с робостью.
– Да не я это готовила. – Марина кисло улыбнулась. – Что-то со столовки по заказу привезли в судках, что-то дают в ихнем продуктовом магазине. Видишь, мешочки стираю, там съестное в такие ложат.
– В каком «ихнем» магазине?
– Будто не знаешь, – недоверчиво вздохнула Марина.
– У Ниночкиных родителей есть собственный магазин? – удивилась Иза.
– Не у одних Песковских. Все партийное начальство отоваривается по спискам в своих магазинах и столовых. Их «кишкоблудными» называют, не слыхала разве?
– Нет...
Голос Пресли лился из двери открытой Ниночкиной комнаты. Разветвленная труба коридора искажала звуки, делала их гудящими и сантехническими. Водопроводную тему разнообразили темпераментные вскрики Тенгиза.
– Иди, иди, – тыльной стороной пенной ладони Марина отерла пот со лба. – Обидно, что Нинка наорала на меня при посторонних, но она вообще-то не часто орет. Так-то будто не видит – есть я, нет, как на вещь смотрит. Зато Тамара Евдокимовна детворе моей посылает и в оплате не скупится... Иди, танцуй, а то мне же попадет.

Глава 10

Знак «Т»

В аллее Изу догнал Андрей. Был он в легкой куртке из болоньи – модной, хотя и неяркой, серой с белыми вставками и вязаными в резинку манжетами. Иза только что эту иностранную куртку на нем разглядела и вдруг подумала с машинальной неприязнью – стилига.
– Ты чего убежала?
– Не люблю танцевать на сытый желудок. Ты-то почему ушел?
– Без тебя стало скучно.
– А Ниночка?
– Ей не привыкать.
– Ты, оказывается, жестокий...
Они шли по затаенной весне. Березы стояли тихие, торжественные,

взволнованно вслушиваясь в брожение юных соков. В голубизне воздуха, процеженного смолистым дыханием набухших почек, витали зеленые грезы. А настроение противоречило чудесному дню. В голове толклись сумбурные мысли, вызванные Ниночкиной повелительностью и тем, что ненароком просочилось из слов Марины. Иза думала: вот Хрущев обещал приблизить коммунизм, потом Никиту Сергеевича сменил Леонид Ильич и не опроверг взятых обязательств. Отчего же тогда большая часть страны вынуждена мириться с неполноценностью жилья и быта в ожидании светлого будущего, в то время как меньшая часть не заморачивается никаким самоограничением? Меньшей уже хорошо. Даже продукты пакуются для нее в дефицитные целлофановые мешочки вместо коричневой технической бумаги, привычной в тех магазинах, что для всех. Мелочь, но показательная... Значит, в стране одинаковых возможностей такое возможно?

– Домработница Песковских сказала, что у партийного начальства есть специальные продуктовые магазины и столовые. Это правда?

– Не знала? Смешная! – засмеялся Андрей. – Вроде умная, а иногда, извини...

– Дура?

– Пещерная девушка. Вы с Ксюшей обе кроманьонки!

– Нет, мы не кроманьонки, – не обиделась и тоже засмеялась Иза. – Мы – культурные коровы...

– В прошлом году я был таким же наивным.

– Теперь не наивный?

– Теперь – нет.

– Потому что дружишь с Песковской?

– Я одинаково дружу с ней и с вами. Ты ошибаешься, если думаешь, что Ниночка – плохой человек. Она не плохая, просто избалованная. Но ты, должно быть, заметила – Ниночка меняется.

– Можно научиться сдерживать капризы и вести себя прилично. А совесть, Андрей? А уважение к людям... пожилым? Не поздно?

– С совестью у Ниночки, не поверишь, все в порядке. Только она глубоко. Душа ведь не тело, медленно просыпается. Я помогаю Валентину Марковичу в цирке и видел, как муштруют диких кошек.

– Дрессируешь?

– Воспитываю.

– Поддается?

– Эгоизм не успел огрубеть.

– А сказал – дружишь со всеми одинаково.

– Мне интересно наблюдать, что получается... Да, забыл спросить: почему ты связываешь потерю моей наивности с Ниночкой? – Андрей понял, что прозвучало двусмысленно, и смешливо поднял брови.

– Потому что ты раньше нас побывал в ее доме.

– Понятно. Тебя задела Книга о вкусной и недоступной пище и прочие радости жизни по спецпривилегиям.

Андрей рассказал, что, кроме отдельных от народа столовых и магазинов, люди высшего партийного ранга пользуются услугами закрытых поликлиник, больниц, санаториев, ателье; он и сам толком не разбирался в сложностях так называемых спецпривилегий, но был уверен, что в материальных притязаниях партийная власть мало чем отличается от буржуазной. Разницу Андрей видел во лжи. По его мнению, в отличие от дореволюционных правителей, не делавших секрета из средств личного обогащения, нынешние изо всех сил старались скрыть свои шкурные интересы.

Иза возразила, вспомнив социалистический постулат «от каждого по способностям, каждому – по труду». Если от него отталкиваться, то все правильно, ведь руководить огромной страной очень сложно, и руководители, между прочим, народом избраны. Невольно соглашаясь в уме с Андреем, Иза перечила ему из тех же двойственных соображений, которые охватили ее давеча в мысленном споре с Ларисой.

– Думаешь, «слуги народа» сплошь гении и пашут по двадцать четыре часа в сутки? – усмехнулся Андрей. – Страна, конечно, огромная, флагманов как будто не так уж много, и кормушка не резиновая. Но когда в теле заводятся паразиты, они размножаются. Они быстро нагледят и не считают циничными свои тайные пиры на фоне общей бедности. Народ и не подозревает, что тело государства болеет и рушится. Партийный аппарат перестал воплощать идею. Он спекулирует коммунизмом, чтобы люди поднимали трудовую сознательность и сдавали сообразительности досрочно. Волки сыты, овцы целы, страна растет и развивается, а заодно растут аппетиты волков вместе с ложью о светлом будущем. Ничем, никогда не могут быть оправданы обман и корысть... Кстати, Иза, и мы, культработники, как солдаты идеологического фронта, станем вдалбливать людям эту ложь и раздавать пустые обещания.

– Ты хочешь сказать, что коммунизма... не будет?

– При меркантильной власти он – утопия. – Андрей помолчал. – На воротах Бухенвальда был такой девиз: «Каждому свое». Нацисты взяли его из римского права. Девиз, если вдуматься, универсальный. Кесарю кесарево... Вот и здесь народу – одно, номенклатуре – другое.

– Ты повторяешь чьи-то чужие слова.

Андрей сделал рубящее движение рукой:

– Да, не я один считаю, что власть должна быть безгрешной. Понимаешь? Абсолютно! Всегда самая большая мечта у народа – справедливая власть. А такой, наверное, не бывает. Наверху только Бог.

– Говоришь, как верующий...

– Почему «как»? – улыбнулся Андрей. – Я – верующий.

– В Бога? – опешила Иза. – Шутишь!

– Нисколько. «Я верю в Бога моего не потому, что доказано мне бытие Его, что принужден к принятию Его, что гарантирован я залогами с небес, а потому, что люблю Его». Так писал русский философ Николай Бердяев. У Николая Александровича мне не все по душе, время было другое, и во многом он, очевидно, ошибался, но вот это убеждение я с ним полностью разделяю.

Андрей, кажется, поставил точку в разговоре. Они стояли близко друг к другу, в двух шагах.

...Всего два шага – пространство начала. Изиному сердцу вдруг стало тепло. Счастье не бывает холодным, оно заставляет горячую кровь течь по венам с напором весенних ручьев. В глазах Андрея вспыхивали искорки смеха.

Странное существо – человек: только что живо занимавший Изу политический спор внезапно потускнел и потерял смысл. С ней словно уже случилось подобное, очень важное, может, главное в жизни. Она вот так же смотрела Андрею в лицо, потом шагнула, и он шагнул... Это было как воспоминание о будущем, реальность перемешалась с фантазией. Но воображение решительнее действий, а попробуй сделать шаг настоящему!

Наведенные тонкими штрихами ветви деревьев кружились по краю колодезно-чистой глубины. Вверху выплелалось кольцо небесного гнезда. Иза почти чувствовала на своих губах твердые губы Андрея. Знала, что они твердые и одновременно упруго-мягкие, с запахом березового ветра. Знание пришло из наития, из той области чувств, где вселенная живет другой жизнью – невесомой, крепкой и нежной, как касания тугого крыла. Сейчас... Сейчас запрокинутое лицо опухнет теплым дыханием, глаза зажмурятся, и... Андрей отшатнулся, давя в себе возглас то ли досады, то ли испуга. На тропу легла посторонняя тень.

Еще не видя парторга, Иза поняла, что это он, и опустила голову. Борис Владимирович покачивался с носка на каблук. Потерянный Изин взгляд медленно поднялся от начищенных ботинок по обоюдоострым стрелкам

брючин, по глухой складке двубортного пальто с шеренгами больших пуговиц к синему треугольнику кашне в черных выпуклых мушках. Лицо Блохина под надвинутой на лоб представительской шляпой темно-серого фетра было лицом статуи. Командор...

– О чем беседуем, молодые люди? – спросил он без приветствия.

Голос, обычно сухой и ровный, неожиданно дрогнул, будто перетерся от скупости интонаций, и вынудил Бориса Владимировича влажно кашлянуть.

– Так, ни о чем, – сказал Андрей.

Иза запоздало поздоровалась.

Похоже, парторг шел за ними след в след, точно волк за добычей, и, наконец, настиг. Или задумался и не заметил? Но он и тогда мог бы развернуться назад по тропе либо пройти мимо, как сделал бы любой другой человек. Зачем остановился? Ведь ничего не стряслось ни с ним, ни с ними. Было предчувствие поцелуя – вот и все. А если бы студенты и поцеловались, есть ли до этого дело прохожему, пусть даже парторгу?

Холодные глаза были полны презрения, словно уличили Изу в чем-то постыдном. Минуту она ощущала безотчетный ужас, как грешная Дона Анна, к которой неумолимым возмездием притопал каменный гость. По истечении невыносимой минуты Борис Владимирович перестал покачиваться.

– Извините, что помешал вашему общению, – произнес он прежним голосом, не расцвеченным никакими эмоциями. – Всего доброго.

У серой фигуры были неестественно широкие плечи. Портные индпошива не пожалели ваты для подплечников пальто. Спина Бориса Владимировича напоминала дорожный знак «Т». Ноги Изы отказались идти в сторону тупика.

– Мне в магазин. – Она свернула на поперечную тропу.

Глава 11

Болтливый джинн

Борьба комсомольской гордости с обывательской завистью вызвала в Ларисе эффект теплого шампанского, и закисшие продукты брожения пробили брешь в ее вынужденной скрытности.

За хранение государственных тайн наград не дают. Подразумевается, что сознательный человек должен хранить их безвозмездно, из

соображений моральной устойчивости и принципов советского воспитания. Болтать, конечно – врагу помогать, но ведь человек – не бутылка для закупорки джиннов. Запечатывание в голове неусидчивых тайн не обходится без ущерба для характера. Ларисе стало жаль свой характер за ничем не поощряемое благородство. Растрепанная и несчастная, сидела она в углу кровати, обняв колени. Угрюмо смотрела на карту СССР, в одну точку с предположительным кружочком безымянного города в районе Сибири и жаждала выплеснуть часть долго сдерживаемых эмоций на первого, кто подвернется. Подвернувшийся послушал бы, посочувствовал или просто скроил соболезнующую мину. Все равно, лишь бы послушал. И пошел бы дальше, стряхнув с себя по пути чужое горе. А рассказчица, облегчив душу, расслабила бы настроение, шатко балансирующее над мерклой топью. Не вечно же быть на взводе...

Лариса раздумывала, не позвать ли кого-нибудь из соседок попить чаю, но начинать откровения с порога неприлично, а ей так и хотелось: бух – и рассказ. С порога. Невмоготу было играть прелюдию к исповедальному акту. Поэтому Иза пришла как раз вовремя. Лариса обрадовалась, схватила ее за руку:

– Годи... Ось, слухай, бо сил нема терпеть...

Иза присела в изголовье кровати, и перебродивший джинн полез из Ларисы вместе со слезами, соплями и всхлипами. Это не она, это он, отрывистый и торопливый, зачастил тарабарскую скороговорку на русско-украинском языке, пропуская слоги и шипя в тех местах, где пузырилась застарелая боль.

...Никто в Москве и во всей стране не знал, что произошло в Киеве четыре года назад. Про аварии и катастрофы, которые случаются из-за халатного отношения руководства к опасным объектам, нельзя писать в газетах и вещать по радио, чтобы не подрывать в народе веру в счастливую социалистическую действительность.

В тот ветреный мартовский день мать уехала на завод засветло. В понедельник на ее заводе читали политинформацию, и опаздывать было нельзя. Внезапно сосед встревоженным голосом прокричал в дверь отцу, что где-то прорвало водопроводную трубу, на дороге полно воды, и движение встало. Наспех одетые мужчины выбежали из общежития.

Лариса гладила школьный фартук, когда с улицы послышался странный нарастающий гул. Глянув в окно, она застыла с горячим утюгом в руках. Над городом в продутое до белизны небо поднимался сказочный монстр! Его хищно выгнутая драконья шея с пенной дырчатой головой выбрасывалась кверху и рушилась, растекаясь тяжелой лавой. Ползучее

тело выворачивало с корнями дерева, накрывало собой дома, улицы, все живое и неживое. Оно двигалось с яростной быстротой, а за отрогами безостановочно лепились, грузно низвергались с возвышенности и устремлялись к городу новые и новые валы.

Подхватив пальто, перепрыгивая через две ступени дрожащей лестницы, Лариса помчалась к выходу, где шумно и бестолково толкались соседи. Кто-то с надрывом вопил: «Назад, назад!» Несколько мужчин из всех сил тормозили толпу у двери. Но вот дом явственно пошатнулся, и людей поддало обратно к лестнице. Неудержимая прорва, выдавив дверь, хлынула внутрь, до потолка брызжа ошметками ржавой грязи.

Лариса не помнила, как ее на тугом гребне вынесло на второй этаж в гуще кричащей толпы. Позади хлестали по ступеням прутья скачущего потока. Соседи в панике полезли вверх по чердачной лестнице. «Утюг, – вспомнила Лариса. – Я его не выключила!»

В комнате вихрилась штукатурная пыль с блестками стекла, вышибленная рама валялась на полу в грудe потолочного сыпуна, оконных осколков и черепков попадавшей посуды; ветер рвал пестрые внутренности раскрытого шифоньера. До розетки Лариса не добралась: в квадрате окна алым заревом вспыхнула подстанция. Толстые языки грязевых волн, взбухая, как на дрожжах, продолжали накатывать с неумолимым напором, а впереди, распластав в воздухе мышастые крылья, с прицелом на трамвайное депо летел самый чудовищный вал! Подрубленное страшным ударом, четырехэтажное здание взвилось на глазах Ларисы и рассыпалось, как карточный домик. Она снова метнулась в коридор. Там уже трещали стены, и в расползающиеся щели просачивалась мутная жидкость.

Люди на крыше плакали и молились. Сходила с ума соседка. Всего двадцать минут назад она отвела маленькую дочь в ясельную группу. За это время потоп накрыл детский сад со всем, что в нем было. Жирная рыжая грязь на том месте кипела вокруг измятого конька крыши... Без остановки выкрикивая имя ребенка, соседка с безумной силой выдиралась из рук мужчин. Они боролись с несчастной недолго. Кто-то из них, ко всеобщему облегчению, догадался стукнуть ее кулаком по голове, и женщина потеряла сознание.

Рядом с домом выныривали деревья и части снесенных строений, но бурлящая лавина тщетно пыталась протаранить ими стены, повернутые, как водорез, углом к нисходящим потокам. Огибая стойкое строение, тяжелая масса перла дальше...

Только через два часа селевые наплывы начали спадать. Показалось слоновье стадо трамвайного парка. По обочинам обнажились перевернутые

автомобили. На дороге чернел остов сгоревшего автобуса с обугленными пассажирами. Бурая трясина оседала, булькая и тучно подрагивая, словно насытилась и решила отдохнуть. В ней среди обтекших густеющей жижей обломков плавали трупы захлебнувшихся людей. Покружил и улетел вертолет, прибыли военные вездеходы. У входа в дом всплыло лицом вниз чье-то тело. Еще до того, как солдаты подтолкнули его багром к полузатопленной двери, Лариса поняла, кому оно принадлежит.

– Теперь папа часто в кошмарах снится – глаза и рот забиты грязью... Ты не представляешь, что я пережила, Иза!..

Бедствие случилось из-за прорыва дамбы. Земляная преона перекрывала Бабий Яр, куда кирпичные заводы сливали отходы производства. На месте выровненных оврагов руководство города намеревалось разбить Парк культуры и отдыха с танцплощадкой и аттракционами. Глубокие почвы яра были хорошо удобрены для посадки деревьев кровью расстрелянных фашистами евреев и военнопленных. «Сраму не имут» – сказано не о мертвых...

Междугородняя связь не работала. Прекратилась подача телеграмм. Город на время закрыли, злополучный район оцепили войска. Экскаваторы разломали слои окаменевшего, полного трупов грунта. Очистка оползня завершилась в полторы недели. Вежливые мужчины в штатской одежде, но с офицерской выправкой обошли учреждения, где временно обитали потерпевшие катастрофу. Тогда-то Лариса и подписала свой первый документ о неразглашении.

Счет заживо погребенным, по народным версиям, шел от десятков сотен до нескольких тысяч. Никто так и не узнал, сколько их было на самом деле. В киевской «вечерке» опубликовали скромное соболезнование. Городское радио известило о пятидесяти четырех погибших.

– Неправда, – плакала Лариса. – Я сама видела – их было больше. Даже в садике детей было больше!

Спустя год мать познакомилась с человеком из военного ведомства и вышла за него замуж. Семья переехала в город без названия.

– Знала бы ты, как я его ненавижу! – судорожно вздохнула Лариса.

– Отчима?..

– Да не отчима. Он нормально ко мне относится. Маму любит, сына родили – братишку моего... Я город ненавижу.

– А осенью хвалила...

– Хвалила, як же! – с горьким сарказмом вскрикнула Лариса, издав нервный смешок. – А ты б что делала, если бы приказали молчать?!

Она задыхалась в образцовом городе будущего. Его границы опутывала

колючая проволока. Никто не входил и не выходил из «почтового ящика» без подписки и разрешения. К пропускной зоне вела засекреченная железнодорожная ветка, с потаенного аэродрома взлетали спецрейсовые самолеты. Возвращаться туда после окончания института Лариса не собиралась. Ее не привлекало жалкое прозябание, которое мать с отчимом полагали жизнью. Разве это жизнь – казематная скука, разбавленная радостями снабжения, и высокая зарплата за счет вреда здоровью? В Ларисиних дальнейших планах не подразумевались ни тьмутаракань, ни худруковские гроши. Виды на жительство (не коммунальное, разумеется) и карьеру (партийную) Лариса связывала с Москвой. Либо на худой конец с Ленинградом. Хороший пост в партии – это квартира, деньги, распределитель и, как выяснилось сегодня, валютные чеки на отоварку в «Березке» импортными и качественными советскими вещами.

– Я знаю, ты не трепло. Ксюше не говори... Ладно?

Лариса села. Заплаканное лицо чем-то вдохновилось, вишневые глаза влажно сверкнули. Резким движением смахнула со щеки последнюю слезу.

– Считай, что ничего не слышала. Забудь.

Чужая боль всколыхнула в Изе свою. Люди – разные. Она тоже несла боль тяжело, но никого ею не грузила, а Лариса со своей не могла справиться одна. Возможно, страсть к обнажению сокровенных мыслей была у нее душевным недугом...

Глава 12

Позиция невмешательства

Через несколько дней Лариса сообщила:

– Борис Владимирович велел тебе подойти к нему в кабинет.

– Зачем?

– Понятия не имею, – раздраженно пожала Лариса плечом.

Теряясь в догадках, Иза покорно поплелась по красной дорожке в торец коридора, где располагался кабинет. Постучала в дверь.

– Войдите, – послышался бесстрастный голос.

Помещение, обшитое лакированной мебельной фанерой, было просторнее, чем ожидалось. Служило, вероятно, залом для проведения собраний. Борис Владимирович сидел в глубине за письменным столом, венчающим поперек, наподобие верхушки буквы «т», длинный стол посередине. Стену над креслом украшала галерея «парадных» портретов,

рядом в угловом кронштейне приткнулось знамя. На полках книжных шкафов белели ряды аккуратно пронумерованных папок. В точности таким же, вплоть до темно-зеленых штор и вереницы стульев под окнами, помнился Изе кабинет секретаря Якутского горкома комсомола, словно апартаменты партийного начальства обставлялись по всей стране в соответствии со специальной инструкцией.

– Садитесь, – кивнул Борис Владимирович на ближний стул, и у Изы непроизвольно напряглись мышцы. На столе перед парторгом лежала ее автобиография, которую она сдала летом в приемную комиссию с остальными документами. Загадочно ухмыляясь и отчеканивая слоги, он произнес:

– И-золь-да Хаи-мовна Гот-либ. Странное сочетание.

– Мне оно не кажется странным.

– Гм-м-м... Вы – дочь спецпереселенцев?

Иза в замешательстве устала в окно. Он уже спрашивал ее об этом при поступлении в институт.

– Да.

– Родители живы?

– Нет. – В переносе защищало от подкативших слез. – Там же написано, что я воспитывалась в детдоме.

– Искренне вам сочувствую, – скорбно вздохнул Борис Владимирович. – Детям иногда приходится платить за ошибки родителей... И тем более, Изольда Хаимовна, тем более мне необходимо побеседовать с вами.

В окне сквозь подсиненное сумерками стекло проступили мамины понятливые глаза. «...Мы с папой не виноваты перед теми, кто сделал нас несвободными. Мы никого не обманывали, не предавали и ни к кому не испытывали вражды. Ты мне веришь?» В маленьком салто памяти мелькнула белая крысья голова, отсвечивающие красным глазки и оскал острозубой пасти...

Старшекурсники откуда-то вызнали, что раньше Блохин работал в КГБ. Почему его перевели в институт, история умалчивала. Наверное, человека со специфическим опытом работы сочли полезным в учебном заведении, где вызревает будущее коммунистической идеологии и культуры.

– Наша организация несет большую ответственность за морально-политический облик каждого студента. Поэтому я обязан предупредить вас, Изольда: как дочери переселенцев, вам надо быть осторожнее в дружбе с некоторыми людьми.

Борис Владимирович повременил и продолжил, не называя имен:

– Кое-кто из ваших товарищей заблуждается. Интересуется вещами, которые противоречат званию комсомольца... Не находите?

Он посмотрел выжидающе. Складки, пролегли от носа к углам его скользких губ, подбородок выступил вперед. С таким лицом стоят на остановке в ожидании запаздывающего автобуса. Красноречивая мимика почему-то не сообщила выразительности голосу.

– Много сил потратили советские воспитатели, чтобы вырастить вас достойным членом нашего общества. С далекого Севера сюда приехала хорошая, честная девушка. Так по крайней мере мы полагали вначале. Однако порядочность ваша оказалась неглубокой, а характер – ветреным и неустойчивым. Вы легко поддались пагубным влияниям и не заметили, как изменились под их воздействием. Ошибочность вашего выбора становится несомненной. Тяжело смотреть на то, во что вы превращаетесь, может быть, сами того не желая.

– Во что я превращаюсь?

– В особу, чье формалистское отношение к общественным мнениям начинает меня удивлять. Я хочу вам добра, а вы держите какую-то упрямую дистанцию, будто я вам... м-м-м... враг. Не хотите поговорить со мной... – Борис Владимирович пожевал губами, подыскивая нужные слова, – ...о причинах ваших нездоровых на сегодняшний день мировоззрений... О своих так называемых друзьях.

– Так называемых?

– Да. По нашим наблюдениям, вы принимаете за настоящую дружбу поверхностное приятельство с людьми, которые используют вас в своих интересах, либо собираются это сделать. Вам известно, например, что Андрей Гусев посещает церковные службы?

– Нет...

– Вы знаете, какие намерения связывает Ксения Степанцова со студентом Московского госуниверситета Патриком Кэролайном?

– Не знаю.

Борис Владимирович сокрушенно покачал головой:

– Вот видите. Выходит, они кое-что от вас скрывают. Тем не менее подрывная работа в вашем отношении ведется ими успешно. «Друзья» без труда увлекли вас джазом.

– Что в этом плохого?

– Ну-ну, не стройте из себя невинную овечку. Эта музыка чужда восприятию советских людей и считается уродливым явлением эстрады во многих странах. Очень жаль, что сын уважаемого кубинского революционера, коммуниста, поклоняется джазу, но в их стране другая

культура, совершенно не сравнимая с нашей. К тому же Кэрролайн – студент не нашего вуза. А как понять комсомолку Ксению Степанцову? Отчего, скажите мне, ее нежданно-негаданно обуяла тяга к концертному пению джазовых импровизаций? Что привело к иностранной музыке простую деревенскую девушку – праздное любопытство, обычное легкомыслие? Или Степанцова вовсе не так проста и преследует неведомую нам тайную цель?

Парторг забыл, что несколько месяцев назад сам с удовольствием слушал и хвалил чуждую музыку. Уставился на Изу с яростным упреком, будто обвиняя ее в пособничестве государственной измене. Ненависть еще сильнее выбелила дымчатые глаза, жилы на курьей шее взбухли от натуги сдержанного гнева.

– Неужели вас ни разу не потревожила мысль о подозрительности поведения подруги? Между прочим, не столь дальние родственники Ксении сбежали от правосудия советской власти. Живут и здравствуют за рубежом. Она рассказывала вам об этом?

– Родственники Ксюши уехали туда давно, до революции...

– Действительно, сектанты Степанцовы имели разногласия еще с дореволюционной законностью. Значит, Ксения ими гордится?

– Нет, нет, она не... говорила, – забормотала Иза в ужасе.

– А вы? – голос ее мучителя внезапно пресекался и завибрировал. – Тоже мечтаете жить за границей? Спите и видите себя в объятиях какого-нибудь дельца, крeza, финансового воротилы? Он вас целует, трогает вас, вам это приятно...

Борис Владимирович прижал ладони к багровеющим щекам: левую задергал нервный тик. Угол рта задрался, обнажив сбоку сталь фиксы и потемневшую десну, в крыльях раздутых ноздрей резко проявилась едва подавляемая злоба.

Иза не смотрела в льдистые глаза. Они принадлежали хищнику.

– Вы! Вы! – Блохин привстал, крича и прыская слюной. – Та, кого я считал непорочной, как дитя! Вы без стыда целуетесь с мальчишками прямо на улице, при всех, на ходу! Что вы со мной делаете, Сулами... Изольда?!

Повеяло свиным душком парторговского пота. Близкий то ли к обмороку, то ли к апоплексическому удару, Борис Владимирович до полусмерти перепугал собеседницу. Почудилось, сейчас ринется, начнет рвать, кусать, душить... Иза инстинктивно откинулась к спинке стула, прикрыла локтем лицо.

Движение девушки, вызванное его припадком, отрезвило взопревшего

от разноречивых чувств Блохина.

– Простите, – сдавленно выдохнул он и рухнул в кресло.

Сумасшедший? Иза готова была поверить. С первого дня встречи Борис Владимирович следил за ней с маниакальной настойчивостью, а сегодня выяснилось, что он держит под колпаком и ее окружение. Иза чувствовала свою незащищенность и слабость, как если бы парторг оказался упырем из рассказа Алексея Константиновича Толстого и пил из нее кровь.

В воздухе медленно рассеивались свинячий дух, выброс звериного тока и адреналин. Багровость сходила со щек хозяина кабинета, носовые складки устало обтекли края вспухших губ. Борис Владимирович пришел в себя.

– Сложно сохранять благодушие, когда сознательные комсомольцы портятся на глазах, – прежним черствым голосом объяснил он свое поведение, сосредоточенно перекладывая на столе стопки бумаг. – Не смею вас больше задерживать. Но предупреждаю: если кто-нибудь попытается вовлечь вас в антинародную деятельность, в чем бы она ни выражалась, вы обязаны незамедлительно сообщить об этом мне. Политическое состояние студентов факультета культпросветработы должно быть идеальным. Если же вы примете позицию невмешательства и предпочтете соглашаться с вредоносной пропагандой, ваша дальнейшая учеба в этом институте будет поставлена под сомнение.

Иза молча встала и повернулась к двери. Холодный взгляд буравил ей спину.

– До свидания, Изольда. Надеюсь, вы понимаете, что наш разговор был конфиденциальным.

Буйный приступ Бориса Владимировича, странные его слова вызвали в Изе расплывчатое ощущение разлитой кругом угрозы. Так было в детстве, когда Изочке впервые открылась причина маминой обособленности, напоминающей надменность. Теперь все чаще мерещилось, что воздух заряжен нечеловеческим током парторга. Иза задыхалась в этом воздухе, как Лариса в образцовом городе, окутанном колючей проволокой.

В голове бурлила смесь обиды, страха, безответных вопросов – точно уксуса капнули в ложку соды. Появилась привычка настороженно осматриваться на людях – Иза чувствовала присутствие Блохина, еще не видя его. Пронзительные глаза действовали на нее магнетически. Как-то раз она наткнулась на них, обернувшись к гардеробному зеркалу. Борис Владимирович усмехнулся и там, в отражении, приподнял в знак приветствия шляпу.

Иза закрыла глаза: «Меня здесь нет. Не вижу, не слышу». Этому

приему самоуспокоения научил маленькую Изочку дядя Паша. Наверное, ему была знакома слепая «позиция невмешательства».

Глава 13

Дамба

У каждого человека есть мысли ни с кем не делимые. Нормальные люди обычно раскрывают свои секреты из потребности в понимании, оправдании или жалости. Ларису секреты распирали независимо ни от чего, без оглядки на будущее, и прорывались стихийно, неукротимо, как воды из сломленной дамбы. Пароксизмы болтливости возникали независимо от места и часов действия, требуя немедленного освобождения. Очередной словесный рецидив нашел на нее во время общекурсовой лекции по научному атеизму. Лариса обреченно покрутила головой в поисках потенциального слушателя. В актовом зале, где проводилась лекция, ступенью ниже сидела Ниночка и прилежно конспектировала речь преподавателя. Боязнь вылететь из института и, как следствие, крушение планов, связанных с Гусевым, привели-таки несознательную Ниночку к смирению и учебе.

Лариса горько заплакала про себя, слыша запуск взрывного механизма. Слова подкатывали ко рту кислой изжогой, ими тошнило, будто Лариса переела сала. Если сейчас не сблевать, речевая рвота встанет колом в горле и просто задушит. Немного утешила мысль, что Ниночка живет в том мире, в котором Ларисе предстоит жить в недалеком будущем, поэтому должна понять... простить... Да конечно поймет! А прощать, может, и не за что. Лариса чуть помешкала, нагнулась и зашептала Песковской в ухо...

Ниночка засомневалась:

– Тебе поручили партийное задание? Кто поручил? Блошка?! Да ну!

Ниночкино недоверие показалось Ларисе оскорбительным. Разговорный зуд мгновенно расчесал и распалил ее язык до предела каления. Она уже не способна была остановиться.

Вначале Ларисин горячечный шепот на фоне атеистической философии почудился Ниночке бредом. Вслушавшись, она напряглась. А Ларису растащило не на шутку. Фраза за фразой оголилась тайна, оберегаемая ею всю зиму и до сих пор. Под учащенное тиканье неотвратимых секунд Лариса в истерическом раже признавалась, как записывала Ксюшины простодушные обмолвки, как подслушивала и подсматривала за друзьями, собирала сплетни о них. И как относилась подробные записи парторгу. Именно так. По его заданию.

Лариса отчаянно надеялась, что Ниночка, будучи дочерью управленцев – ответственных лиц! – увидит в ее искренности отблеск маленького героизма. Разве абсолютная открытость не бесстрашна? Мысль о своем чистосердечии вселила в Ларису уверенность: она сделала выбор! Нечаянный рассказ исполнился острого смысла, а чувство вины притупилось.

Ой, да перед кем она виновата? В чем? В том, что борется с ядовитой шелухой, мешающей друзьям быть добросовестными комсомольцами? Ах, способ непригляден?! А какой еще есть? Лариса честно их предупреждала. Указывала на манипуляции сознанием советских людей со стороны запрещенных поэтов, развратной музыки, боролась с заблуждениями... говорила об этом в лицо!

Лариса одновременно гордилась своей правдивостью и холодела от примет Ниночкиной неприязни. Не по собственной инициативе она пришла к Борису Владимировичу, сам вызвал и расспросил, а потом предложил понаблюдать за группой. Да, не отказалась. Почему? Чтобы предотвратить худшие ошибки друзей.

На лице слушательницы застыло похоронное выражение. До Ларисы наконец дошло: ее непритворная откровенность оценена неверно, и каждое слово падает горстью земли над какими бы то ни было добрыми отношениями. Глаза Ниночки ответили на Ларисину честность таким же честным омерзением.

– Тебе не стыдно было писать на ребят «телеги»?

– Иди на фиг, – взвизгнула Лариса, чуть не плача, и преподаватель на миг недоуменно прервал речи о массовом истреблении ведьм германскими князьями-епископами.

Лариса бесхитростно доверила тайну совсем не тому человеку! Все погибло из-за глупой, изнеженной, влюбленной в Гусева Песковской. Ощущая аварийную непоправимость произошедшего, Лариса думала, что сейчас у нее разорвется сердце.

Возмездия не пришлось долго ждать. Ниночка не вняла просьбе хранить партийный секрет. Сразу поставив точку над *i*, заявила, что в перерыве выложит товарищам эту зеницу ока.

Вопреки Ларисиним опасениям, однокурсники не заклеили доносчицу презрением и бойкотом. Курс был безмятежен. Ниночкино известие ограничилось узким кругом непосредственных жертв. Если бы компания устроила суровые разборки, Ларисе бы полегчало. Друзья поступили хуже: сделали вид, что ничего не случилось. Одна Ниночка не мудрствуя лукаво начала игнорировать Ларисино существование, как до

дружбы... Впрочем, была ли дружба и стоило ли дружить с сомнительными людьми?

Привычная к слежке в любых обстоятельствах, Лариса заметила: Гусев в ее присутствии стал осторожнее относиться к своим словам. Это он-то, испорченный насквозь! Ксюша, баптистка, успела побывать замужем за дезертиром, прилипла к иностранцу с мечтой рвануть за рубеж, а тут огорченно отводила глаза – осуждала, осуждала! Зная о трагедии в киевской Куреневке, Иза явно сочувствовала. Непрошенные ее попытки оправдать и простить были невыносимее всего при том, что Лариса давно догадалась: Иза имеет тайные связи с цыганами. Не зря же говорила о чем-то на рынке с цыганкой на их языке. Может, она сама цыганка? А еврейкой притворяется из-за фамилии. Лариса, кстати, не сказала об этом Борису Владимировичу. Иза прятала драгоценности – золотой кулон, роскошные серебряные серьги, чистила их зубным порошком. Не ворованные ли? А деньги у детдомовки? Действительно ли материнское наследство? Мать-то где их взяла? Большая пачка была и вдруг как будто исчезла...

Лариса терзалась. Промучилась с неделю, нашла комнату у частницы и переехала из общежития.

...Производственные кирпичные отходы, прорвавшие дамбу Бабьего Яра, убили многих. Лариса осталась жива и здорова. Снаружи увечье не всегда видно. В первый раз Ларису ранило, когда она увидела в селе труп отца, которого очень любила. Во второй – когда осознала, что жизнь в стране недорогая. В буквальном смысле недорогая: папина жизнь была оценена в сто тридцать рублей. За потерю кормильца осиротевшей семье выдали единовременное пособие – тридцать рублей и предложили сто кредита.

«Простые люди для них – дерьмо на лопате», – вздохнула мать.

«Для кого?» – удивилась Лариса.

Мать сказала – для муниципалитета, однако дочь поняла: в горестно ропщущие слова вложено нечто большее. В трамвайном депо отец был среди водителей на хорошем счету, и, если за его жизнь муниципалитет дал так мало, значит, незначительная жизнь школьницы Ларисы стоила сущие копейки. Дешевизна ЧЕЛОВЕКА потрясла ее душу до основания.

Отец сперва мечтал о квартире, хотел забрать бабушку из деревни, но квартирная очередь вечно отодвигалась то из-за многодетных, то у кого-то тяжело заболел ребенок. Благополучная во всех отношениях семья могла подождать. Мама вынудила отца сходить к большому городскому начальнику, немного знакомому ему по фронту. Отец потом ругал маму – секретарша в приемной непустила просителя даже на порог. Лариса

узнала, что загадка: «Не лает, не кусает, а в дверь не пускает» вовсе не о замке на дверях. Загадка о секретаршах.

Отец начал мечтать о собственном клочке земли с домом и садом и большую часть своей зарплаты откладывал на сберкнижку. По отцовским расчетам, через восемь лет семья сумела бы приобрести приличный дом и стала бы копить на машину. Ларисе строго-настрого запретили рассказывать подружкам о будущей частной собственности.

«Почему?»

«Потому что твои подружки разболтают мамам и папам, те – другим, и слух дойдет до моей работы. Люди скажут, что я – мещанин. Перестанут меня уважать, – ответил отец. Он стыдился своей маленькой мечты. Порицал какого-то начальника, который построил себе дачу за счет государства: – А нам твердит: «Нет слова «хочу», есть слово «обязан».

На трудовые сбережения отца мама украдкой исхитрилась справиться по нему поминки в отчищенном, отмытом от дикой грязи общежитии, хотя поминать новых жертв Бабьего Яра, как предупредил участковый милиционер, горсовет запретил. Коллеги говорили о прекрасном человеке, работнике и семьянине. Лариса приглядывалась к ним и думала, во сколько бы их оценили. Кто-то через третьи уши слышал, будто отец пытался спасти школьника. Папу называли героем, а Лариса потихоньку на него обижалась. Вместо того чтобы бежать к родной дочери, спасти ее, жить и работать дальше для исполнения мечты, он зачем-то нырнул в топь за чужим ребенком. Мог бы подать руку, палку – нет, полез сам! И оба погибли бесславно и бесполезно.

В безымянном городе, куда отчим перевез семью из Киева, люди по секретным причинам умирали чаще, чем в городах с названиями. Располагая сведениями о сравнительной статистике из неведомых закрытых источников, обитатели «ящика» тем не менее не торопились бежать из колючего оцепления во внешний мир. Жили меньше, зато по Ленину: «Лучше меньше, да лучше». Отчима здесь повысили в звании и положили ему двойной оклад.

С первой полочки отчим купил холодильник. За сто тридцать рублей... Лариса подойти не могла к холодильнику без того, чтобы не вспомнить отца и цену его жизни.

Поскольку стоимость водителя трамвая была теперь известна, стало любопытно, по каким денежным ставкам могут быть определены люди других специальностей. Лариса принялась вычислять приблизительный человеческий прейскуртант с учетом профессий и трудовых навыков. Пульсом в висках стучали костяшки счетов: сколько стоят сотрудники

отчима: в процентах? в розницу? оптом?..

Исследование оказалось увлекательным и выявило, что труд мало влияет на зажиточность работника. Иногда цена должности человека значительно превышала его деловые качества. Лариса обнаружила, что высокооплачиваемые посты занимают люди непременно партийные. Они строят себе дачи за государственный счет. Они сами оцениваются в повышенных баллах, даже если им не соответствуют. Способности управления народом находятся вне общепринятых представлений о талантах. Этот дар не врожденный, как, например, голос у певца, его можно развить самому и довести до высокой степени руководительского искусства.

Отчим сказал о своем начальнике: «Умеет жить, гад, ему мотоцикл разбить – как за хлебом сходить. Всегда в дамках... Вот счастливый человек!» Сказал и громко сглотнул слюну. «Завидует», – поняла Лариса. У отчима была мечта, похожая на отцовскую: когда-нибудь купить дом с садом на юге, поэтому он тоже копил деньги. Но отец этого стеснялся, а отчим – нет и не обвинял никого ни в глупости руководства, ни в присвоении народных денег. Перед ним заискивали люди рангом ниже, он заискивал перед теми, кто был выше чином по принятому круговороту бухгалтерских отношений в человеческой природе.

Власть и деньги – близнецы-братья. Кому-то – талант художника, кому-то – состоятельный жизненный курс. Не даром, между прочим, доставшийся – выстраданный, выпестованный собственным усердием, со скрупулезным взвешиванием унций неосторожно стремящихся к мечтам желаний. И это было справедливо. Каждому в конце концов по своим способностям.

Мало-помалу Лариса полюбила счет. Цены в магазине стали для нее как песня. Правда, в математике почему-то звезд с неба не хватало и поступать решила на клубный факультет, где учиться, по ее разумению, было легче. Заполняла анкету и злилась. В родительской графе хотелось написать честно: «Отец погиб при спасении школьника во время прорыва дамбы в Бабьем Яре». И стоимость отца... О нет. Лариса не собиралась повторять его ошибок. Она – не дерьмо на лопате. Она мечтала вырастить в себе административный талант и взлететь над яром. Чому я нэ сокил? Не больно-то сложно проявлять себя морально устойчивой, инициативной и верной коммунистическим идеалам: партия сказала – надо, комсомол ответил – есть. Лариса постарается сделать все возможное и невозможное, чтобы, начав с нижних партийных эшелонов, вознестись в высокие сферы. Повезет с питательной средой – так взвьется и в стратосферы, близкие к

небожителям, как мать Ниночки. В «предбаннике», приемной Ларисы, тоже будет сидеть секретарь. Не секретарша, а именно секретарь, молодой и симпатичный, из той же загадки – не лает, не кусает, но...

Переезд из общежития подействовал на Ларису умиротворяюще. Повезло с хозяйкой. Одинокую старушку осчастливили ежевечерние беседы за чайком с бойкой на язык жиличкой. Лариса лакомялась земляничным вареньем к чайку и болтала, болтала просто так, ни о чем – расчесывала, поглаживала, успокаивала джинна.

Из последней честной исповеди, растроченной перед высокомерной Песковской по-дурацки, с ущербом, Лариса все-таки извлекла выгоду: окрепла в мысли, что победила в себе слабость сомневающегося человека и обрела силу правого. Душа-подранок понемногу твердела, как твердеет на ветру кирпичная глина. Переходила от глинобитного свойства к сталелитейному, напитывалась гордостью крепкой и неуязвимой. Гордость, казалось, можно не только пощупать, но и понюхать, чтобы убедиться – ничем не пахнет. Как Веспасиановы деньги. Досадная течь затягивалась, обещая со временем наглухо закрыть джинна. Строилась новая дамба.

Время – лучший утешитель и адвокат. Лариса перестала стесняться причастности к борьбе с врагами светлого будущего. Это было ее будущее, в котором она собиралась жить долго и счастливо по высшей ценовой шкале.

Часть третья

Куриный бог

Глава 1

Только пусто на земле...

Патриархальные улицы в центре Москвы постепенно уходили в фотографическое прошлое. Вместо старых домов, соратников царских столетий, поднимались современные здания из стекла и бетона. А какое могучее строительство шло на пригородных территориях! Столица раздавалась с боков, только успевай оглядываться. Индустриальные окраины расплозились кварталами, сплошь заставленными коробками пятиэтажек. Народ переселялся из коммуналок и промозглых подвалов в отдельные квартиры, не веря счастью частной жизни, где даже неистребимые тараканы – достояние собственной кухни. Навсегда оставались в прежнем быту треснутые ванны с колтунами чьих-нибудь спорных волос, снова забивших слив; велосипеды и старые лыжи, висящие на стенах темных коридоров над пыльными гребнями дореволюционных сундуков. Теперь соседи встречались лишь во дворах и подъездах, непривычно отделенные друг от друга железобетонными стенами, и с полным правом могли захламлять личные балконы.

Типовые «черемушкинские» микрорайоны, выросшие во всех городах, вобрали в себя бесприютную треть страны. Такого блеска и величия общественных новоселий не видела ни одна эпоха. Домостроительные комбинаты производили бесчисленное количество стальных панелей, украшенных бесхитростными россыпями керамической смальты, со стеклами в уже вставленных оконных рамах. Едва спрыгнув с конвейера в панелевозы, сборные конструкции складывались в скоростном режиме: монтаж, установка инженерных коммуникаций, отделочные работы, – и новый квартал открывался широкому потреблению. Квартиры, согласно постановлению ЦК КПСС и Совмина, были без излишеств, с крохотными кухнями и совмещенными санузлами. Подразумевалось, что к наступлению коммунизма семьи переберутся из «малометражек» в новые дома с более просторными квартирами, лифтом и мусоропроводом.

Плановое жилищное строительство, начатое с легкой руки Никиты Сергеевича десять лет назад, успешно продолжалось, вот только все никак не поспевало за приростом населения. Особенно в Москве, куда отовсюду ехали и едут званые и незваные, приманенные в столицу практичными соображениями, надеждой, мечтой... Москва – бочка Данаид, и никогда не наполнится.

В июне Иза с Ксюшей записались в стройотряд и получили значки ВССО^[27]. Заработок в малярной бригаде обещали приличный, что было немаловажно. Иза сократила расходы до минимума, но денег все равно катастрофически не доставало, хотя Наталья Фридриховна, вопреки Изиным конфузливym протестам в письмах, упрямо отправляла то пятнадцать, то двадцать рублей каждый месяц. А от тети Матрены приходили посылки с вареньем, печеньем, зимой даже с подсушенным домашним творогом...

Краны грациозно взмахивали жирафьими шеями, словно кому-то кланялись, и снова взмывали ввысь с кладью в поддонах. Машины казались живыми, человек вдыхал движение в железо и силою мыслящих рук заставлял его служить народному благу. Рассматривая из окон верхнего этажа панораму непрерывно меняющейся стройки, Иза проникалась чувством фантастических преобразений. Внизу кругло двигалась бетономешалка, превращая песок и цемент в серое тесто. Рабочие сгружали из кузова машины гармошки батарей, без конца передвигались, что-то носили – махонькие трудолюбивые муравьи. Иза диву давалась, сколько дел успевают совершить строители за день, спеша помочь городу растрясти многолюдье по сотням ярусов этажей и тысячам личных пространств.

Жаль, что здания выходят точно из-под копирки. Первое время растерянные новоселы блуждают по одинаковым улицам в поисках своих корпусов. Дома лишены примет, как инкубаторские цыплята. В Изиной школе инкубаторскими из-за одинаковой одежды называли детдомовцев... Но скоро между коробками секций появятся яркие детские площадки, зазеленеют саженцы и клумбы. Дворы обретут индивидуальность, и станет нескучно.

Справа дорожники тянули ветку шоссе. Бритвы бульдозеров сдирали пласты мягких почв в долинах, еще недавно высланных лоскутами полей. Поверх дерна укладывались щебневые подушки для асфальтового литья. Катки, окутанные завитками серого дыма, утюжили смоляную ленту дороги. Во время обеда мальчишки, подкрадываясь к краю непроницаемого полотна, щипали еще не застывшие кусочки гудрона. В детстве Изе тоже перепадала черная «сера», добытая ребятней на стройках. На вкус нефтяная жвачка слегка отдавала сургучом, через полчаса становилась вязкой и трудно отлипала от зубов...

Архитекторы решили сохранить кудрявые дубравы позади квартала как лесопарковую зону. После работы, а иногда в обеденный перерыв девчата бегали купаться на ближнюю речку. Еще не крепко битые подошвами

тропки таинственно петляли, маня в дикие перелески с подушками мха вокруг подагрически скрюченных, пробивших землю корней. Зимой москвичи будут приезжать сюда кататься на лыжах, летом – собирать грибы. Бригадир маляров тетя-Рита сказала, что белые и подберезовики хорошо растут в здешних местах. Ее семье обещали выделить в этом районе двухкомнатную квартиру. Тетя-Рита уже прикинула, куда поставить шкаф и диван.

– Наконец-то переедем из нашего клоповника в человеческое жилье! – радовалась она и тут же грустила: – Праздники придется самим справлять. А то ведь всей коммуналкой гуляли. Весело...

В общежитии на улице Байкалова мама с Изочкой тоже весело отмечали праздники с соседями. Иза вспоминала те дни, и чудилось, что камешек на груди теплеет. Сердолик-сердечко, осколок родины. Иза и на ночь не снимала с шеи шнурок с куриным богом.

– Позову соседей на новоселье, – мечтала вслух тетя-Рита. – Пусть с детьми приходят. Как раз к тому времени коричные яблоки поспеют в саду у моих стариков на Лосином острове. Сладкие-сладкие, самые вкусные. Еще возьму малышам пирожных, конфет, марципанов...

Когда Иза впервые увидела в булочной наименование «Марципан», она очень удивилась. Мама рассказывала, что семья Нидереггеров из немецкого города Любек хранит в секрете рецепт изготовления этого лакомства. Папа Хаим угощал Марию марципанами в фирменном кафе. Они ездили в Любек до войны. И нате вам – редкое, по мамину утверждению, кондитерское изделие «с божественным вкусом» свободно продается за девять копеек в булочных и киосках Москвы! Иза попробовала и разочаровалась – марципан оказался обыкновенной плюшкой с арахисом.

Вкуснее всех сластей – мортыжки. Матушка Майис взбивала свежие сливки с голубицей и выкладывала на противень пышные сиреневые лепешечки. С мороза мортыжки пахли снегом. Молоком, можжевельником, таежной ягодой...

Глазки у тетя-Риты острые, фигура как у медвежонка, сама шустрая и говорливая. Затирает шпатлевкой щели и балагурит:

– Сын у меня спортсмен, самый сильный в классе. И самый высокий! Я рядом с ним Дюймовочка. После школы на физкультурника пойдет учиться.

– В техникум? – спрашивает старшая в бригаде Светлана Евгеньевна.

– Выше бери! В вуз.

– Молодца, – хвалит Светлана Евгеньевна.

– Полы в выходной мыла, а сынок взял под мышки – и раз! – посадил на шкаф: «Не путайся под ногами, мамуля, сам вымою!» Ума не приложу, как мы с Михаилом такого баскетболиста спроворили! Муж-то всего на четыре сантиметра меня выше, и не сказать, что красавец. Ну и я не Нонна Мордюкова. А Виталька... – Теть-Рита закатывает глаза к потолку. Ей не хватает слов. – Прямо Аполлон, вот!

Светлана Евгеньевна вздыхает:

– Тебе, Рит, и с мужем повезло. Непьющий...

– Ага. Как от язвы вылечился, так перестал пить, я аж заскучала. Говорю ему: «Отчего же, Миша, одну-то рюмочку не принять для обеззараживания нутра?» А он: «Ты меня, мать, не соблазнь, я вчистую завязал!»

О чем бы бригадирша ни сказала – все с восторгом. О сыне – с восторгом, о муже – с восторгом, о квартире – с восторгом и благодарностью.

– Ой, спасибо Никите Сергеичу! Иначе бы мы прозябали в нашей комнатухе до смерти. Леониду Ильичу спасибо. И профсоюзу, и Дмитриеву-прорабу, и начальнику Рыбакову, всем-всем!

Легкий человек теть-Рита.

– Больно мелкие эти «хрущевки», – возмущается младшая малярщица Тося. – Двадцать два метра! Убила бы проектировщиков за такую планировку. Комнаты как клетки, потолки низкие, стол в зале поставишь на праздники, и потанцевать негде.

Потолки действительно не рассчитаны на возвращение баскетболистов. Поневоле вспоминаются «сталинские» хоромы Песковских высотой в три метра, а может, выше.

– Лишь бы танцевать тебе! – раздражается теть-Рита на леноватую Тосю. – Трудись давай!

– А я что делаю – груши на заборе околачиваю? – огрызается та, выглаживая угол затиркой: шир, шир-шир! Даже по звуку понятно – ленится Тося и злится.

Мастерок бригадирши звучит ласково: шлеп – ши-и-ир, шлеп – ши-и-ир... Словно не строительный инструмент, а музыкальный. Двигается теть-Рита энергично, но экономно, без суеты, к работе относится с любовью, хозяйски все восемь официальных часов и два неофициальных для перевыполнения плана. Примирительно кивает Тосе:

– Спой что-нибудь.

– С песней веселее, – вторит Светлана Евгеньевна. Не знают, как умеет петь Ксюша, а то бы ее попросили.

– Виновата ли я, виновата ли я, – охотно мурлычет Тося, – виновата ли я, что люблю?

Лучше бы спела что-нибудь другое.

Низко надвинув на лоб косынку, хмурая Ксюша работает молча. Ни слова за день, будто заперли в ней живой родник. Патрик уехал на Кубу. Всю весну сокрушался, что время идет медленно и, пока он учится, другие геологи успеют открыть новые месторождения. А недавно получил весть о начатых изысканиях.

Провожать в аэропорт ездили гурьбой. Лицо Ксюши пламенело нежно, как рассвет между байкальскими сопками, толстые косы закрутила калачами у висков. Патрик был печален и старательно развлекал девушек рассказом о животном мире Кубы: «Крокодил кайман кусаться сильно... Удав боа красивый... Опасность – душить... Птицы попугай, колибри мальенький, с мой мизинц. Красивый, крыло махать быстро-быстро. Кушать цветок»...

Патрик хотел к себе домой, и Ксюша хотела к себе домой, а любовь хотела оставить их вместе – неважно где. Три эти желания, как в басне Крылова, рвались в разные стороны и не вписывались в реалии жизни. Патрик вернется осенью в Москву, Ксюша воспрянет, но что им делать с кучей препятствий позже, когда он окончит учебу и обязан будет уехать насовсем? Далекая Куба лежала между влюбленными камнем преткновения, и ни обойти было Ксюше этот карибский остров, ни объехать. Легче исключить из жизни вместе с Патриком.

Проводив его, Ксюша в тот же день купила треску и приготовила на ужин кубинский рыбный пирог: обжарила до румяной корочки шарики-орешки из легкого дрожжевого теста и, выложив их на сковороду, закрыла их тресковым филе с кольцами репчатого лука. Полила маслом... Дивный запах стряпни распространился по этажу. Андрей, верный поклонник Ксюшиных запеканок, продегустировал первым и внес рецепт в толстую записную книжку. Наверное, пирог еще вкуснее, если печь его в горячем пепле, завернув в фольгу. Андрей собрался в Пермь с ребятами из группы Юрия. Оттуда они пешим ходом доберутся до таежной реки, поживут в палатках, будут ночами петь у костра песни Визбора, а днем – фотографировать скалы и удить рыбу...

Малярщицам жарко, и Тося сняла рубашку. На ней закатанные до колен трико и белый сатиновый лифчик, потемневший в подмышках от пота. Теть-Рита ворчит:

– Опять баню устроила. Сейчас прораб придет...

– Он на меня не смотрит.

Это правда. Прораб Дмитриев, суровый мужчина с вопросительными бровями домиком, вчера всего раз покосился на Тосю. Заметил, что ходит полураздетая, и больше не глянул из принципа или по другой причине.

Если честно, едва Дмитриев явится, не спускает глаз с Изы, словно давно что-то у нее спросил и терпеливо ждет ответа. Хорошо хоть редко приходит. Некогда прорабу на стройке.

Тося взяла кисть и нарисовала пронзенное стрелой сердце на кухонной стене.

– Зачем краску изводишь? – огорчилась Светлана Евгеньевна.

– А чего ее жалеть, не моя же и не ваша. Все равно красить.

Краска была красивая, нежно-голубая. Новоселам должна понравиться кухня цвета неба. Изе бы понравилась, будь это ее квартира.

– Теть-Рита, а несемейным людям когда-нибудь станут давать квартиры?

– Станут, – заверила бригадирша. – Да и ты в старых девах не засидишься.

– Закрутишь с нашим прорабом и не засидишься, – игриво подмигнула Тося.

– Зачем вы так, – покраснела Иза, – Дмитриев ведь женатый.

– Жена – не стена! – развеселилась Тося. – А ты, главное, не теряйся, хватай жизнь, пока горячо!

Теть-Рита сердито передразнила:

– «Хватай жизнь!» Не слушай ее, Иза. Ты молоденькая, успеешь встретить единственного, с кем рай где угодно – в отдельной квартире, в коммуналке, в шалаше...

– Не всем везет. – Тосины шалые глаза сверкнули тоской и обидой. – Мне вот не повезло.

– И ты молодая, еще найдешь, – посочувствовала Светлана Евгеньевна.

– Да нет уже. Кто с ребенком возьмет? Обманул он меня, молодую, а самому полтинник почти...

– Так много! – вырвалось у Изы.

Светлана Евгеньевна наставительно сказала:

– Один ученый открыл, что любви все возрасты покорны.

– Алименты содрать не могу, сбежал, стрекозел! – разбушевалась Тося, и бригадирша сделала ей замечание:

– Не выражайся при студентках.

– Стрекозел – он такой и есть! – вскрикнула Тося с надсадой. – Нечего прикрывать подлеца обходными словами!

– Мужики всякие бывают, – согласилась, вздохнув, теть-Рита.

Тося сразу увяла, глаза погасли, и бедовое лицо, горестно сморщившись, стало некрасивым.

– Вы, девчонки, чести ронять не торопитесь. Учитесь на чужих ошибках.

...Помнится, на одном из стихийных «домашних» праздников в детдомовской комнате Изочка не поняла, почему девчонки-соседки обвинили семнадцатилетнюю Галю в «нечестности». Кого обманула правдивая, ласковая Галя? Потом Полина объяснила, что это такое – девичья честность, то есть честь, и растолковала Изочке значение слова «любитесь» в худшем варианте, пакостными словами, которые хулиганы украдкой пишут на стенах заборов и туалетов. Изочка без того долго не в силах была избавиться от видения на Зеленом лугу: двое, слитые в одно, снились ей по ночам, тонко стонала от неведомого счастья горлинка... И сейчас пришла на ум непристойная мысль – случилось ли «такое» у Ксюши с Патриком?

Иза покраснела, сосредоточилась на работе и заставила мысль исчезнуть, не развиваться дальше. А то не смогла бы посмотреть на подругу без стыда. Ксюшина кисть мягко скользила по загрунтованной стене. Краска, кисть и движения творили небесно-голубое море. В середине Карибско-Мексиканского бассейна плыла ящерица – незакрашенный остров Куба с детенышами-островками вокруг.

– Опустела без тебя земля, – тихо запела Ксюша новую песню Майи Кристалинской.

«А без кого бы опустела земля для меня?» – подумала Иза.

Любовь наполняла жизнь. О всепоглощающем чувстве кричали спектакли, фильмы, книги. Люди бросались из-за любви под поезд и в реку, уезжали добывать алмазы и распахивать целину. Каждый мечтал жить с любимым человеком долго-долго и умереть в один день. У Изы же было несколько любвей. А значит, ни одной.

– Только пусто на земле одной, без тебя, – пела Ксюша, не видя ничего, кроме моря и ящерицы Кубы.

Тося замерла. Бережливая Светлана Евгеньевна не замечала, что с Тосиной кисти падают на бетонный пол крупные капли голубого дождя. Молчала и слушала. И тетя-Рита тоже.

...Дни, полные монотонного труда и запаха олифы, текли к августу, и ожидание Ксюши взмыло парусом на близком ветру, pleno de vida. Она ломала голову, чем освежить скудную свою одежду: хотелось предстать перед Патриком «на сто процентов», как говаривала обожающая все числительное Лариса.

Девчонки в общежитии обычно менялись платьями, блузками, но на крупную Ксюшу ничего бы не нашлось, к тому же она была брезглива. Учила Изу: «У каждого человека собственный запах, особо в подмышках. Пот подмышечный – заразный, и, если ты начнешь свое отдавать да чужое носить, к тебе посторонний запах пристанет. Потом хоть скипидаром отмывай – не отмоешь».

Добрый старик-армянин в сапожной мастерской на углу подправил Ксюшины стоптанные туфли и поделился для них краской. Блузка засияла вязаным воротничком, юбку Ксюша накрахмалила так, что садилась с листопадным шелестом. Но тут – о, удача! – вовремя выдали стройотрядовскую зарплату, и подфартило попасть в очередь за польским крепдешинном. Ксюша выбрала ткань желтую с коричневым узором и подругу уговорила взять – с лазоревыми цветами на темно-сером фоне: «Бравое выйдет платье. Твои шпильки с голубыми бусинками к нему как раз подойдут».

У старшекурсницы Жени, поселившейся в комнате вместо Ларисы, были выкройки из журналов «Модели сезона» и «50 моделей ГУМа». Вооружившись мелком, Женя бережно расстелила чертежи на столе поверх ткани. Сколько раз эти безжизненные кальки и схемы, приложенные к скрипучим от свежести отрезам тафты, штапеля и тюля, помогали кому-то блистать на вечерах! Если не рассматривать швы близко, никто не сказал бы, что одежду смастерили вручную между лихорадочной перепиской конспектов, а не купили где-нибудь на выставке Общесоюзного Дома моделей.

Крепдешин – материал капризный, сыпучий, сложно шьется, зато сполна воздает за труды – и обтекает фигуру, и в то же время не льнет. Женя что-то прикидывала, приметывала на живую нитку, придирчиво обдергивала рукава-фонарики и воздушный подол. Отойдя наконец в сторону, залюбовалась:

– Ты прямо как с подиума! Увидит твой кубинец, упадет и не встанет!

– Ой, не надо так говорить, – испугалась суеверная от счастья Ксюша.

Пока она бегала в туалет смотреться в большое зеркало над умывальником, Женя любопытничала:

– Правду говорят, что ее негр – богач?

– Да, он владелец заводов, газет, пароходов, – буркнула Иза.

Некоторые почему-то считали Кубу богатой страной, а по словам Патрика, в республике действовала карточная система, вещи доставались еще труднее, чем в Советском Союзе, и продукты были лимитированы. Гавана представлялась Изе огромной деревней с не очень уместными в ней

готическими соборами, строго возвышающимися над жесткими патлами королевских палат. С многоэтажными строениями из окаменелого ракушечника – людными, крикливыми и бедными общежитиями. Страну раздирали как внешние, так и внутренние противоречия. Патрик тоже мучился противоречиями между Кубой и Ксюшей: одну мечтал видеть сильной, вторую – женой...

На другой день Ксюша мчалась по зданию аэропорта в новом платье. Пышный подол развевался узорчатым флагом, скорость выпукло оглаживала скульптурные плечи, красивую грудь и покатый желобок в слиянии сильных ног. Раскинув руки, бежал к Ксюше Патрик. В глазах Изы, подернувшихся почему-то влагой, они были словно два расплывчатых пятна света и тени, пока не срослись в одно цельное, завершённое и ликующее, как центральная часть задуманного неведомым художником замысла.

В дороге Патрик рассказывал о полезных ископаемых в малоисследованных кубинских горах, на островах и шельфах; Ксюша, потупившись, смугло-розовая от волнения, – о работе на стройке. О том, что пятиэтажки на московской «околице» растут, как грибы, а рядом в лесу полно грибов... Разговор был странно отвлечен и рассеян, прерывался то смехом, то трепетным молчанием. Ни разу не прозвучало: «Я скучал по тебе», «Я тебя ждала». Иза вдруг вспомнила весеннюю аллею и глупый политический спор с Андреем. Вспомнила кое-что богаче слов – несбывшийся тогда поцелуй, разноцветную смесь ощущений, взглядов, касаний, вытесняющих скупые в оттенках интонации. Чтобы не мешать влюбленным, смотрела в автобусное окно. А они, взбудораженные завершением разлуки, жили в каждой минуте ярко, насыщенно, и чудилось, будто от высокого напряжения их счастья шелковым током потрескивает ткань Ксюшиного платья. Люди пялились на интернациональную пару, выражая собой мощную гамму чувств – от любопытства до зависти, от понятливого сочувствия до активного осуждения, возможно, приправленного активным же, в спину, словом...

Вечером в комнату влетел Андрей, с рюкзаком и полной книг сумкой, рассыпал по столу спелые вишни из куляка:

– Угощайтесь! Ух, какие вы загорелые!

Девчата глянули друг на друга «его» глазами: солнце впрямь вызолотило кожу обеих на подмосковной речке. Руки Ксюши выше кистей покрылись веснушками, а на лице веснушек не было, оно загорело чудесно, с несильным, малиновым на щеках румянцем. Волосы надо лбом лучисто побелели – Ксюша больше, чем обычно, стала напоминать плечистых

плакатных тружениц со строительными мастерками и доильными аппаратами в руках.

Андрей тоже светился коричневатым глянецом, если не как арап Петра Великого, то наверняка как его небезызвестный потомок. Возмужал, говорил чуть охрипшим от песен голосом, был взлохмачен и по-прежнему шалопайски весел. С гордостью продемонстрировал рабочие мозоли: туристы все лето помогали леспромхозу сплавать по реке бревна. К себе Андрей еще не заходил и, сдержанно позевывая, сказал:

– Ну, пожелайте мне спокойной ночи до завтрашнего вечера. Наконец-то высплюсь, а то не дрых все лето... Ах да, чуть не забыл: на вокзале ребят из театрального встретил. Помните Владислава с Тенгизом на дне рождения у Ниночки? Влад позвал к себе на дачу недели через две. О вас спрашивал. Родители в отъезде. Пойдем?

– Я не смогу: Патрик приехал. – Ксюшины серые глаза переливались, как радуга на нецветной фотографии.

– Иза, а ты?

– Одна? Ниночка же пока не вернулась из Сочи...

– Почему одна? Я с тобой!

– Что мы там будем делать?

– Как что – конечно, водку пьянствовать и беседы разговаривать!

Иза растерялась:

– Я не пью...

– Пьянствовать?! – возмутилась Ксюша. – Да ты с ума спятил!

– Кроманьонки, – ухмыльнулся Андрей. – Пошутить нельзя... Поговорим о театре, потанцуем. Компания нормальная, будут их однокурсницы. Вечером сдам тебе подружку в целости и сохранности.

– Не зна-аю... – протянула Ксюша, сомневаясь.

Изу взяла досада: почему она вечно опекает ее и воспитывает? С вызовом тряхнула подстриженной недавно челкой:

– Пойду.

– Как хочешь, – вздохнула Ксюша и повернулась к Андрею: – В случае чего с тебя спрос.

– Есть, товарищ начальник!

Раньше гусевский взгляд скользил по лицу Изы с безучастной, как ей казалось, смешливостью (несмотря на почти поцелуй), а теперь – с неприкрытым интересом. Она недоумевала: что уж такого нового появилось в ней? Рядом с красавицей Ксюшей, в тайном сравнении, она смотрелась скромно, чернавкой при княгине, таяла вечерней дымкой – краски основного спектра всегда сочны в растушевке полутонов.

Откровенное восхищение Андрея вызвало в Изе растерянность и туманные предположения о какой-то своей перемене. Ведь и прораб Дмитриев, на что женатый человек, глаз не сводил, хоть прячься. Когда приходилось к нему обращаться по крайней надобности, отвечал коротко и с придыханием, будто поперхнулся...

Наметанное мастерицей Женей платье волновалось в коленях и пахло горячим утюгом. Капнуть духами, и заблагоухает, как весенний букет, немного погодя будет издавать еле слышный, но удивительно стойкий аромат – очертание аромата, флер, дуновение... Первое в жизни по-настоящему нарядное платье. В нем Иза не знала себя в зеркале, а в стареньком халате чего не знать – все та же фигура, то же лицо. Глаза, необычные на первый взгляд, но в общих чертах словно теряются. Словно чего-то им недостает то ли в выражении, то ли в изменчивости неуловимого цвета.

Шмыгнув в туалет, пока никого не было, Иза приблизилась к зеркалу... И обомлела. Новорожденное платье, разумеется, шик-модерн (опять вспомнилось Ларисино определение), но глаза... глаза! Яркая речная синь выхлестнула навстречу из-под бровей. Неужели это ее, Изино?! Тысячи раз виденные подробности лица – нос с намеком на горбинку, вздернутая легким лучком верхняя губа, ямочка на подбородке тоже почудились незнакомыми. По бронзовому лоску обнаженных рук пышно спадали до бедер расчесанные ко сну косы... «Эта красивая девушка – я... Я!» – убедилась Иза и тихо запела от радости: – Только пусто на земле одной, без тебя, а ты далеко...»

Однажды Андрей сравнил ее с врубелевской царевной. Вот и у зеркальной незнакомки был такой же высокий изгиб шеи в полуобороте и тревожное, будто в ожидании неведомой опасности, лицо...

Мужская тень померещилась за спиной. Мужчина мелькнул в отражении и скрылся, оставив после себя дымку взгляда... как от пистолета, выпалившего в упор. Ощущение приятного открытия своей прелести тотчас насмешливо распалось. Парторг, не к ночи будет сказано, при всем желании не мог объявиться в женском туалете общежития, но мимолетное наваждение напонило: лето кончается. Второе лето в звонгороде.

Глава 2

Не ходите, дети, в Африку гулять

В электричке Андрей без умолку говорил о том, как научился вязать плоты и как вообще здорово провел лето. Минут десять шагали со станции по лесной дороге под сенью великанских берез. Пока Андрей болтал о чем-то, Иза думала, что все рожденное в хлебной московской земле растет в могучей плоти и щедром соку. А березовые перелески, кружевной каймой окружающие болотно-сумрачную зелень якутской тайги, слабы и нежны, почти прозрачны. Зимой ледяные пальцы вечной мерзлоты подбираются к верхнему слою почв. Лето жаркое, но короткое, и у березок жизнь короткая, от тепла до тепла. Дальше – как повезет...

За глухими заборами виднелись крытые черепицей крыши солидных дач, обрамленных лохматыми соснами. Наверное, кто-то из родителей Владислава был из «кормчих и рулевых», а может, оба, как у Ниночки. Андрей остановился перед железными воротами.

– Вроде здесь.

Новая двухэтажная дача выплыла из сосновых волн свежеструганным кораблем. С крыльца веранды с распростертыми объятиями шагнул к гостям Владислав:

– О-о, кто пришел!

За ним выбежал Тенгиз и небольшого росточка девушка, чем-то похожая на Ниночку, но крепче и фигуристее, в модных брючках и клетчатой мальчишечьей рубашке. Недружелюбно, показалось Изе, оглядев ее внимательными глазами из-под густо крашенных ресниц, девушка назвала себя:

– Мила.

– Иза.

– Изабелла?

– Изольда.

– Очень приятно.

Других студенток из театрального, как поняла Иза, на даче не было. «Компания» ограничивалась пятью людьми, включая гостей.

– А где ваша... э-э... такая симпатичная чувиха? – Тенгиз изобразил руками изящные пассы, очерчивая в воздухе силуэт крутобедрого кувшина.

Ксюшина занятость заметно разочаровала грузина. Масляный блеск его черносливых глаз погасился, но через секунду лицо вновь заиграло

бровями, глазами, тугими мячиками щек, засверкало улыбками разной открытости и значений.

– Прошу к нашему шалашу. – Каштановая прядь лирически упала на бледный лоб Владислава, широко распахнувшего дверь. Двигался он со снисходительной меланхолией искусленного во многих областях человека.

Веранда была стилизована под старину: некрашеное навощенное дерево, массивный буфет, резные полки с обилием мелких вещиц. Под окнами стояли лавки и огромный обеденный стол под клеенкой, увенчанный никелированным самоваром, таинственно бугрилась прикрытая газетами еда. У противоположной стены пестрел лоскутным покрывалом представительный диван. Во всей этой псевдодеревенской обстановке чувствовалась намеренная, какая-то лубочная нарочитость.

На правах хозяина Владислав вел себя бесцеремонно, совсем не как на Ниночкином дне рождения. Обнял Изу за плечи и нагнулся к уху:

– Изольда, – в его проникновенном голосе слышались интимные нотки. – От вашего имени веет скандинавским холодом, а от вас – огнем Испании...

Руки Тенгиза ни минуты не оставались в покое, то дружески пошлепывали по плечу Андрея, то бесцельно подкидывали коричневую коробку сигарет «Тройка». Жестом фокусника грузин сорвал со стола газеты:

– Алле-оп!

Обнажились «Советское шампанское», водка, вино, фрукты в вазе и гора бутербродов на плоском блюде. Сердце Изы тревожно ворохнулось. Выходит, Андрей не шутил, ребята действительно собрались «водку пьянствовать». Но он непонимающе уставился на стол:

– Мы так не договаривались.

– Ты о чем? – Владислав сделал «большие глаза». – О дринке?

С дурашливой яростью схватив бутылку шампанского за серебряную шейку, Тенгиз открутил проволочку и прорычал:

– Молилась ли, изменщица, ты на ночь?!

Пробка оглушительно хлопнула, и эффектно выстреливший фонтан залил шипящей пеной полстола. Мила разозлилась:

– Всего одна «дамская» бутылка была! Порадовал мух!

– Дамам по бокалу, а мы, мужчины, беленькой тяпнем. Под рассказ о трудовых подвигах в леспромхозе, – подмигнул Андрею Тенгиз и вытер столовую клеенку.

– Будни сплавщиков – работа, не романтика.

– Ну хоть игристого-то дернете с нами?

Иза растерянно сжала локоть Андрея.

Детдомовские девчонки, случилось, удирали с городскими друзьями на маевки и возвращались навеселе. Потом беглянок песочили на линейках, если кто-нибудь докладывал директорисе. Однажды Полина Удверина устроила безобразный пьяный дебош в соседней комнате. Драчку удалось замять, но о попойке узнали в школе, и Полина чуть в очередной раз не вылетела из комсомола.

– Ладно, – мрачно обронил Андрей, – по бокалу.

– Ой, только не надо корчить из себя пай-мальчика, – скривила губки Мила. – Никто не собирается напиваться, это же чисто символически. Нам со Славиком сегодня есть что отметить, – и звонко провозгласила: – За нашу студенческую молодость!

Что-то угрожающее померещилось Изе в притворно флегматичном лице Владислава, когда он подал ей бокал. Чувствуя раздраженное напряжение Андрея, несвойственное ему, она блуждала застывшей улыбкой по лицам и мысленно уносилась к станции по березовой дороге.

– Доблестные труженики леспромхоза не расположены к разговорам, – с ироничной скорбью вздохнул Владислав. – Может, вы, Иза, что-нибудь нам расскажете?

– О чем?

– Откуда ты, пг'елестное дитя? – пропел Тенгиз, грассируя.

– Из Якутии.

– Из Якутии?! – переспросил Владислав.

Тенгиз шумно занюхал водку бутербродом с красной икрой. Скосил глаза на оранжевую бусинку, приставшую к кончику носа, сдул ее и вдруг завопил:

– Тундра! Алмазы под ногами! Полное отсутствие цивилизации! О, я торчу от Севера!

– Это там, на краю Ойкумены, где медведи стучатся в окно, – продекламиривала нараспев Мила. – Как интересно! Иза, вы жили в чуме?

Иза привыкла к таким вопросам. Чуть ли не каждый третий человек в Москве спрашивал: «Правда, что в Якутске по улицам бродят медведи?», «А в чем люди живут – в меховых домиках?», «Как вы там выживаете, на Северном полюсе?» Многие путали тайгу с тундрой, тунгусов с якутами, Аляску с Чукоткой. Удивительно, что люди, окончившие школу, даже студенты вузов, знали байки о колымской каторге и обидные анекдоты о северянах, а об автономной республике (по территории шестой части СССР, между прочим) почти ничего.

Иза безотчетно коснулась груди ладонью и пожалела, что не взяла с

собой куриного бога. «Маленькой Литвой» называла мама янтарные бусы. «Маленькая Якутия» осталась в шкатулке с маминым бел-горюч камнем.

– Уважаю. – Томные глаза Владислава оживленно блеснули. – У вас на Севере, говорят, зарплата немереная, народ нехилую деньжонку заколачивает.

– Не... не... немереная?! – От внезапно нахлынувшего гнева Иза начала заикаться. – Может быть... Но те, кто приезжает «заколотить деньжонку», долго у нас не задерживаются. Мало кто способен вытерпеть морозы за минус пятьдесят и жару за сорок. Вся «цивилизация» слетает на Севере со слабаков, как шелуха, и никакой зарплатой таких уже не заманишь!

– Что ж вы-то в Якутии потеряли? – щурясь, спросил Владислав.

Что потеряла?.. Иза не смогла бы перечислить. Только тут заметила, что поднялась, выпаливая свой неприветственный спич.

– Лену, – сдавленно сказала она и села. – Мать четырехсот рек.

– Поэтично. Вот бы снять фильм в ваших местах!

– Ну, за Якутию! – воскликнул Тенгиз и кинулся разливать водку.

Андрей закрыл ладонью Изину рюмку:

– Ви нэ понял, да? Дэвушка нэ потребляет.

– Вах-вах, батано, – подхватил Тенгиз «грузинский» акцент. – Грех не пропустить по маленькой за такой патриотичный тост!

Игриво взглянув на Андрея, Мила отвела его руку от рюмки:

– Не ссорьтесь, мальчики. Иза, выйдите же наконец из-под тиранического влияния вашего Отелло!

– Я не пью... я ни разу не пила водку.

– О, боже! – Тенгиз воздел руки к небу. – А мы разве пьем? Мы просто савсэм нэмношко радуемся жизни!

– Человек должен попробовать в жизни всё, – располагаясь улыбнулся Владислав, – а водка – наша первостатейная марка наряду с балалайками и матрешками. И потом, – он укоризненно покачал головой, – ай-ай-ай, Иза, вы отказываетесь выпить за Якутию? Держу пари, вы случайно оказались на вашем хваленном Севере.

– Я там родилась.

– Но не вернетесь.

– Ой, я бы ни за что! – передернула плечиком Мила. – Непуганое зверье, стужа собачья... Бр-р!

Слова Владислава обидно задели Изу. В эту минуту ей больше всего хотелось домой, туда, где у нее не было никакого дома. Но Владислав и Мила правы – она не вернется. Не к кому возвращаться.

Все смотрели на нее, а на глаза навернулись слезы, и, зажмурившись,

Иза мгновенно опрокинула в себя рюмку. Андрей удивленно вскрикнул. Горло ожгло огнем, будто по нему провели горящим факелом, но хуже был химический водочный вкус – жидкий перец и горькая, ядовитая окись брожения. Иза закашлялась – теперь и за слезы не стыдно. Поймала сочувственный взгляд Андрея. Бодро кивнула, продолжая кашлять и плакать: «Все нормально».

Владислав отечески похлопал по спине – с боевым крещением, и сразу перешел на «ты», словно принял в клан посвященных. Подсунул чашку с водой, бутерброд с лепестком ветчины:

– На, запей, закуси, станет легче. В первый раз всегда так. Теперь я верю, что в вашем краю действительно живут сильные духом люди.

– Пойдем? – шепнул Андрей. Оттеснив его, Мила манерно склонила подбородок к плечу:

– Славик, ты мог бы снять в якутском белом безмолвии «Мужество женщины» Джека Лондона, а я бы сыграла индианку.

– Не тот типаж, беби, – усмехнулся Владислав и окинул Изу оценивающим взглядом, – вот кого бы я взял.

– Тоже не подойдет, – возразил Тенгиз, – глаза синие.

– Цветная пленка тут ни к чему. Белое и черное, контраст усугубляет безысходность и триумф любви. Рука падает в последнем жесте, корка хлеба на снегу... Впрочем, ты прав, Иза слишком красива для скво.

Мила на миг недобро изменилась лицом и тут же снова засияла улыбочивыми ямочками на щеках:

– А я, значит, некрасивая? Ну что ж! Не родись, говорят, красивой, родись счастливой! Давайте – за счастье!

– Нам довольно.

«Нам», – отметила Иза. Значит, Андрей тоже выпил?

– Э-э, ты попугай? – Раздосадованный Тенгиз демонстративно наполнил водкой стоящий перед Андреем бокал. – Вы, «клубники», прямо какие-то африканцы дикие!

– Да пусть не пьют, – всплеснула руками и засмеялась Мила. – Не ходили б, дети, в Африку гулять!

Красное вино было сладким и, в отличие от водки, вкусным. Гусев поднял виноватые глаза на Изу, она на него...

– Условность театра не всемогуща, – рассуждал Владислав. Он собирался стать режиссером кино, а Тенгиз – театральным, и спорили они, наверное, не впервые. – На подмостках не покажешь широту пространства.

– А технические возможности? На что декорации, звук, свет? Сцена белая, голубые тени сужены в перспективу, иллюзия далей...

– Больница.

– Театральный зритель приучен к аллегории, – вступилась за Тенгиза Мила. – Вся прелесть в силе воображения, в разнице между метафорой и буквальностью.

– Ты недооцениваешь искусство фотографии, беби. Возьми Параджанова, каждый его кадр – живопись, сюрреализм, сон наяву...

Иза остро почувствовала свою бесталанность. Какие они умные, эти ребята! Когда-нибудь киношедевр Владислава возьмет Пальмовую ветвь в Каннах, Мила сыграет в фильме главную роль, Тенгиз произведет фурор новой версией спектакля по Чехову... Андрей соберет и откроет для всех желающих прекрасную библиотеку по примеру идейных пропагандистов чтения... В студенческом общежитии он единственный может похвалиться двумя полками редких книг и знакомством с продавщицами книжного автофургона... А что ждет ее, Изу, кроме долга вернуть бел-горюч камень Балтийскому морю? Отдача долга – не цель, просто выполнение обещания. Где и что будет после – неясно. Неужели вся дальнейшая жизнь пройдет в неведомом захолустье, в кружках и отчетах, в терпеливом ожидании очереди на квартиру и признания скромных заслуг?

Тенгиз произнес цветистый тост за творчество. В рюмке была водка. Кто-то ошибся, налил в рюмку не то... Владислав увидел, что Иза поперхнулась, и быстро поднес к ее рту абрикос. Губ коснулась замшевая кожица южного плода. Сочная мякоть потекла по языку, пальцы мгновенно стали липкими, а в руке уже салфетка... Заботливый Владислав.

– Был бы я киношником, снял бы «Моби Дика», – размечтался Тенгиз.

– Ты опоздал, генацвале. Джон Хьюстон выпустил ленту о белом ките в пятьдесят шестом.

Кажется, нет в мире фильмов, о которых бы Владислав не знал.

– Он снял его по сценарию Рея Брэдбери! – встрепенулся Андрей. – У этого писателя есть великолепная повесть «451 градус по Фаренгейту», вот бы что экранизировать!

– О чем ты? – захлопала ресницами Мила. – Кто такой Фаренгейт? Режиссер?

– 451 – градус сгорания бумаги, Брэдбери написал о пожарных, они жгли книги.

Иза еще осенью обсуждала повесть с Андреем, хотела что-нибудь сказать, но не решилась. Все вертящиеся на языке слова казались лишними, убогими – нет, лучше молчать.

– За Советский Союз – самую читающую страну в мире! – крикнул Тенгиз. Рюмки стукнули особенно дружно, и он пожаловался: – Недавно

фазер купил с рук «Витязя в тигровой шкуре» в бальмонттовском переводе, а в книге библиотечные штампы.

– Попробуй стереть перекисью водорода, – посоветовал Андрей. – Правда, если издание старое, не всегда получается.

– Ты крадешь книги из библиотек? – округлила глаза Мила.

– Лихо, – хмыкнул Владислав.

Мила встала в картинную позу и громко икнула.

– Сногсшибательно! Андрей, ты очень смелый человек! Я люблю рискованных мужчин! А если я люблю, то... – Она кокетливо погрозила ему пальчиком.

– За любовь! – гаркнул Тенгиз и сделал попытку ткнуться мокрыми губами в щеку Милы.

– Хиляй бортиком, – отодвинулась она. – Скажи, Андрей, а ты мог бы стащить что-нибудь для меня в ювелирном магазине?

– Вы что, – засмеялся он. – Я пошутил! Просто однажды тоже купил книгу со штампами.

– До дна, до дна! – веселилась Мила, не слыша его и, взвизгивая, била Тенгиза по рукам...

Владислав с подчеркнутой галантностью наклонился над Изой. Небо заслонили ихтиандровые, лунатические от хмеля глаза.

– Тебе не скучно? – Голос был вкрадчив и медоточив.

Иза не успела ответить. Мила вдруг резко развернула Владислава к себе и расхохоталась ему в лицо.

– Спятила, дура, – процедил он сквозь зубы и вышел на крыльцо покурить.

На улице стемнело. Кто-то успел включить свет на веранде... когда? В бесшабашной голове мелькнула и улетела мысль об электричке... Ах, Ксюша, прости, я – взрослый человек, и мне не скучно! Дом наполнился магнитофонной латиноамериканской музыкой. Тело Изы воспарило в танце, словно в космической невесомости. Смешно запрыгали вокруг окна, лапти, рушники, самовар в медалях, весь мелочный, поделочный мир... Друзья виделись в отдельных мизансценах, вернее, в кадрах. Тенгиз танцевал перед Милой. Его мускульно развитому телу очень шли круглые, с развальцем, движения, а она вилась змейкой и старалась приблизиться к Владиславу, занятому невнятным спором с Андреем. Снова возник Тенгиз – черный каракуль волос, черносливовые глаза крупным планом. Владимир Коренев... то есть Владислав пятился от наступательных экзерсисов Милы. Тени размазанной под глазами туши сделали ее похожей на Пьеро. Руки Андрея размахивали о чем-то, правая сжимала толстую записную книжку.

Никто не слушал его стихов...

Изину шальную энергию не исчерпал даже подвижный танец, остальные утомились раньше. Тенгиз рассказывал анекдоты с непонятным смыслом, исподтишка обстреливая Милу грушевыми семечками. Наплывы бездумного веселья, как пузырьки шампанского, перехлестывали через край. Все были такие милые, пели застольные песни; Иза радовалась свежей яркости своего голоса. Андрей гудел нарочитым басом: «Не нужен мне берег турецкий, и Африка мне не нужна!» До сих пор, кажется, обижался на давешнюю «чуковскую» реплику Милы. В самоваре забавно двигал лицом окривевший двойник Владислава, забавно рябил живописный сувенирный быт, но к горлу вдруг подступил ком тошноты. Спотыкаясь о пустые бутылки, – откуда так много? – Иза выбралась из-за стола. Открывшаяся дверь мягко стукнула ее о темно-синюю ночь.

Вороньи крылья сосен летели в небо. Нагретая за день кора отдавала предосенней сырости смолистое тепло. Текли на Север беззвучные звездные реки. Далеко-далеко текла к морю Лаптевых Лена. Текла домой. Иза, оступаясь, побежала по сосняку, по зыбкой, юлящей тропе. Колючие шторки веток занавешивали глаза, росистая трава стегала щиколотки; перед лицом с внезапной отзывчивостью очутилась дощатая дверь нужного домика. Не попасть бы ногой в дыру...

Потом с неба под церковный звон падали и сгорали звезды. На большой Земле рождались и умирали люди. Земля ощутимо, безнадежно вращалась, шатались косматые сосны... черные... пьяные... Другие, неласковые гнездились здесь духи.

Веранда плавала в сизом дыму. Раздавшиеся стены подрагивали, время от времени странно накреняясь и проваливаясь в себя. Похоже, на станцию прибыла последняя электричка. Да, это окна поезда, вот почему так трясет и шумит... и радио поет. «Виновата ли я, виновата ли я», – выводил песню малярщицы Тоси невидимый хор Пятницкого. «Хор запел у меня в голове вместо колокольного звона, – сообразила Иза, – радио сменило программу», – и засмеялась.

В мутных пеленах просвечивало вдохновенное лицо Андрея. Лицо что-то говорило, а голос Тенгиза громко его порицал:

– Ты про-пагандируешь Бога... Разве можно про-па-ган-ди-ро-вать Бога? Мы же атеисты...

Мила вцепилась в Андрея, он неловко ее оттолкнул. Тенгиз поддержал девушку:

– Пери, не делай пассивность своим ногам.

– За что ты меня ударил, длинный?!

– Извините, – промямлил Андрей. – Я нечаянно, честное слово.

– Тенгиз, отнеси эту истеричку наверх, – распорядился Владислав.

– Я не супермен.

– А кто ты?

– Грузин, – пожал широкими плечами Тенгиз. – С зага-гадочной русской душой.

– Убери Милку, иначе я выки... с крыльца... надое...

Иза как будто уснула, сидя на черной лошадке, и видела карусельный сон. Явь проступала неотчетливыми, акварельными обрывками. Тенгиз одним махом, по-медвежьки закинул Милу на плечо.

– Славка, ты пожалеешь! Вы все, все пожалеете! Сволочь, су...

Мила истошно выкрикивала абсолютно не киношные слова и колотила Тенгиза по спине, но он, покачиваясь, исправно внес ее в распахнутую Владиславом дверь дома. Изу тоже куда-то несло. В ушах свистел ветер, издали доносились густые голоса. «Ах, зачем же, зачем в эту лунную ночь», – завывал хор Пятницкого. С каждым кругом карусель вертелась быстрее, многоголосье звучало громче; хор наконец неприлично заверещал, лошадка заскакала, как бешеная... Иза испугалась, позвала во сне: «Андрей!» – и все пропало: лошади, хор, свет, воздух. Она поняла, что осталась одна. Совсем одна. Кругом – ничего. Белое безмолвие.

Глава 3

Горек одуванчиковый сок

Иза приподнялась на локтях и охнула. Кровать штормило, ослабевшее тело барахталось и постанывало на скрученной простыне. Какое-то страшное оцепенение сковывало виски. Голова превратилась в чугунок – треснутый чугунок, из которого вылилось молоко; песочным зноем жгло кисло-соленый рот. Прозрачные голубые слезки шпилек рассыпались по чужой подушке. В незнакомой комнате пахло сигаретным дымом. В изножье, сгорбившись, сидел голый Владислав и курил.

– Проснулась, – сказал он сипло, затушил сигарету о спинку кровати и метким щелчком отправил окурочок в плетеную урну под письменным столом. Глаза, утеравшие бархатистость, смотрели трезво и, кажется, испуганно.

– Почему не сказала, что я у тебя первый?

– Не знаю... Я ничего не помню, – пробормотала Иза, обнаружив, что губы вспухли, будто обкусанные мошкой, и шевелить ими трудно. Новое платье скомканным лоскутом пасмурного неба валялось на полу.

– Не может быть.

Она не ответила.

– Ну, что делать, – вздохнул он, подождав. – Надеюсь, ты не в претензии? Уверяю тебя, все было по согласию.

– Что... было?

– Совсем не помнишь? – удивился Владислав.

В голове Изы всплывали смутные ночные воспоминания – собственный крик в кромешную пустоту, прерванный чьим-то влажным ртом; кто-то срывал с нее одежды, чье-то тяжелое колено раздвинуло безвольные ноги. Было скольжение, как по горке... В детстве Изочка с Гришкой поливали невысокий глинистый бережок и съезжали по нему в озеро... Так вот, Иза видела сон и там, во сне, напоролась на острый сучок, торчащий из горки. Он жгуче вонзился в самое сокровенное, в самое нежное внутри, и рвал, и ранил, отчего живот теперь потягивала горячая боль.

Красный от натуги, Владислав подпрыгивал у окна, пытаясь всунуть ногу в смотанную брючину. Купальные плавки в легкомысленный зеленый кружочек оттопыривались спереди. Иза отвела глаза.

...А еще плели с Гришкой венки из одуванчиков, и мама ругала Изочку за то, что она запачкала белый сарафан. Горький одуванчиковый сок не

отстирывался. Не отстираешь из памяти сон.

– Я постираю, – сказала Иза о простыне.

– Не надо. – Владислав снова закурил и уселся в кресло, глядя, как она одевается за спинкой кровати. – Да... Брюнетки с синими глазами встречаются нечасто... Я не... В общем, извини, что так вышло.

Иза скатала простынь.

– Куда ее?

– Да уж не на ворота, – невесело усмехнулся он и выдвинул ногой урну из-под стола. – Хотя интересно, как бы Милка отреагировала. Брось сюда, потом выкину. Постой, вот газета, заверни...

– А где Мила?

– Наверху спит, в спальне родителей. – Владислав злобно рассмеялся. – Она такой, как ты, не была в нашу первую брачную ночь... Милка. Милка – моя жена.

– Жена?! – ахнула Иза, и в ее малообитаемую голову темным потоком низверглось сознание.

– Бывшая уже, надеюсь. Полгода назад разбежались. Вчера мы вообще-то справляли подачу заявления на развод.

Разметеленная веранда укоризненно демонстрировала следы вчерашнего пиршества. В самоваре ослепительно бликовала расколотая стеклянная пепельница, по столу разбросались пепел и коричневые окурки сигарет «Тройка». Андрей, одетый и в обуви, спал на диване, натянув на голову лоскутное покрывало. Внизу лежала раздавленная палехская ложка. Иза потолкала Андрея в плечо. Он вскочил, плохо что понимая спросонья.

– Может, кофе попьем? – вяло предложил Владислав.

– Нет, только воды, – прохрипел всклокоченный, очумелый Андрей. – Побольше, пожалуйста.

Изе тоже хотелось воды. Много – помыться.

На станции она, как это часто бывает, проигрывала время назад. Примеряла себя к даче по-новому, и березовая дорожка разматывалась обратно – прочь, прочь сразу же после бокала шампанского, а лучше бы не знать ни эту станцию, ни дачу, ни Владислава... По ту сторону рельс над травой порхала большая бабочка. Ее глазастые крылышки были невесомее осуждающих взглядов, которые Иза ловила на себе. Стоящие на платформе люди знали о ней плохое. Они, несомненно, думали, что девушка с припухшим лицом, в мятом, словно потоптанном, платье, падшая. Такая недостойна находиться на одной площадке с ними, людьми правильными и порядочными. Андрей сидел, опустив голову, возле чьей-то большой корзины с огурцами и, кажется, спал – согнутое запястье беспрепятственно

исследовала муха... Нет, ничего уже нельзя было изменить.

А мир и не изменился. Толстый щенок потешно зевал во все пестрое небо в руках у востроносой девочки. В воздухе пахло углем и дымом. Утреннее солнце наливалось красным соком навстречу дню, пока еще добродушно позволяя ночи прятаться в резких тенях. Люди все так же работали-жили, влюблялись-разводились, кто-то радовался, а кто-то плакал. Сосны по-прежнему летели в небо, и Москва-река соединялась с Волгой каналом. И Волга впадала в Каспийское море...

Движение электрички из окна в окно перекидывало зелень и неровно разбросанные коробочки домов. Иза смотрела, не вглядываясь. Наверное, никогда не покинет ее это беспомощное ощущение сна – изваянной в грязи, изломанной ветки, брошенной сохнуть на перепутье.

– Где ты спала? – спросил вдруг Андрей надтреснутым голосом.

Иза очнулась глазами на его измученном похмельем и раскаянием лице.

– В кровати.

– В комнате Влада?

Она промолчала. А что сказать? Да, в его комнате. В его кровати. С ним. Да.

Андрей опустил голову в ладони и тихо застонал. Ему, как никому из тех, кого знала Иза, дано было необыкновенное удовольствие радоваться чужим успехам больше, чем своим. Тогда за маской шалопая показывалась подлинная Андреева душа. Иза лишь сейчас подумала, что человек, способный чувствовать себя счастливым от чьей-то удачи, повышенно страдает и чьей-то утрате. В его груди kloкотали отчаяние и ярость, отчего Изе, как ни странно, становилось легче. По спине бежал холодок.

– Я сама виновата. – Она невольно усмехнулась, вспомнив Тосину песню и хор Пятницкого.

– Не смей так говорить! – Андрей с силой стукнул себя кулаком по колену. – Это я, я притащил тебя туда!.. Я его убью.

– Не болтай ерунды.

– Считай, что это был я, – пробормотал он.

– В смысле чего – ты?

Андрей густо покраснел, похоже, едва сдерживая рыдания, и сказал с видом безумца, бросающегося на амбразуру:

– Прошу тебя, пожалуйста, выйти за меня замуж.

Господи, какой мальчишка, подумала Иза сквозь удушливый накат тошноты. Все мужчины – сумасброды. А женщины – дуры. Какая я дура.

– Нет.

– Почему?

– Потому что не люблю.

Сегодня она, видимо, была обречена на осмысление того, чего не понимала раньше или чему не придавала значения. Она любила в Андрее его склонность к детскому озорству и детскую же застенчивость, глубокое целомудрие и неприятие лжи. И свойство порывисто, страстно, забывая себя, переживать за других. В нем понемногу прорастал не очень уравновешенный взрослый чудак... а может, кто-то, чье содержание еще не определилось. Все эти его особенности обрели для нее ценность только теперь, но Андрея как вероятного спутника жизни она не любила.

...Или?

Нет, студенческое увлечение, потревоженное весной парторгом, вспыхнуло и погасло. Было предчувствие любви, а самой ее не случилось.

– Почему? – переспросил он с ноткой непритворного удивления, судорожно вздохнув, почти обычным шутливым тоном. – Меня можно любить, и даже нужно. Я умею вязать плоты и печь на костре кубинский пирог. Я сделал бы все, чтобы ты была счастлива. Не совсем же я пропащий человек и с сегодняшнего дня завязал с водкой. Кстати, впервые ее распробовал, как и ты. Гадость... – Он помедлил. – Ты мне нравишься. Я люблю тебя больше всех.

– Больше Ниночки?

– Больше, – сказал он с легким сомнением. – Подумай. Я хороший.

– Гусь ты лапчатый...

– А кого ты любишь?

Вопрос застал врасплох.

– Я люблю двоих. С детства, – призналась Иза с удивившей ее саму внезапностью.

– Эти двое живут в Якутии?

– Не знаю, где они живут.

Она не стала говорить ни о Басиле, ни о Гришке. Иза рассказала о реке Лене и матушке Майис. По мере высвобождения скопившейся тоски по ним дикая ночная карусель начала расслаблять свои душные объятия. Нечаянный монолог кончился на том месте у бабушки Лены, где Майис опустила в волны лепешки и ветку погубленного леса.

– «Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его». Это из Экклезиаста. – Андрей похлопал себя по карманам ветровки и растерянно вскрикнул: – Идиот! Блокнот на даче оставил!

Гусеница электрички наконец доползла к месту прибытия. Иза сказала, что хочет погулять по городу, скоро придет, и попросила Андрея

успокоить Ксюшу. Потирая в смущении щеку, он забубнил:

– Одна?.. Почему одна? Почему не со мной? Ты задумала какую-то глупость?

– Да не буду я делать глупостей, с чего ты взял? Иди.

Иза оглянулась, заворачивая за угол. Андрей, с лицом бледным настолько, насколько позволял крепкий загар, стоял в толпе. Его толкали, он не замечал. Смотрел в никуда.

...Она брела по Никитскому бульвару, по Гоголевскому, сидела в полудреме на скамейках в незнакомых дворах. Заходила в маленькие полупустые кафе, брала бумажный стаканчик чая с горячим травянистым запахом. Взять что-то поесть и в голову не приходило. Ездила в трамваях линиями, зигзагами, снова блуждала – по площади Гагарина и Ленинскому проспекту, как по временам, разделенным архитектурой: с одной стороны здания, похожие на Ниночкин торт с неизвестными цукатами, с другой – ряды хрущевского новодела. Шагала от Сретенки в сторону Цветного бульвара, по Сухаревскому переулку... Большая жизнь грохотала рядом. Иза двигалась сбоку, словно в нерастворимой капсуле, не соприкасаясь. В глазах, как на дне туманной воздушной реки, просвечивал совсем другой город: тротуары, сколоченные из толстых карбасных досок, пыльные улицы, неширокие площади над вечной мерзлотой и песками кембрийского моря. Древнее море, застывшее в глубине земли, тут и там вспучивало поверхность северного грунта и вытесняло болотцами хилую почву долины Туймаады...^[28] Всплывали из памяти улицы, облаченные в траур, с полосатыми красно-черными флагами на стене каждого большого дома. Флаги трепетали на ветру несколько лет и выцвели напрочь вместе с усатым портретом.

Искусственная борьба белого с черным – изобретенная для обмана людей клетка, о которой говорил Андрей, не так пугала Изу, как сочетание красного с черным. Или красное на белом... «Дачный» сон возвращался, стерег и мучил, всегда разный, но с одним и тем же подтекстом – ощущением горечи и сиротства.

В какой-то миг на солнце налетела серая стая облаков, следом грудасто нависли тучи. Первые капли скупно посеребрили ладошки листьев, и воздух набряк сумрачной предосенней свежестью. Город тоже потемнел, задумался перед тем, как отпустить душу в очистительное одиночество; расцелованная каплями зелень ждала омовения с обморочным трепетом. И дождь хлынул – напористый, сильный, почти ливень, превращая каменные улицы в русла кипящего мелководья. Иза стояла в вертикальной реке, река текла в нее. Дыхание сливалось с потоком, глаза слипались. Плачь,

девушка, плачь, никто не осудит, не пожалеет, не увидит никто. Чистые струи неба смывали с тела отпечатки чужих пальцев, беглых поцелуев, липкие, пограничные ночные следы. И пусть рану в нежных потемках растаможенной плоти было не залечить волнами сотни рек, но душа становилась легче и оживала. Саднящая соль греха и потери, телесная боль, одуванчиковая горечь впитывались в парную землю, уходя в щели брусчатки, блестящей и черной, как черные леденцы.

Иза поплелась по дождю, когда он пошел на спад, и город проявился с боков густо продырявленными пятнами окон. Туфли цвета беж, наверное, погибли, пузыристо хлюпая в лужах. В общежитие она вернулась по звонкому вечеру, раздобревшему от поздней солнечной ласки. Город был сказочно блестящ, над благодарной листвой клубился прозрачный пар с баннным запахом березовых веников. Где-то, плещась и всхлипывая, бежала вода.

На испуганные вопросы Ксюши, со вчерашнего вечера заведенной моторчиком беспокойства, Иза отвечала сбивчиво и невпопад. Послушно повесила на плечики влажное, отглаженное ливнем платье, растерлась полотенцем, чтобы девчонки отстали и чтобы не заболеть. Выпила чаю с сушеной малиной. Перед сном взяла острые портновские ножницы Жени и, не расплетая, отрезала свою длинную косу выше плеч.

Глава 4

Неси себя гордо

– Ты что наделала?! – вскрикнула в ужасе Женя.

Ксюша с захолонувшим сердцем подобрала со стула брошенную косу, сунула в тумбочку. Иза уже легла лицом к стене, закуталась с головой в одеяло. Ксюша лихорадочно замахала рукой на Женю – нишкни, не лезь, не мешай, видишь – не в себе человек... Опустилась на табурет у изголовья, осторожно коснулась плеча, прохладного, показалось, даже под байковым одеялом. Плечо не дрогнуло, приняло успокаивающую ладонь смиренно, и Ксюша поняла: выплакалась девочка. Целый день бродила одна по городу, с утра под солнцем, потом под дождем... Ксюша сама заплакала – беззвучно, без всхлипов и шмыганья, одними слезами. Дала слезам малую волю, хотя, не будь рядом Жени, припала бы к углу подушки и изрыдыла из себя ночь терзаний. Вчера сразу после ухода Изы начала каяться, что отпустила доверчивую. Случись какой подвох, никому нет дела до сироты, только Ксюше.

Утром Гусев известил о желании Изы прогуляться по городу. Это после ночевки-то неведомо где?! Темная мохнатая лапа страшных подозрений стиснула виноватую Ксюшину голову. Иза, конечно, умница, отличница, но без мудрости жизни. Ум и мудрость – разные вещи.

Гусев странно бегал глазами, дышал в сторону, щеки покраснелись, будто исхлестанные. Пил, что ли? Ксюша хотела спросить о возможной выпивке как бы между прочим, в скобках, – Иза советовала, прежде чем что-то сказать, «записывать» слова в уме для улучшения грамотности. Андрей явно чего-то не договаривал. Лгал, не умея, но в скользком выражении его глаз мелькал неуловимый запрет, и Ксюша сдержалась, не стала припирать допросом к стене. Если Иза передала – не волнуйтесь, значит, так ей было необходимо. Правда, Ксюша от этого «не волнуйтесь» совсем потеряла покой. На что Женя, снисходительная ко всяким отношениям с парнями, и та взвинтилась: что за компания, хорошо ли вы знаете вашего однокурсника? Ксюша заверила – Андрей парень надежный, не думай худо... а в груди пекло. Душа переворачивалась, как оладья на сковороде, вынуждая метаться от окна к двери. Искать идти? В Москве-то – иголку в стоге?.. В милицию заявлять рано. От слова «поздно» Ксюше делалось дурно. Не стерпела, кинулась к Гусеву. Ребята сказали – давно ушел. Куда? Они не знали, но был вроде чем-то встревожен. А тут Иза сама

явилась. И вот Ксюша плакала немо, с бегущим вспять невозвратимым временем в голове... Ой, не трожьте меня, черные думы! Украдкой постучала костяшками пальцев по ножке стола. Нечего сидеть молча с похоронным лицом, словно на поминках, – живая Иза.

– Таковую красоту отчекрыжила...

Тотчас пришла на ум мысль обругать Андрея. Если чист он, Иза откликнется, начнет защищать.

– Гусь, Гусь, паршивец этакий!

– Не Андрей, – шевельнулась Иза, на что и был нехитрый расчет.

– Другой? – затаила Ксюша дыхание.

– Да.

– Снасильничал?.. А Гусь где был?!

– Он был... пьян.

Переваривая услышанное, Ксюша смолкла в замешательстве. Снова погладила серое байковое плечо. Не зря Гусев, выходит, трепался про «водку пьянствовать»!

– Мне ль не знать, как скверно оно получается первый раз с мужиком, – сказала Ксюша. Постаралась вложить голубиную кротость в голос, готовый взорваться совсем не ангельским бабьим воплем. – Их, мужиков-то, вагон с тележкой, может... может, будет, Иза, покуда не встретишь своего. А косу жалко, не скоро же такие длинные волосья наживешь.

Воздух за окном засумерничал, листья клена сделались плоскими, прилипли к стеклу. Скорее бы ночь, чем этот свет не свет, мерклое, расплывчатое междурядье...

Кто посмел зло сотворить? Владислав ли, тип холеный, надменный, с онегинской хандрой в лице, или грузин с незапоминающимся именем, с глазами сальными, как подсолнуховые семечки, жаренные в свином жиру? Еще вчера Ксюша помыслить бы не могла о пакостных намерениях «театральных», а теперь не сомневалась: кто-то из них загодя все подстроил. С дальнобойным планом, нарочно напоил... и взял... Гусев, поди, вернулся, вытрясти бы из него сию же минуту, кто... Нет, нельзя оставить Изу одну. Женя не в счет...

Подумала об Андрее, и постучал в дверь, Женя открыла. В глухом шепоте ничего не разобрать, да и что нового скажет?

Ксюша поправила свисавшее в Изиных ногах одеяло, села спиной к комнате, лицом к окну. Глянь, а сквозь хмарную полумглу над крышей соседнего дома высветилась одинокая звездочка. Ксюша смотрела на нее долго-долго, пока другие звезды не высыпали. Эта же, одинокая, засверкала всех краше – ослепительная, с голубоватым вокруг сиянием,

точно в фате...

«Звездами» называют популярных певиц. Есть женщины, которые мечтают о больших способностях из-за выгоды, как Лариса, либо просто, лишь бы выделиться среди всех. А Ксюшу концерты-гастроли-афиши не особо привлекали. Но безропотно полагала: раз Бог прописал по судьбе непрошенный дар петь красиво по дедовским генам, стало быть, благодари. Да и впрямь, разве нет причин, за что благодарить? Богу все наперед известно. Не будь у Ксюши генного дара, не оставила бы ее у себя Эльфрида Оттовна, не поехала бы Ксюша в Москву и Патрика бы не встретила.

Существуют вещи куда значительнее известности. Не понимала Ксюша женщин, ставящих на первое место лавры. Слава – всего лишь приправа к блюду жизни. Со славой вкусно, но можно без нее. Всякая приправа надоедает, и еду ею не заменишь. Никто же не ест гольную лаврушку без супа и пирога. По сути, для счастья женщине нужно немного: муж, дети, дом. Это ее святая троица. Все просто, без мудреных излишеств – вода, мука и соль, да любви живая опара, чтобы поднялся и вызрел в печном жару добрый хлеб...

«Ты должен с ней расстаться», – велели Патрику в кубинском представительстве, когда он заявил, что хочет жениться. Там откуда-то разведали о Ксюшином прошлом. О сожительстве с дезертиром, австралийских родственниках и неизвестно, о чем еще. Выложили «жениху» компромат и были разочарованы: Патрик все знал. Ксюша и не думала скрывать. Тогда ему объяснили честно: «Никто не разрешит морально неустойчивой девушке-сектантке покинуть пределы страны».

А Ксюша бы и не покинула. Как бы бросила мать с больным отцом, сестер-братьев, село свое и мечту о семейском хоре? Если поставить на одну чашу весов родню, Эльфриду Оттовну, Забайкалье, а на другую – Ксюшину любовь к Патрику и его любовь к ней, то не выйдут равными чаши.

– Не плачь, Иза. – Ксюша забыла, что не подруга, сама она плачет. – Вот кончишь институт, и все у тебя будет браво. Все плохое забудется, развеется худой сон.

Женя не спала, прислушивалась. Ксюша высмотрела в сумерках, как приподнимается над подушкой ее голова, чтобы лучше слышать. Евгения не болтушка, не доносчица, как Лариса, но любопытная. Все же следует отвести возможное брожение сплетен.

– Слышь-ка меня, Жень, – грозно возвысила Ксюша голос, и соседка вздрогнула. – Предупреждаю: растрезвонишь чего-нибудь – поколочу, хоть

ты и на четвертом курсе. Честное комсомольское.

...Жила-была себе Ксюша крепким шагом двадцать два года и думала, что в жизни ее навалом радости-горя, а в Москве обнаружилось – мало жила и мелко. Здесь же всего один год и несколько месяцев вместили такое огромное и яркое время – аж не верилось. Ксюша научилась читать ноты и петь джаз, вживую увидела множество знаменитостей на сценах театров, еще больше – встречала прекрасных людей. С некоторыми из них даже подружилась. К Изе так вообще привязалась, как к родной сестренке. Стала гораздо умнее и мудрее. Патрика полюбила... Никого, никогда больше не полюбит она так сильно и потому отступит. Вернется в деревенскую жизнь к маме, к отцу. Будет ухаживать за тятей, читать ему газеты вслух вечерами, петь любимые его песни. Кому еще-то, почти все по другим селам-городам разлетелись. Это же счастье – видеть, как отец отвечает мокнущими в любви глазами, как мама ставит утром хлеб в печь, смешно вытянув губы, будто целует воздух, пахнувший опарным тестом.

Хлеб для семейских – жизнь. Любую степь, всякую лесную глухомань приспособливают они под пашню. Живут по-своему, в благочестии и труде. Следовали бы и вере, если б не наступила пора верить в партию больше, чем в Бога... Старые уставы деревня все равно не забыла. Некоторые до сих пор держат в углу буфета завернутую в бумагу особую посуду для нечаянных гостей, полы после них шоркают дресвой... Зачастили в последнее время историки и фольклористы, выпрашивают стариков про прежнее житье-бытье. Хозяйки вроде бы привечают, отвечать не отказываются, а после чашки-ложки полощут отдельно, в проточной воде... О том известно. Чужие, бывает, оскорбляются. Не разумеют, что семейские не от хорошего привыкли осторожничать. Ведь подымать пашню во благо отечества ссылали их в земли нищие, голодные и больные, где черная оспа целые села косила. Как не остерегаться?..

Много ждет Ксюшу впереди маленького и большого счастья, пусть и без Патрика. Неведомое чудо зацепилось в ней крохотной завязью, доказанным подтверждением, продолжением любви. Деревенские долго станут отворачиваться от Ксюши, как от прокаженной. Она приготовилась вытерпеть любой позор. Зачем портить жизнь Патрику невольным вмешательством в его дела, в главную его мечту сделать свою Кубу великой, как Советский Союз?

Осенью ожидается джазовый фестиваль, и как-то спокойно надо поговорить с ребятами о том, что она в нем участвовать не сможет. Юрий наверняка страшно обидится... Ну, ничего, потом поймет. На возобновившиеся репетиции Ксюша не пойдет и завтра же простится с

Патриком душевно и мягко... очень мягко, и навсегда.

Боковое зрение уловило легкое движение в небе – звезда упала. Ох, слава богу, не та красавица, но небо словно встрепенулось, загоревало, беззвучно крича. А как же – потеря. Хоть звездочка, хоть метеорит, все равно жаль...

– Не самая большая кручина, Иза, девичья потеря. Мало ль у женщин крови течет? Ой, сколько! Ручьи, ничем не измеримые. А зачем эти ручьи? Не знаешь? Я скажу. Мужики кровь свою держат, берегут, может, для какой-нибудь ихней войны, – то нам неизвестно, а женщина всю себя изнутри отдает. Всю себя! Для жизни. Так Бог решил, чтоб жизнь на земле не кончалась. Ты – женщина, ты – такой вид человека, который Богом помечен. Крепись, что б ни случилось! Пускай люди судят-рядят, придет время – подумают по чести, по-божьи и по совести твоей: се женщина настоящая! Неси себя спокойно и гордо. Всегда носи себя спокойно, даже если у тебя разрывается сердце.

Глава 5

Ненависть пахнет свиньей

...Первое, что Иза увидела, входя в кабинет парткома, – это бесконечное множество глаз. Они окружали ее, преследовали, пронизывали, пока она шла по красной дорожке к букве Т – тупику стола заседаний. На самом деле глаз было всего десять, а людей соответственно пятеро: Борис Владимирович, новый проректор по воспитательной работе, декан, Лариса и девушка, одетая, согласно обстановке, в «белый верх» с застегнутыми под горлышко пуговицами и сверкающим эмалью комсомольским значком на груди. «Низ», то есть скрытая столешницей юбка, была, надо полагать, черной... Иза еле узнала Милу. С гладко прилизанной головкой, без грамма косметики, крепенькая Мила напоминала розовый, чисто вымытый молодой клубень, свеженарытый в Ильин день, и с вызовом смотрела на Изу ясными глазками.

Перед Ларисой лежал лист бумаги. Наверное, будет что-то записывать. Какой-нибудь протокол...

Базис к восхождению по карьерной лестнице Лариса уже успешно выстроила на недавнем отчетно-выборном собрании, не без поддержки Бориса Владимировича превратившись из комсорга группы в секретаря бюро комсомола института. На лекциях она избегала бывших друзей. Держалась собранно, постройнела с прошлой сессии и волосы перестала накручивать. Животрепещущая актуальность новых будней в роли вожака, наступательное движение к верхам и собственной приемной придало Ларисе заметной уверенности. Подтянутый стиль ей шел.

Проректор, натянув невнятную улыбку на несколько великоватые зубы, глубокомысленно постукивал пальцами по столу. Декан сидел чуть дальше остальных, вполоборота к окну, с брезгливым лицом, словно съел что-то невкусное и ни выплюнуть не мог, ни проглотить. На хозяина кабинета Иза не рискнула взглянуть. Она не понимала, зачем ее сюда вызвали, но, разумеется, не ждала ничего хорошего от мероприятия, туманно поименованного Ларисой «совещанием».

– Садитесь, Готлиб, – предложил десятиглазый Цербер пресным голосом Бориса Владимировича. – Вы знакомы с Эмилией Хомяковой?

Иза хотела сказать – незнакома, и сообразила: Эмилия Хомякова – Мила.

– Да.

– В один из последних выходных дней августа вы с однокурсником Андреем Гусевым и студентами театрального института справляли некую вечеринку на некой даче... Так?

– Да.

– Нам стало известно, что Андрей Гусев похвалялся на этой вечеринке кражей книг из общественных библиотек.

...Мила оказалась не из тех, кто бросает слова на ветер. «Вы все, все пожалеете!» – кричала она, молотя Тенгиза по спине... Умница, настоящая актриса. Успела ли поквитаться с Владиславом?

Иза вздрогнула: декан отворил вязко скрипнувшие шпингалеты и приоткрыл оконные створки. Потянуло осенней свежестью – в кабинете впрямь стояла какая-то липкая, потная духота.

– Андрей не хвалился. Он пошутил.

– Извините, Иза, зачем вы лжете?! – драматическим голоском воскликнула Мила. – Гусев подробно рассказал нам о способе выведения библиотечных печатей перекисью водорода! Я не заметила в его словах шутки.

– Он просто ответил на вопрос Тенги...

– Кто присутствовал при этом разговоре? – перебил Борис Владимирович.

– Я, Владислав Хомяков, Тенгиз Гогиашвили и она, – кивнула Мила подбородком.

– Владислав Хомяков – ваш брат?

На утренне розовом Милином лице проступила застенчивая заря.

– Он мой муж. Мы поженились полтора года назад.

– Действительно ли Гусев называл произведения партийных деятелей макулатурой?

– Я не слышала, – растерялась Иза.

– Ее не было, – пояснила Мила. – Она вышла, когда Гусев спорил со Славиком о преимуществе частных библиотек перед публичными. «Общественные укомплектовывают в основном макулатурой «Политиздата», материалами съездов и прочей ерундой», – сказал он. Я возмутилась, поэтому запомнила дословно. Если будет необходимо, Славик и Тенгиз подтвердят, что я говорю правду.

Борис Владимирович обвел «совещание» скорбным и одновременно торжествующим взором. На вислых его щеках рдел неровный румянец, ветерок из окна сдувал пыльцу перхоти с широких плеч темного костюма.

– Как вам нравится подобная характеристика политической литературы?

Мила решила, что вопрос адресован ей, и ответила с видом поправленной справедливости:

– Я думаю, Гусев отозвался о съездах подло. Он оскорбил всю страну, ведь советский народ живет программами партии! У меня в уме не укладывается, что такому человеку в будущем доверят нести свет в нашу культуру...

– Далее Гусев вроде бы зачитывал религиозные цитаты из своей записной книжки?

Злобный Милин взгляд ожег удивленное лицо Изы, как веткой крапивы.

– Д-да, – споткнулась Мила, – зачитывал. Он оставил блокнот на даче. Я передала его в комитет вашего комсомольского бюро.

Лариса с деловитой готовностью выложила на середину стола маленький толстый блокнот. Борис Владимирович протер очки кусочком замши, накинул их на нос и все так же однотонно, без пассажей, зачитал из раскрытых записей:

– «Высший мистический смысл любви не в поклонении и боготворении женщины как красоты, вне лежащей, а в приобщении к женственности, в слиянии мужской и женской природы в образе и подобии Божьем...»^[29]

Руки парторга слегка подрагивали, будто у картежника с козырной картой в конце игры. Голос внезапно отяжелел и возвысился:

– Вот подлинная ерунда и мракобесие! Кстати, очень интересно, что за таинственный источник снабжает советского студента псевдонаучными буржуазными опусами? Они не печатаются около полувека! Я, между прочим, прочел сейчас навскидку, а книжка полна еще более красноречивых выписок из теософических статей и собственных сентенций Гусева в том же духе.

– Значит, это дневник? – смутился проректор и снова затарабанил пальцами по столу.

– Сборник афоризмов, – поспешил заверить Борис Владимирович. Кивнул Ларисе. Та встала, поощренная к докладу высоким доверием и пламенным духом многочисленных собраний, ставших отныне ее жизнью. Как человек, причастный к государственности, заговорила веско, блестя глазами, повлажневшими от начальственного энтузиазма.

– Своего однокурсника я знаю хорошо. Мы довольно тесно общались в одной группе, и я имела возможность присмотреться к нему внимательно. Мне горько далось осознание, что за человек Андрей Гусев. Неоднократно я указывала Гусеву на его пренебрежение нормами коммунистической морали, на либеральное низкопоклонство перед Западом и тягу к

пережиткам капитализма. В то время, когда тысячи комсомольцев честию считают принадлежность к Ленинскому Союзу молодежи, Гусев открыто смеется над комсомольской дисциплиной и долгом, над коммунистическими целями и идеалами. Он почти открыто критикует советский строй. Огромное влияние на Гусева оказывают неизвестные мне, к сожалению, люди с неприемлемой для нашего общества упаднической идеологией. Мы боремся и будем бороться со всеми подозрительными личностями, бросающими тень на нашу социалистическую действительность. Именно поэтому нам надо разобраться с Гусевым.

Лариса уже не скажет Андрею по-свойски: «Зовсим с глузду зыхал». Она быстро освоила чиновничий языковой минимум с его повторами и длиннотами. Все линии ее многослойного характера объединились и целеустремленно направили Ларису по единственному пути с искренней верой в свою правоту. Пусть даже этот путь усыпали лепестки тех роз, чьи шипы были подброшены на чужие дороги...

– Прошу простить меня за то, что не сразу поняла, как коварно действует на некоторых моих сокурсников разлагающее краснбайство Гусева. Я ведь и сама чуть не подпала под его артистическое обаяние. Из-за своей доверчивости я невольно позволила вовлечь товарищей в сети гнилого нигилизма. – Лариса кинула виновато-горестный взгляд на декана. – Надеюсь, мы не совсем опоздали и попорченное мировоззрение кого-то из обманутых еще можно исправить... Сам же Гусев, по моим наблюдениям, оступися давно. Он умен, начитан, ему легко дается учеба. Поверхностно он производит впечатление веселого друга и благополучного советского человека. Но если узнаешь его ближе, оказывается, что это законченный формалист. В нем отсутствует законопослушное начало. Гусеву не нравится мир, в котором живем все мы. Он придумал себе другой. Я совершенно случайно уличила его в посещении церкви, куда он не стыдится ходить с выжившими из ума старушками. Полагаю, на одном из общих собраний надо поднять вопрос о действующих церквях. Они есть почти в каждом городе, и следовало бы разработать инструкции по борьбе с ними для будущих сотрудников культурно-просветительных учреждений. А в нашем сегодняшнем эпизоде мы обязаны принять соответствующие меры по ограждению студентов от неблагонадежного человека, глубоко зараженного плесенью обскурантизма и политической безнравственности. Гуманность здесь только во вред. Мы ходатайствовали перед ректором об исключении Андрея Гусева из института. Ему не место в рядах комсомольской организации, не место в советском учебном заведении!

Лариса села, упоенная могуществом обличительного доклада и укреплением активной позиции в глазах чужой студентки, судя по всему, не лыком шитой. Может, пригодится. Кто-кто, а уж Лариса знала цену всякой мелочи в жизни.

Обе девушки с чистосердечным любопытством уставились на третью. Иза первой отвела глаза. Она не сомневалась: «совещательное» выступление Лариса выучила и отрепетировала загодя.

Хотелось спать. Иза чувствовала себя снулой зимней рыбой. Ее плавники едва шевелились в мутном иле. Фосфоресцирующие очи следили за ней из слоев воды, но она засыпала, засыпала гипнотически, безотчетно, безвыходно...

Из неуместного сна ее вывела нашатырная волна знакомого свиного пота. Рука Бориса Владимировича потрясла блокнотом перед Изиным лицом.

– Что вы думаете об этом?

– О чем?

– О злостных... ошибках вашего друга, Изольда Готли-и-и-иб! – тонко, с подвыванием взвизгнул парторг. От привычного хладнокровия в его голосе не осталось и нотки, голос наконец-то принял участие в том, что переживалось на лице.

Сидящие за столом испуганно сжались, словно тупик стола переместил их в тупик лабиринта, где...

– Мы вас предупреждали, Изольда! – загромыхал Минотавр Владимирович в накренившихся, обитых мебельной фанерой пещерных стенах. – Мы уверены: Гусев обсуждал, осуждал при вас, а может, и вместе с вами действия партии и правительства! Мы больше не намерены миндальничать с опасным субъектом! Предателям следует дать урок, чтобы другим было неповадно! Их надо гнать из учебных заведений, из общества, из советской страны, гнать вон! Вон!

Голову Изы от виска до виска обхватил железный обруч. Страх ледяными копытцами заскакал по позвоночному столбу, взмыкивая на каждом позвонке: мы, мы!.. Мы!!! За уверенным местоимением, коротким и в то же время беспросветно множественным, Иза узрела сотни, тысячи исходящих ненавистью борисов владимировичей – серо-белесое облако свирепых мошек. Вернее, блох. Мала блоха, да кусает больно... Иза почти физически ощущала, что зависшая над ее телом фанатичная толпа чует в ней насквозь аморального человека и вот-вот запустит в плоть кровососущие хоботки.

– Вы согласны, что Гусев – злостный нарушитель социалистического

строя?! Отвечайте!

Ответить было невозможно. Сердце колотилось в горле, застревало в нем скользким комом. Иза боялась, что сейчас задохнется. Но и с Борисом Владимировичем творилось неладное. Он уже не мог сдерживать порывы благородного негодования. Рыхлая, бесцветная кожа лица, пользуясь редким моментом, призвала к себе, кажется, все нутряные краски от розовой до багровой. Крылья носа возбужденно трепетали, пот выступил над верхней губой...

– Вы разделяете преступные убеждения Гусева? Да или нет?!

Услужливая Лариса энергично подтолкнула по столу бумагу. Лист с конькобежным изяществом прокрутился по лаку стола и безошибочно застопорился перед Изой.

Текст был отпечатан заранее. Мушиные букочки тянули щепотки фраз, складывались казуистическими дорожками, мостиками (как же много вокруг насекомых), «...считаю поведение комсомольца, студента факультета КПР, несовместимым с... согласна, что отчислить его из института будет единственным правильным реше...»

Борис Владимирович выдернул из нагрудного кармана золотистую зацепку самописной ручки, подписавшей не один документ и вообще знавшей много. С силой, как рукоять ножа, воткнул ее в Изины одеревеневшие пальцы:

– Подписывайте!

Зрение Изы сузилось вместе с гортанью, вниманием, слухом и странно раздробилось. Мелькали картофельные ямочки на Милиных щеках, тоскливо-постное лицо проректора, глянцевые вишни Ларисиных глаз, сбрызнутых водицей пытливого рыночного интереса: почему нынче ваша дружба с Андреем? сколько стоит? на что в обмен?..

– Я... так не считаю, – почти беззвучно пошевелила Иза губами.

– Не считаете поведение Гусева недостойным? – разгадав по губам, уточнил парторг. – Отказ подписать честное признание прямо доказывает вашу вину!

Зрачки в расширившихся глазах Бориса Владимировича затягивали Изу в себя, как две черные проруби, пятна слились на вздутом флагом лице. Не вынеся натуги, парторг заверещал. Иза не расслышала что – в потный воздух тотчас же пала тишина. Длинная и глухонемая.

– Бюро комитета ВЛКСМ проголосовало единогласно, – пролез в безмолвную вечность осторожный проректорский вздох. – К чему лишний документ? Может, обойдемся без него?

– Что ж, тогда лично попытайтесь отчитаться перед горкомом, – едва

слышно прошипел Борис Владимирович, свербя стол полыньями зрачков. – Или письменно. О нездоровом политическом климате во вверенном нам учреждении.

Не одна Иза подвергалась шантажу, сам проректор находился у эскутера на крючке. Правда, легче от этого открытия Изе не стало. Он снова повернулся к ней:

– И-золь-да Гот-либ! Вы подвергаете остракизму не только себя, но и Ксению Степанцову. С Ксенией мы побеседуем с глазу на глаз... Но что Степанцова, вы подставляете под удар всех! Всех нас!

У окна задвигался человек, о котором Иза совсем забыла.

– Пора закругляться. – Декан постучал пальцем по стеклу наручных часов. – Завершайте ваше мероприятие.

Борис Владимирович истерично дернулся:

– Простите... Как прикажете понимать?!

– Довольно представления. Обед, – сказал декан угрюмо.

– Подписывайте, Готлиб, – захрипел парторг, – иначе ваша подруга вслед за Гусевым вылетит из института!

Иза зажмурилась, словно временная слепота могла создать иллюзию отстраненности: раз-раз-раз... меня здесь нет... Детский побег из реальности не помогал. К носу несся ядреный дух весеннего кабана. Мужская ненависть пахла свиньей. А может, ненависть вообще всегда так пахнет. Перо наугад прошелестело по листку. Никогда, никогда Иза не чувствовала себя так отвратительно.

– Гусев крал книги из библиотек, – спокойно произнес Борис Владимирович в одной из резиновых секунд. – Это чистой воды уголовщина. – Он как будто оправдывался.

Декан поднялся и положил руку подписавшейся на плечо:

– Вы свободны.

– Подождите, Иза, – напомнила о себе Мила и выронила на стол из ладони прозрачную голубую слезку – шпильку с бусинкой. – Вы потеряли на даче. Под кроватью нашла.

У двери Изу просифонило сквозняком, она бессознательно обернулась. В свинцовых глазах, бьющих, как всегда, навывлет, светилось то, чего она ни разу в них не видела. Удовлетворение.

«Вы свободны». От кого, от чего она свободна? Иза шла по коридору и думала, что о постыдных вещах, случившихся на даче, ее никто не спросил.

Земля горела под подошвами. В институте повсюду были расстелены красные дорожки.

Глава 6

Любовь к апельсину

Пока Иза брела на чужих спотыкающихся ногах по аллее, каждый из квинтета ее судей распорядился отрезком времени сообразно своему настроению. Довольная Мила подкрасила губы у зеркала в гардеробе и переделалась в стильные брючки. Лариса отправилась в бюро сочинять инструкцию по борьбе с религиозными отрывками прошлого. Проректор в столовой задумчиво возил по остывшему жиру нацепленной на вилку котлетой, жесткой и несгибаемой в отличие от его меланхоличного характера. То есть отсутствия характера, из-за чего проректор, несмотря на уважаемую должность, выглядел в своих глазах простофилей и оправдывался перед собой. Он часто так делал. Потом жил дальше.

Декан прихватил всеми забытую на столе бумагу. Шагал домой, вздыхая и хмурясь, несмотря на осень, которую любил. А день разыгрался спокойный, чудесный; без содействия ветра потихоньку летела под ноги листва, на обрывках паутины остро взблескивали лучи не по-осеннему яркого солнца. К открытому овощному ларьку выстроилась недлинная очередь за апельсинами. Взглянув на горку оранжево-красных шаров, декан вспомнил Новый год, голодные, но веселые детские годы, и самочувствие его немного улучшилось. Хотел было примкнуть к очереди, но передумал и пошел дальше.

Отойдя за угол, декан бросил вокруг опасливый взор и поднял камешек с асфальта. Завернутый в бумагу камешек саданул в голубей, бесстыдно спаривающихся на декоративной консоли здания. Потревоженные голуби загулькали и взмыли на крышу, где, возможно, продолжили приятное занятие наперекор инстинкту, повелевающему им предаваться любви весной. Однако и начиненная камешком бумага, вопреки желанию декана избавиться от нее, возвестила о своем возвращении возмущенным стуком у ног. Смешливо крикнув, декан подобрал неотвязчивый документ и уселся на скамью в ближайшей аллее.

Декан курил папиросы «Беломорканал», к которым пристрастился со времени безапельсинового детства, пока в урне один за другим догорали бумажные клочки с никому не нужной Изиной подписью.

...Достопочтенный парторг, с еще не сошедшими розовыми пятнами на лице, стоял в это время в кабинке мужского туалета над унитазом. Сладко постанывая и содрогаясь в победных конвульсиях, Борис Владимирович

исторгал из себя остатки оскорбительного влечения. Иза так никогда и не узнала, что он был первым мужчиной, возжелавшим ее безудержно, яростно, почти смертельно.

Он не видел Суламифи все лето и едва не погиб с тоски. Но разлука тоже была любовь. Любовь и песнь, превратившаяся в молитву, и отчаянное заклятье, призванное уничтожить кусок горестно-сладкой памяти. Крепкую получил парторг встряску в весенней аллее. Точно ледяной водой его окатило, когда увидел свою возлюбленную рядом с негодным мальчишкой.

Борис Владимирович не мог не вызвать девушку «на ковер». Вначале она вжалась в стул, будто собралась уйти в сиденье, кануть в пружины, в дерево, в воздух. Борис Владимирович уже ни на что не надеялся, но любил, любил... Любил тенистую грусть ее ресниц, ее восхитительные грудки, шелковые колени, атласный живот цвета сливок на топленом молоке; он готов был растворить ее в себе всю, как сахар в чае... А она каждым взглядом била его по лицу. Он, боец невидимого фронта, выдержанный в крутой энкавэдэшной закваске, падал, понижался в должности, в достоинстве, усыхал телом – бесцветный человек, белая мышка, моль. Он выкрикивал невразумительные фразы под жестоким ее каблучком, и, когда падать стало некуда и нечему, с ним в сухом остатке случился нервический взрыв.

Внутри невыносимого приступа Бориса Владимировича посетило дикое видение. В этой страшной картине он, отчаявшийся в муках кабального воздержания невольник, овладел наглым, недоступным, неизъяснимо прелестным созданием. Он набросился на лилию чужого мира, рыча и визжа. Разодрал на ней одежды, выкрутил руки, искусал губы, шею... персики... перси... Кровь ручьями лилась из уст, ланит и сосцов – юных серн, терзаемых львами на вершинах Сенира... О-о-о! Нет слаще плодов перед казнью.

Легкий взлет девичьей руки, попытавшейся прикрыть нежное тело, прекратил чудовищный припадок, ужаснувший парторга, пожалуй, больше, чем девушку по имени Изольда Готлиб. «Я – маньяк, – сообразил Борис Владимирович в какую-то долю секунды, отделяющую его от преступления. – Маньяк одной девушки, которая меня не любит».

Он был не в силах сообразить: финал или ничего? В обманчивое слово «ничего» (ничего-ничего, все о'кей) как будто вложена надежда, но тут Борис Владимирович на мгновение вошел в пределы, недоступные человеческому пониманию, и вдруг всем захлебнувшимся в страхе разумом постиг уклоняющийся смысл слова. «Ничего» – это не сама

смерть. Смерть на самом деле – асфиксия последних вдохов, конвульсия задвигаемого занавеса: финита ля комедия, товарищи, пожалуйста оставить на третий день аншлага цветы, рыдания и речи. А пресловутое «ничего» – не что иное, как посмертие. Полное, беспредельное, абсолютное небытие. И только поэтому он не сдох.

Спасти от всепоглощающей страсти ему повезло на грани безумия. Театральная девушка принесла записную книжку Андрея Гусева. Борис Владимирович забрал ее домой, полистал не без любопытства. Вооружился очками – почерк был каллиграфический, очень мелкий – и зачитался.

Гусев писал стихи. Далекие от соломоновской Песни песней и эротического пыла, несмотря на выписки из соловьевского трактата о плотской любви. Юнец любил не женщину. Умилительно нелепый мальчишка признавался в любви земле, людям, богу – последнее показалось Борису Владимировичу особенно занятным. Безотцовщина, – усмехнулся парторг, и сердце дрогнуло. В старое доброе время сентиментальный юнец влачил бы жалкое лагерное существование или был бы казнен. Одно стихотворение он только начал:

Когда-нибудь в землю скорлупкой паду,
Чтоб к небу душой возвратиться.
Спешат перелетные птицы к гнезду,
Всегда...

Борис Владимирович не отказал себе в удовольствии поиграть в буриме. «Всегда мне грядущее снится», «Всегда есть, к чему устремиться» и так далее. В наплыве поэтического настроения его захлестнули подавленные любовным мороком воспоминания: маманька Варвара Ниловна, с печальным вздохом погладившая однажды по голове, – росток мой белесенький; веселый огонь Роберта Иосифовича, зажегший в бледном пугале искру жизни; поездки со сбором антропологических данных по лагерям, с тайной радостью превосходства над теми, кто потерял человеческий облик. Вспомнился и скрыто трепещущий интерес к существам, бывшим некогда мужчинами и женщинами. Только разница в гениталиях отличала пол того или иного скелета, обтянутого шершавым чулком сухой кожи... Не исчезни Роберт Иосифович где-то в необъятном мире, может, и в его денщике к зрелым годам проснулась бы склонность к науке. Ведь учился же, карабкался, преодолевая себя, наполнялся знаниями, необходимыми для многих превосходств над людьми. Набивал мозги поверх сохранившихся в памяти книг сокровенной библиотеки, хотя не прикипел ни к рекомендованным Робертом Иосифовичем знаниям, ни,

собственно, к власти. Просто выполнял завещание кумира: «Иди, Борька. Будь, как я». Выбивался к собственному потолку, большего не алча, никому не завидуя. И вот на рубеже ускользящих сил и лет возьми да напустишь на него колдовское еврейское наваждение... бес в ребро, гиблая блажь и мировой агрессор Израиль! Как мог он, Борька, предать своего Отца и Учителя?!

Как-как. Так же, как неблагодарный народ предал своего.

Очень кстати поступило к Борису Владимировичу серьезное предложение из органов. Пригласили на должность не крупную, но вполне достойную, не то что топкое бултыханье в институтской бестолковщине, с ее предосудительно заносчивым административно-преподавательским составом. И эти, «свои»... вспомнили, гады! А нечего было разбрасываться проверенными на сто рядов кадрами.

Борис Владимирович сидел на даче, вертел в пальцах рюмку-яичко а-ля Фаберже, зеленой эмали, забранную серебряной сеточкой. Наслаждался коньяком, свежим воздухом из распахнутой форточки. Вокруг настольной лампы, с шорохом тукаясь о твердый матерчатый абажур, бесилась мошка. Закрыв глаза, Борис Владимирович порывисто сжимал, тискал диванную подушку и отбрасывал ее в сторону, продолжая беседу с висящей на стене репродукцией, словно не было только что безысходных объятий с подушкой... Насмеялась над ним Суламифь. Накручивались обида и гнев – зачем смутила, зачем манила в обманчивые рощи небытия?..

В полночь, когда бутылка порядком опросталась, Давид, то бишь Роберт Иосифович, молвил: «Дурак ты, Борька. Микеланджело учился у Гирландайо, а ты, хоть и не гений, меня вспомни, мои над человеческими душами научные опыты». В Борисе Владимировиче от этих слов внезапно воспрянул, худосочным росточком зашевелился инстинкт самосохранения. Инстинкт рос стремительно и к утру стал превыше слабого, подверженного страстям тела. Превыше любви.

На восходе посетила мысль гениальная и простая: сделать с душой Суламифи то, что мечтал сделать с ее телом. А заодно избавить институт от Гусева с его вредной религиозной направленностью. После со спокойным сердцем можно отправляться на новую-старую работу. Спасибо за подсказку, Роберт Иосифович.

Позже Борис Владимирович сжег рукописи Андрея. Сжег за год до того, как в журнале «Москва» появился роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», и за три года до прочтения одолженной у знакомого (только быстро, Боря, вещдок) самиздатовской подшивки в клеенчатой папке. Триста двадцать с лишним листов перепечатки пролетели как миг. Борису

Владимировичу доводилось видеть «Дни Турбиных» в МХАТе еще до войны – неплохо, и пресса отзывалась восторженно. Но эта книга его потрясла. Оригинальным образом трактовал писатель Библию, и трансцендентное «ведомство» Воланда описал с психологической достоверностью.

Рукописи не горят? Горят, дьявол их побери! А те, что не горят, рассекречиваются не скоро... не скоро... Может быть, никогда.

Борис Владимирович рассчитывал, что Ларисе понравится замысел устроить судилище, и не прогадал. Лариса сама предложила пригласить проректора и декана от лица комсомольского актива.

Парторг, разумеется, загодя все подготовил к искупительной жертве во имя непорочной репутации института. Собрал все подписи и бумаги, включая ходатайство бюро комсомола. Лариса, похоже, так и не смекнула, что урок нравственности, преподанный впавшей в заблуждение студентке Изольде Готлиб, действительно был представлением.

...Да, как-то надо прижучить декана с его развязавшимся не к месту языком. А тогда Борис Владимирович не нашелся что ему веско ответить. Смотрел на Изольду и гадал: почему выглядит болезненно, зачем волосы состригла? Наитие подсказало: не чиста! Чужая девушка сидела перед парторгом с опущенной головой, засыпая от стыда и омерзения.

Умерла Суламифь... Эмилия Хомякова подтвердила догадку, уронив на стол шпильку с голубой бусиной: «Под кроватью нашла». Подколола отравленной шпилькой. Дерзкий красавчик, надменный мальчишка вскрыл запечатанный источник. Что ж, поделом тебе, Гусев.

Ручное скотство в туалете Борис Владимирович должен был совершить как ритуал над могилой любви. Излились, точно лава из лопнувшего фурункула, лихорадочный жар, пронзительный пот, романтика, песнь и страсть. Послушание плоти, вышедшей из-под контроля разума год назад, наконец-то вернулось. Борис Владимирович почувствовал себя отрезвевшим, легким, почти счастливым. Распаренный, умиротворенный, в новой, купленной на толчке и необыкновенно его молодившей болоньевой куртке «маде ин итальяно», шел он домой и думал о том, что мало ценил свое холостяцкое счастье. Вспомнилась женщина из предпоследних перед Суламифью. Как ее звали – Галя? Люся? Надо же, забыл. Повторял подзабытые имена, когда-то одетые живой теплой плотью, посматривал на проходящих мимо женщин с улыбкой – здравствуйте снова, милые мои Гали, Люси, Наташи. Имя одной из вас восстановит однажды былую прить осиротелых ночей... Кажется, Клавой звали ту предпоследнюю. Была секретаршей, радушно делила между непосредственным начальником и

Борисом Владимировичем пылкое добросердечие. Называла его (их) «душкой» по природной рассеянности и лени помнить имена в особо щедрые моменты жизни. Он прощал ей дурацкое обращение за возбуждающую манеру грязно материться в эти моменты. За изящные лодыжки и ласковую попу. Женщина, правда, была экспансивной не в меру... Э-э, да мало ли бродит по Москве податливых поп! Взять хотя бы портниху Таисию из индпошива, тоже бабенка в самом соку и не откажет, с первого дня знакомства в примерочной понял – не откажет...

На прохваченной солнцем улице перед ларьком на колесах колготилась очередь. Продавщица ловко перебрасывала на весы из ящика рыжие апельсины, будто жонглировала. Не уронила ни один из прекрасных плодов цвета шевелюры на гениальной голове Роберта Иосифовича. Как не взять огненных фруктов в память о нем и витаминов ради?

Очередь была небольшая, но Борис Владимирович встал впереди, потеснив пегого старичка с портфелем. Тот было пискнул традиционное: «Вас, товарищ, здесь не стоя...» и звонко клацнул вставной челюстью, наповал заткнутый пристрелянным взглядом парторга. Остальные тоже стушевались, примолкли... то-то, товарищи гаврики.

Весело помахивая авоськой с маленькими солнцами, шествовал Борис Владимирович посреди рыжей осени и усмехался: сказка «маде ин итальяно» о трех апельсинах, пущенная драматургом Гоцци гулять по театральным подмосткам, завершилась хорошо. Вот и наш герой с честью прошел по безводным пустыням. К желанному роднику не приник – ну и что, не один в мире источник. Народные сказки, в отличие от библейских, всегда хорошо кончаются...

«Роберт свет-Иосифович, апельсин ты мой единственный», – засмеялся Борис Владимирович и сам не заметил, как заскочил по привычке в магазин ювелирных изделий. Машинально склонился над прозрачным прилавком, где на черном бархате лежали сапфиры... Раньше лежали. Теперь их не было. Вместо них в смягченном люминесцентном сиянии влажно кровавились другие серьги – пошлые, яркие, бьющие в стекло алыми бликами. Багровые рубины в окаемках дутого золота. Борис Владимирович в оторопи нагнул ниже, обшаривая прилавок неверящими глазами... где?

– Вы не сапфировые ли серьги ищете? – спросила молоденькая продавщица. – Так их купили.

– Что?

– «Ваши» серьги сегодня купили, дедушка, – сказала она громко, очевидно, полагая, что он туг на ухо.

Он никогда не обращал на нее внимания, а продавщица, конечно, не раз его видела. Она была совсем девчонка, худая, с прямыми плечами. Полосатое платье висело на ней, как полотенце на перевернутых граблях. Между голодными наруганными скулами сочувственно и сочно улыбался рекламный рот...

Посетитель дрогнул нумизматическим профилем, ослабшими коленями, всем затянутым в модную болонью телом. Авоська выпала из пальцев, и драгоценные золотые мячики раскатились по полу.

– Ой, извините, я вас расстроила!

Продавщица с виноватым видом кинулась собирать рассыпанные плоды. Борис Владимирович медленно развернулся к ней, коленопреклоненной, и прохрипел сверху вниз тихо, но очень отчетливо:

– Пошла на хуй.

Глава 7

Одна

Объясниться с Гусевым Иза не успела. Он ушел, пока она плакала, и, совершенно обессиленная, спала. Как всегда веселый – ни намека на огорчение, скатился по перилам и со словами «Ты поумнел» сорвал свою фотографию с Доски почета в вестибюле. Дарья Максимовна рассказала.

– Еще имя произнес иностранное, – задумалась она. Вспомнила: – Монтэк! «Ты поумнел, Монтэк». Потом со мной попрощался, душевно так. Шebutной паренек, а хороший. Жаль, что выгнали.

День за днем Иза только и делала, что перебирала обрывки разговоров с Андреем, а среди ночи просыпалась от прилива фаталистической обреченности. Это чувство имело название: вина. Красные ковровые дорожки вызывали в Изе ощущение знобкой наготы. Всюду чудились брезгливые усмешки, казалось, в институте нет человека, который не знал бы о предательской подписи под «совещательным» документом. Изматывающая боязнь начала отступать лишь тогда, когда Жене удалось выяснить в комсомольском бюро, что никто не собирается разбираться, действительно ли Гусев крал книги из библиотек.

Парторг не вызвал Ксюшу на беседу с глазу на глаз, как сулился. То ли забыл, то ли счел угрозу «вылета» достаточным предупреждением. Он вдруг прекратил преследовать Изу. В коридорах она прокрадывалась мимо Бориса Владимировича на грани беспамьятства и, отдышавшись, с облегчением убеждалась: даже не смотрит. Лариса, кажется, тоже стала

теперь ему не нужна. Впрочем, она процветала и без его поддержки. Ларисин съездовский доклад на тему борьбы студентов с религией получил высокую оценку.

Вскоре Борис Владимирович вообще исчез. Поговаривали, будто он приглашен на прежнюю работу. Изину радость по этому поводу омрачил молчаливый уход Ниночки из института. Песковская не зашла в общежитие, не захотела встретиться – значит, винила... А потом нехорошие перемены произошли с Ксюшей. Она сделалась какой-то рассеянной, осунулась и, главное, перестала бегать на репетиции. На осторожный вопрос спокойно ответила, что рассталась с Патриком. Больше ни слова.

Заметив, как сильно Иза расстраивается из-за внезапной Ксюшиной замкнутости, опытная во многих отношениях Женя поделилась своей догадкой:

– Скорее всего, политика вмешалась. С одной моей знакомой случилось то же самое. Формально у нас не препятствуют браку с иностранцами, на деле же упрекают в отсутствии патриотизма, требуют сотни справок и даже грозятся. Всю душу могут вынуть запросто.

Несмотря на дурные предчувствия и приступы мрачного настроения, часто мучающие Изу без особого повода, она старалась как-нибудь развеселить Ксюшу, вытащить в кино, просто на прогулку. Ничего не получалось. Уставая от притворства, Иза переключалась на борьбу с собственным отчаянием, и так же впусую.

Джазовый фестиваль прошел без Ксюшиного участия. Зимой, не слушая ни уговоров, ни слезных просьб, она внезапно бросила учебу и уехала к родителям в Забайкалье. Иза очень скучала, ведь ближе Ксюши у нее в Москве никого не было. Да и нигде не было, кроме двух старых соседок в Якутске.

Вечерами, сидя по-турецки с учебником на кровати и забыв о занятиях, Иза подолгу бродила глазами по карте СССР. Всматривалась в бирюзовое коромысло озера Байкал, возле которого разбросались в межгорьях староверские деревушки, и где-то среди них красовалась «кучерями» Ксюшина. Река Лена вылетала из-под стражи байкальских хребтов и мягко, долго обтекала нежной рукой северные земли. Лохматый зверь Балтийского моря опирался на карту двумя голубыми лапами, опустив хвост за ее пределы. Удравшая к Юкатанскому проливу ящерица Кубы не высывалась даже кончиком хвоста...

Иза давно не видела Патрика. Он, наверное, грезил об открытиях новых месторождений в своей лазурной стране, и память о Ксюше потихоньку

заметалась московскими снегами с мечтой о белых песках Варадеро. Ах, как же подмывало найти Кэролайна и рассказать ему новости! Но Ксюша строго-настрого предупредила в письме: «...не вздумай болтать обо мне Патрику. Если спросит, скажи, что живу хорошо, чего и ему желаю. Юрию и ребятам в ансамбле кланяйся от меня. Успехов им и здоровья, пусть курят поменьше». А Иза и с Юрием сто лет не встречалась. Ни с ним, ни с Валентином Марковичем. Носилась из общежития в институт и обратно, раз в три дня захаживала в гастроном – вот и вся ее дорога. О весточках от Ксюши узнавала обычно по хитрому виду Дарьи Максимовны. Довольная нетерпением Изы, вахтерша вынимала из-за стойки толстенький конверт и, помахивая им, всякий раз дразнила: «Пляши, а то не дам!»

Письма Ксюша писала нечасто, но обстоятельно и, отмечала Иза с улыбкой, почти грамотно. Очевидно, совет мысленно записывать фразы, произнесенные вслух, не пропал даром. Ксюша в подробностях сообщала о здоровье родных, об Эльфриде Оттовне и своем клубе, где начала работать художественным руководителем через месяц после рождения сынишки.

За маленьким Николаем Патриковичем приглядывала мать. Ксюша несколько раз на дню бегала домой кормить ребенка, благо клуб был недалеко. Давно онемевший после инсульта отец неожиданно начал выговаривать «Каля» – имя свое и внука. Мать так привязалась к младшему Николаю, что ревновала его к дочери, о чем Ксюша писала со смехом: «...а была бы, говорит, титька моя с молоком, мы бы с Ниолушкой вовсе в тебе не нуждались». С любительской фотографии на Изу смышлено смотрел кудрявый младенец экзотической красоты...

В каждом письме Ксюша звала к себе. «Не пожалеешь, Иза, если к нам распределишься, честное комсомольское! Стала бы директором клуба, а то некому. Один тут числится, работать не хочет, единолично мучаюсь с отчетами. Как славно было бы вместе целые представления ставить из семейской жизни! В клуб вслед за молодежью потянулись взрослые, а певучих стариков да охочей до песен детворы у нас всегда страсть сколько, потому количественный охват самодеятельности на душу населения у меня один из лучших в районе. Похвастаюсь: на областном смотре мы отхватили первое место! С помощью знакомых Эльфриды Оттовны в районном ДК удалось выбить денег на материал для костюмов. Наши мастерицы сами сшили-вышили кички, сарафаны, рубахи, нанесли из сундуков старинные наряды. Женщины надели давнишние бусы из янтарей (семейские сусстари их любят), местный умелец накатал парням поярковых шляп. Киномеханик декорацию нарисовал – окошко с березовой веткой, девчата занавески в петухах нацепили. Ребята игру на ложках осваивают, а

балалаечников у нас целых два! Непростой стал ансамбль – забава и загляденье! Еще расписную бабушкину самопрялку я приволокла из дому. Самая старшая участница Фекла Дмитриевна, семьдесят семь годков ей (Гарбузова фамилия), тут же на концертах нитку прядет с овечьей шерсти. Учит женскому заделу правнучку Анютку (той десять лет), и обе поют при этом! Услышишь песни моего ансамбля – весь день есть-пить не захочешь от радости. Приезжай пока хотя бы на лето! Общежитие для специалистов решено построить, к окончанию твоей учебы наверняка будет готово, и комнату немедля дадут. Ты к природе чуткая, быстро влюбишься в наши края. Зимой смотреть на село браво – разноцветные избы хороводятся ряд к ряду, все в снегу, как в пуховых платках. А летом! А Байкал, Иза!!! От районного центра до него на автобусе совсем недалеко. Даже описывать не стану байкальскую красоту, не могу – дыхание от слез спирает...»

Чернила в этом месте и впрямь слегка расплывались. Дальше Ксюша задавала множество вопросов и требовала ответить на них «...досконально, а то все куда-то спешишь. Не надо спешить, Иза, гляди за собой крепко. Новые друзья позовут – сперва присмотришь, но лучше вообще совсем не ходи на всякие вечеринки. Незнакомый парень зачнет приставать – сию же секунду пресекай, пока руки не распустил. Я, например, так говорю: «Катись колбаской, не то глаза выцарапаю!»

Здесь Ксюша, видимо, спохватывалась, что Иза может дурно подумать о семейских ребятах: «Ну, мне-то редко ругаться приходится, у нас парни не нахальные, потому как воспитанные в основном. Сильно соскучилась я за тобой и жду. Хоть небольшая в клубе получка, зато на еду почти не станешь тратить. Вся снедь домашняя, картошки-капусты навалом, кур держим, зимой я у рыбаков омуля на пироги недорого беру. За модными вещами тут не гоняются, не стилижничают. Да не в деньгах дело. Ты, я знаю, до них не жадная, не экономичная «до мозгу костей», как не буду поминать кто... Приезжай...»

Изе, между прочим, пригодились Ларисины расчетные памятки. Привыкла экономить, и стипендии теперь, как ни странно, хватало. Мало расходовалось добровольное пособие, ежемесячно посылаемое Натальей Фридриховной. На попытки отказаться от содержания та ответила письмом с раздраженной отповедью и пригрозила посылать нарочно больше, «... чтоб ты, Изочка, не мурыжила мою совесть своим стыдливым нытьем». Посоветовала откладывать излишек: придет пора – понадобится.

Ни первым летом, ни вторым Иза в Забайкалье не поехала. Москва продолжала стремительно расширяться, студенты пользовались случаем подзаработать на стройках. В мамину шкатулку понемногу откладывались

деньги на поездку в Клайпеду после учебы и подарочные посылки в Якутск. Вот исполнит Иза данное маме обещание вернуть бел-горюч камень Балтийскому морю, тогда и отправится к Ксюше – навсегда.

Глава 8

Мадонна выходит из тени

Дарья Максимовна заговорщицки подмигнула в окошко. Иза обрадовалась: письмо! Но вахтерша загадочно сказала:

– Посетительница к тебе! Я впустила.

«Неужели Ксюша приехала?!» – недоумевала Иза, прыгая вверх через две ступеньки. Она вообще-то прибежала за тетрадь, забыла конспекты по наглядной агитации. Ой, да не умрет без нее эта ненаглядная наглядная! Радостно распахнула дверь...

– Привет, – буднично сказала молодая женщина, сияющая в темноватой комнате, как сошедшая с картины мадонна. Без младенца, но с большим животом. Свет искал ее, притягивался к ясному лицу и нежно оглаживал матовую кожу.

Иза невнятно поздоровалась, сжимаясь невольно: вот уж кого не ожидала увидеть. Ниночка, одетая в вязаную кофту и длинную юбку, была как будто вовсе не Ниночка, а ее старшая сестра, отданная ребенком в деревню и там выросшая. Вела себя свободно, словно расстались неделю назад – подошла и обняла, ткнувшись прохладным лбом в Изину щеку.

– Что с тобой? Не рада?

– Рада...

Ниночка засмеялась:

– Полчаса тебя жду, проголодалась ужасно! Ставь чайник, – открыла бумажный пакет, – блинчики взяла.

Изу не отпускала растерянность, грызли вопросы. Спросить не осмеливалась, не знала, с чего начать, и Ниночка не торопилась. Надкусывая блинчик, застонала от наслаждения:

– М-м-м, вкуснотища! У беременных, говорят, всякие прихоти, а я до сегодняшнего дня не страдала, но зашла в «Шоколадницу» на Октябрьской и поняла, что дико соскучилась по ее фирменным блинчикам.

...Роскошно сервированный стол, торт с неведомыми цукатами, домработница Марина, стирающая в машинке целлофановые пакеты... Кажется, вечность прошла с тех пор, как Ниночка вела себя грубо и вызывающе, выглядела смелой, раскрепощенной, но такой зависимой от

барского, как девчонкам казалось, комфорта... Теперь она не переставала удивлять.

Теплая невесомая ладонь легла на Изину руку.

– Прости, что я с тобой тогда не попрощалась. Все у меня в ту осень как-то жутко закрутилось, поменялось: поскандалила с родителями, жила у школьной подруги. Потом поселилась у Валентина Марковича в холостяцкой квартире, а он на время перебрался к своим. Работала, не поверишь, посудомойкой в заводской столовой, нянечкой в детском саду... В общем, кошмар. Мне и в голову не приходило, что ты себя казнишь.

Кровь бросилась Изе в лицо.

– Я... как я могу не каз... В этой... кляузе все было подготовлено без меня, но ведь я подписала...

– М-да. – Ниночка помедлила. – Похоже, я и тут виновата. Сколько Андрей ни выбивал из меня дурь, так эгоисткой и осталась. Представляю, как ты извелась. Почему-то думала, что тебе все известно про подстроенный над тобой «суд».

– Как – подстроенный?

– Парторг с Лариской разыграли спектакль для твоего перевоспитания.

Иза не могла поверить. Рой потрясенных мыслей мельтешил, путался: Ниночка лжет, сочиняет зачем-то... И вдруг встрепенулись, донесли до ушей памяти слова декана из того тяжелого дня: «Довольно представления».

– Моя подпись никому не была нужна?!

– Конечно нет. Андрея отчислили утром, а с тобой «разобрались» днем.

– Да, днем... Кто сказал?

– Ну, ты же в курсе, что декан – мой дядя. Он рассказал папе, а папа чуть позже – мне. Дядя в красках описал Ларискино выступление. Ругал себя, что пошел на поводу. Вначале-то не соглашался на такой «педагогический прием», но Блохин сумел уговорить. Может, и припугнул чем-то. В печенках у всех сидел, рады, что избавились.

Иза опустила лицо в ладони. Значит, не праведность была причиной взыскательности Бориса Владимировича, и Лариса со своим карьеристским рвением подвернулась ему как нельзя кстати. Хотя вряд ли догадывалась, что он просто ее использует... Но на чем же все-таки основывалась столь активная неприязнь парторга к Изе – на антипатии к ее внешности, национальности, к каким-то чертам ее характера? Если собрать вместе преследующие Изу события, связанные с Блохиным, все его отдельные слова, фразы, «расстрельные» взгляды и соединить в дедуктивную цепь, проступит ли истинная подоплека его отношения к девушке, которую он в лицо не видел до ее появления в институте?

Непреодолимый жар поднимался к глазам.

– Форточку открою? – спросила Ниночка, и в комнату ворвался весенний птичий гай. – Да забудь ты об этой инквизиции! Ты никого не предала, Андрею все равно бы не дали учиться. Блошка грозился выгнать Ксюшу из института, если не подпишешь, так ведь?

– Да, – глухо проговорила Иза сквозь пальцы.

– Блошка – гэбист, ломать умеет. Практика, должно быть, богатая. Бумажку с твоей подписью дядя сжег, не переживай.

...Не переживай. Верно, ни к чему ломать голову над чьими бы то ни было мотивами ненависти. Может, когда-нибудь все прояснится само собой и предстанет отчетливо, как загадка рассекреченного кода.

– Иза, я ездила к Андрею в армию. Осенью он вернется со службы. Мы с ним не зарегистрировались еще... не обвенчались... Но я живу в Перми с его мамой. Она мне работу нашла отличную – перевожу с французского технические тексты. Ходить никуда не надо, если что – телефон под рукой. Вера Геннадьевна чудесный человек, мы с ней душа в душу, вот только со здоровьем у меня не очень, а здесь папин друг-профессор, поэтому решили, что рожать мне лучше в Москве. Даже если у нас... у меня с Андреем семьи не выйдет, останусь с Верой Геннадьевной.

Взглянув полувопросительно, Ниночка весело защебетала о Пасхе и принялась описывать рецепт какого-то необыкновенного медового кулича.

– Это Андрей меня печь научил. У него же, за что бы ни взялся, все получается красиво и сразу, только способностей своих не признает. Шутит, что переболел тщеславием, когда не взяли документы в ИМО, иммунитет приобрел на всю оставшуюся жизнь. Сама знаешь, как он счастлив, если хорошо тем, кто с ним рядом. Будто не для себя – для друзей живет...

Ниночка и гордилась Андреем, и жаловалась с легким кокетством, а имя произносила с такой нежностью, что у Изы замирало сердце. Еще бы Иза не знала, как ему нравилось отдавать! Книги, вещи, деньги, если они у него были. Себя. Радость за близких друзей и сострадание отражались в Гусеве открыто, как в зеркале. Он, конечно, и сейчас остается тем же незамутненным, ранимым «гуттаперчевым мальчиком». Не в прошедшем времени. В прошедшем он только для нее.

Горечь отпускала Изу капля за каплей. Она не сомневалась: у Ниночки с Андреем все будет хорошо. Он никогда ее не оставит, потому что...

Прислонясь к спинке кровати, Ниночка погладила круглый живот, смешно ненастоящий на ней, будто спрятанный под юбкой глобус.

– О-ой, налопалась! Крещение приняла недавно, пост идет, но мне без

мяса нельзя.

– Ты покрестилась?

– Да, чтобы ребенок жил с Богом в душе.

– Ты веришь в Бога?..

Иза смутилась, стыдясь воспоминания: этот вопрос она когда-то задала и Гусеву. Знай Ниночка об их тогдашней беседе, вряд ли понравилось бы ей, как они обсуждали ее поведение.

– Я верю тому, во что верит Андрей. Он мечтает стать священником. – Ниночка усмехнулась, в темных глазах почудился прежний вызов. – А я – попадшей. Даст Бог, стану заниматься хозяйством: шить, варить, стирать, детей воспитывать. Можешь смеяться, мне это не скучно. Правда. Родители смирились. Пока не забеременела, папа называл меня барышней-крестьянкой.

От фотографии Николая Патрикovichа Ниночка пришла в восторг, рассматривала с понятным в ее положении умилением. Радуюсь возможности поделиться, Иза зачитала последнее письмо, где Ксюша скуповато упомянула о краевом фестивале песни и своем Гран-при.

– Андрей будет рад Ксюшиным успехам. – Сумрачная тень непонятной тревоги пробежала по большеглазому лицу гостыи. – Он тоже участвует в армейских концертах. Начал писать песни, их поет его часть. Есть одна песня, очень красивая...

Ниночка достала из кармана кофты свернутый вчетверо листок.

– Я слова переписала для тебя. Вот возьми. Вначале это были просто стихи с посвящением.

«Изе», – прочла Иза на развернутом перед ней листе.

– После исключения из института Андрей не сразу уехал в Пермь, – слова давались Ниночке с трудом. – Были большие неприятности, он подрался с Владом Хомяковым. Повредил ему челюсть, сломал ребро... Счастье, что не дошло до суда... Раньше Влад казался мне очень положительным, я никогда не слышала от него ни одного грубого слова. Это у жены его, Милки, язык как помело... Влад нахамил тебе? Сказал о тебе что-то плохое при Андрее?

Иза замерла. Ниночка была полна сюрпризов.

– Вот и Андрей не хочет говорить, – ее голос задрожал. – В общем, я поняла так: у вас с ним что-то было на этой дурацкой даче, Влад случайно увидел и дурно отозвался о тебе на людях. Да? Да, Иза?.. Прости, что докапываюсь, это, конечно, не мое дело и право, но... Андрей замолкает, как только я о тебе вспоминаю. Я могу говорить с ним обо всем на свете, и только ты – табу. Он тебя любил... Любит? Андрей что-то обещал тебе?

Изу пробрала дрожь изумления. Близость мыслей, вкусов, предпочтений двух человек не называется любовью. Но почему эта непостижимая общность с Гусевым до сих пор не дает ей покоя? Выходит, они оба считают себя виноватыми друг перед другом?..

– Пойми меня, постарайся понять, не молчи! – Ниночка почти плакала. – Если вы все еще хотите быть вместе, я не встану между вами, несмотря на это. – Она положила руку себе на живот. – Мне важно знать, что у вас было...

Иза боролась с искушением рассказать. Все рассказать о даче... о юных и глупых, какими они были с Андреем огромное время назад. Зажмурилась на миг, представив отстраненную улыбку на его губах перед двумя шагами, которые никто из них не сделал. Сказала правду:

– Ничего у нас не было, Ниночка. Мы даже не поцеловались ни разу.

Гостья ушла. Жаль, что не напела мелодию песни Андрея. А Иза и не попросила.

Глава 9

И в добрый путь

Тяжкое, грустное, светлое впечатление от Ниночкиного визита растворилось в буднях, устремленных к защите диплома. С кафедр все чаще произносились твердые, как глыбы, слова: «Ваша гражданская позиция», «вы обязаны, вы должны». Но наконец запестрели красной рябью майские праздники – рубеж перед последними экзаменами. Утро красит нежным цветом... Иза покорно плыла в алом море – речная рыбка в океанской стихии, кричала «ура», щурясь от кумачовых всполохов. Под оркестровые марши, с песнями, плясками народ шествовал по дорогам и площадям. Здравницы речей подпитывались гулом широкой толпы, взрывы оваций закладывали уши. Шеренги приближались к сердцу партии – Мавзолею. Трибуну мраморного склепа над этим мертвым сердцем оживляла линия членов Президиума ЦК, еще не утомленных властью, крепких, как боровички. Их растиражированные в последние годы фотографические лица, вздувая глянцевые щеки, мельтешили над толпой среди транспарантов и воздушных шаров.

...Эти портреты не потеряют лоска и тогда, когда с подачи их закулисной кухни начнется процесс над литераторами и когда Чехословакию оккупируют советские войска. Президиум реанимирует прежнее название – Политбюро, а первый секретарь партии вернет себе сталинский статус Генерального. Политический пантеон в полном составе и по отдельности будет с отеческой благосклонностью взирать на людей со стен коридоров обкомов и райкомов, учебных заведений, домов культуры, ленинских комнат исправительных учреждений и психиатрических больниц, куда станут помещать инакомыслящих – диссидентов.

В средние века *dissidens*^[30] в западноевропейских странах считались вначале все еретики, затем – христиане, не пожелавшие подчиниться папскому господству. В современном понятии слово обрело политическую окраску, и с чьей-то легкой руки им нарекли людей, вступивших в противоречие с режимом власти. Годы спустя Иза вспомнит: она слышала это слово от мамы. Мама однажды пересказала им с Гришкой рассказ отца о Даниэле Дефо. Писатель был выходцем из семьи диссентеров, как называли в Англии восемнадцатого века приверженцев «некондиционной» религии. Правящие круги приняли решение дать «честным» христианам право делать с сектантами все, что заблагорассудится. Изгонять из домов,

отбирать землю и скот, жечь (грабить) имущество. Возмущенный писатель сочинил сатирический пасквиль на правительство, нашедший живой отклик в народе. Власти приговорили Даниэля Дефо к недельному стоянию у позорного столба. На площадях обычно шла бойкая торговля, горожане могли насладиться зрелищем беспомощности преступников и потешить себя, забрасывая их тухлыми яйцами и гнилыми овощами. В то время наказание из самых безобидных, у человека по крайней мере сохранялась надежда остаться в живых. Изредка, если яйца заменялись камнями, она не оправдывалась. Но в случае с писателем надежды не оправдались у правительства. Вместо ожидаемых поношений люди «закидали» бунтаря цветами. Пришлось снять приговор, после чего Дефо сочинил «Оду позорному столбу». Роман о Робинзоне Крузо, созданный им спустя много лет, стал одой человеческой воле.

Речи с Мавзолея ничем особенным не отличались от остальных речей, но толпа взревела особенно мощно.

– Стратегическая задача, от которой зависит строительство коммунистического общества... Советский народ полностью поддерживает и одобря... Даздра... Даздрапермая праздмеждународсолидарнострудающ... Ура, товарищи!

Тысячи людей мгновенно присягнули: «Ура-а-а!» В подъеме могучего энтузиазма и человеколюбия колонны демонстрантов были готовы заключить в объятия весь мир. На ходу пели хоры заводчан в синих комбинезонах, фабричных девушек в красных косынках. На тихой скорости ползли машины, украшенные гирляндами бумажных цветов, с макетами кораблей, тракторов, ракет и фигурными группами физкультурников. Проехало гигантское чучело пузатого буржуя с сигарой во рту и бомбой под мышкой. За «дядей Сэмом» поползли пугала поменьше – отечественные помехи социализма – пьяницы, несунуны, тунеядцы, похожие на масленичные чучела...

Когда раскатистые речи пошли на спад, рукоплескания прервались громовыми аккордами песни «Красная гвоздика», а вскоре вьезшийся в глаза парадный костер притух и высыпался тлеющими углями на уличные площадки, где начались концерты. Иза отцепила с груди «спутницу тревог» и накинула поверх блузки и юбки белую тунику с крылами на рукавах: курс подготовил к празднику театрализованный монтаж. На свободном пяточке Арбата выросла широкая многоступенчатая лестница, закрепленная вроде стремянки. Ребята с цветными планшетами в руках плотно встали на ступени, и лестница превратилась в часть картины «Герника» Пикассо. Вышагивая прямо из живого витража, студенты

читали стихи Ильи Сельвинского, молодых поэтов Евтушенко и Рождественского. Едва выпорхнула белая птица, глаза зрителей устремились к ней. Страшная мозаика стиралась от взмахов рукавов-крыльев, как резинкой стирают карандашный набросок с листа, – статисты поворачивали планшеты светлой стороной к толпе. К заключительному аккорду моцартовской «Лакримозы» вместо изображения хаоса в убитом фашистами испанском городе возник лаконичный рисунок. Тот самый, на котором гениальная рука художника изобразила простое человеческое лицо мира, обнятое птичьим крылом.

У Изы осталось чувство непростительного отторжения от всеохватного торжества. Утешала мысль, что на майских демонстрациях в Ксюшиной деревне будет меньше трибунных речей и краснознаменных вспышек... Но вот отгремели праздники, и неощутимые нити времени подтянулись, еще быстрее заскользили вперед в темпе сюиты Свиридова. Потом не верилось, что апогей волнений, недосыпа и студенческих суеверий (конспекты под подушкой, медный пятак под пяткой, кукиш в кармане) остались позади.

Диплом о высшем образовании Иза получила не «красный». Но разве могла какая-то тройка (по «советскому праву») заглушить радость учебного финала! Новоиспеченные выпускники полночи бродили по набережной Москвы-реки, пугая ночные окна взрывами молодого смеха. Дорога превратилась в пешеходную, вслед редким патрульным машинам неся прощальный хор «Гаудеамус», и юная луна плыла по волнам поперек дрожащих фонарных дорожек. Однокурсники обещали переписываться, не терять друг друга и планировали грядущие встречи. Кто-то выгреб из карманов шпаргалки и бросил в реку. Узкие бумажные ленточки закрутило течением, унося под мост.

– Спасибо, альма-матер! Мы свой, мы новый мир построим!

– Нэ звалися, строитель!

– Не, не свалюсь! Стипешка скончалась! Да здравствует зарплата!

– До свидания, Москва!

– Здравствуй, Свердловск!

– Горький!

– Фрунзе!

– Якутск! – Иза крикнула и осеклась. При чем тут Якутск? Ей же в Забайкалье...

– Да здравствует Советский Союз!

– Ура, товарищи!

– Ура-а-а!

– Москва, спасибо-о-о!

...Прощай, Москва златоглавая! Прощайте, столичные театры, любимый зал Васнецова в Третьяковке, метро и троллейбусный маршрут «Б» по Садовому кольцу! Прощайте, Ленинские-Воробьевы горы, душистые липы, могучие дубы и смотровая площадка с белым фокусом Лужников! Прощайте, церковь Троицы и благовест, так и не сумевший завлечь Изу в двери храма... За то время, пока она училась, Москве было присвоено звание города-героя, в Александровском саду на Могиле Неизвестного Солдата зажегся вечный огонь, в районе ВДНХ возвели Останкинскую башню – Общесоюзную радиотелевизионную станцию имени 50 лет Октября – самое высокое сооружение в мире. А вокруг себя Москва обложилась многокорпусными ульями новостроек, куда и Ксюша с Изой внесли свою маленькую лепту. Прощай, звон-город, в чей многозначный нор и невероятную энергию Иза так и не сумела вписаться.

В институтской аллее компанию застал короткий дождь. Летучая дымка поднялась над землей на вырост травы, какой она станет в полной силе лета. Город заблестел умытыми крышами. Небо ловило лучи занимающегося рассвета, и восточный край, где живут кузнецы солнца, уже плавился жаркой медью. «Давай пожмем друг другу руки, и в дальний путь...» – полетели с крыльца общежития погрустневшие голоса. В доме, который был родным целых пять лет, снова шел ремонт, снова в заляпанной штукатуркой передней нервничали вахтерша и пальма, и свежевыбеленные комнаты четвертого этажа готовились принять абитуриентов. Осенью другой народ станет просыпаться здесь по утрам под дуэт дворницкой метлы с коридорным радио, торопливо досматривая сны перед бесконечной муштрой...

До комиссии по распределению осталось несколько часов. Иза решила чуть прикорнуть и с ходу врезалась в зеленый, просквоженный солнцем туннель знакомой тропинки в ельнике. Побежала, счастливая, заранее зная, что ее ждет за поворотом. Сон не был сном. Он был воспоминанием.

«...Пришла, птичка моя?» – Матушка Майис обняла Изочку, примчавшуюся на алас из заводского околотка. Дядя Степан неподалеку загонял в пастбищную изгородь отбившуюся от табуна кобылицу с жеребенком.

«Это твоя лошадь?» – спросил отца Сэмэнчик.

«Наша. – Дядя Степан закрыл жердевые воротца. – Видишь: клеймо колхоза на боку у нее стоит».

Такой ответ не удовлетворил обуреваемого стяжательскими мыслями сына: «Так наша или колхозная?»

Майис засмеялась: «Да наша, сынок, наша – колхозная!»

Обмирая от нежности, пятилетняя Изочка прислушивалась к негромкому смеху Майис, прижималась к ней, вдыхая родной запах... Очнувшись, Иза с захолонувшим сердцем ощущала его еще несколько секунд.

Запах одежды Майис зависел от календарной страды. Поздней весной от платья веяло кислинкой кумысной закваски, в середине лета – подвяленными травами. Осенью оно издавало дразнящий аромат продымленных кож для шитья торбасов. Но так пахнут многие трудолюбивые хозяйки, а у Майис был дух, присущий только ей. Изочка любила его втайне от мамы и больше всего. Он владычествовал над прозрачным детским временем, над маленьким Изочкиным миром с первого дня жизни: притягательный, как сладкий сон в глубине первотворенья, ни с чем не сравнимый дух молока. Якутские женщины долго кормят детей. До пяти лет левая сторона груди матушки Майис принадлежала Изочке, правая – Сэмэнчику. Это была их единственная общая собственность, из-за которой они ни разу не повздорили, как обычно ссорились и даже дрались, деля игрушки. Чудесных коровок и оленей с ветвистыми рожками дядя Степан мастерил из тальниковых прутьев... А когда Изочка переезжала в город, Сэмэнчик, подавив в себе прижимистость, отдал ей главную свою драгоценность – куриного бога. Тогда же дядя Степан подарил маме серебряные серьги. Мама и Майис, обе одинаково любимые Изочкой, обе с одинаковыми серьгами, стали похожи друг на дружку еще сильнее. Но с одной Изочка уезжала в город – в неведомую страну, где никогда не была, а вторая оставалась в любимой деревне. Изочке хотелось ехать и в то же время остаться, но о выборе ее никто не спросил. Матушка Майис взяла молочную дочь на колени, обняла-закачала: «Как я буду без моей птички?» Долго махала вслед...

Прошлое состоит из осколков чувств, они хрупче и прозрачнее стеклышек над детскими картинками из цветов и листьев в земле, но память собирает их, с каждым годом прибавляя к коллекции, и уму непостижимо, сколько давно отцветших радуг, солнца, ночной беспросветности, действий и фраз хранит в себе человек. Да не просто хранит, а пытается придать картинкам новый смысл в свете настоящего, которое скоро тоже станет прошлым, играет лукавым словом «если», способным завести воображение в дикие дебри и дивный лес. То и другое не приносит ничего, кроме тягости. Как бы сложилась жизнь мамы и Изочки, *если бы* Майис не потерялась в тайге? Дальше уже не вопрос, а нечто вроде ответа. Он растяжим и непредсказуем: *если бы* Майис не

потерялась в тайге, было бы так... Слово-надежда, слово-мечта, хрупкие покровы. А если сорвать их, предстанет жестокая правда – Майис не нашли. Пусть уж лучше оно останется как призрак предчувствия, как эхо невероятной возможности, это не сбывающееся слово «если»...

На распределении Иза получила характеристику для предъявления в отдел кадров будущего места работы, слегка побаиваясь, что комсорг Лариса настоит в этом документе на Изиной комсомольской неустойчивости. Но нет, четкая, с нажимом подпись Л. Шумейко подтвердила приемлемое в культурно-просветительных рядах идейное состояние Изольды Готлиб.

Просьба о направлении в Якутск удивила декана:

– Я слышал, вы собирались в Забайкалье... Ну что ж, как хотите. Якутии тоже нужны специалисты.

Глава 10

Время возвращать камни

Ксюша, конечно, страшно огорчилась, получив телеграмму. Тотчас отправила ответ: «Приезжай будущим летом на весь отпуск». В шкатулке ждал встречи с морем бел-горюч камень. На груди под воротом блузки покоился куриный бог – барометр нынешнего настроения Изы. Поезд тронулся с Рижского вокзала на запад и как будто перебросил ее во времена поездки в Москву. Та же плацкарта, те же торчащие с верхних полок ноги в носках и без, остывающий чай в стакане со сдержанно дребезжащим подстаканником, сахар-рафинад в салфетке и, почудилось, та же выдрессированная в невозмутимости проводница. Но от насыпи разбегались не насупленные ельнички близкой тайги, а малахитовые леса Латвии, цветистые ее луга и хутора с растрепанными гнездами аистов на крышах. Ночью рядом с поездом, просвечивая насквозь, с грохотом проносились встречные составы. Огоньки за сумеречным стеклом вспыхивали, как опрокинутые куски звездного неба.

Начиная с Риги, вид за окнами переменился: это были уже подступы к Европе. Когда поезд подошел к бывшей вотчине литовского князя Гедиминаса – к городу, созданному из любви, легенд и камня у слияния двух рек, – ввысь стрельчатыми башнями устремилось уцелевшее средневековье. Из привокзального кафе густо струился дивный аромат кофе. По словам мамы, его нигде не готовят так вкусно, как в старом Вильно... Иза купила в сувенирном киоске набор открыток с вильнюсскими видами. Помешкала перед красивой фотографией Лайсвес-аллее – аллеи Свободы в Каунасе. В каунасских фортах погибли тысячи литовских евреев и среди них – большое семейство Готлибов. Сгинули все, кроме Хаима, сосланного с женой в Сибирь, самого гордого и упрямого из четырех братьев, которому было даровано находить свет даже там, где никто не видел света. Оставшимся в живых землякам Хаима и Марии с другой Лайсвес-аллее, что шеренгой жалких юрт выстроилась на берегу ледяного мыса, посчастливилось вернуться на родину. Дядя Паша поддерживал связь с папиным другом Гарри Перельманом, сообщал ему новости об Изочке, а она отказалась переписываться. Иза и теперь не хотела видеть этот город. От мыслей о нем остался прогоревший пепел.

Мимо окон экспресса снова полетели полосы ночного неба и прерывистые его двойники на земле. Ранним утром показалась Клайпеда.

Мелькающие среди столетних дубов нарядные строения напоминали пряничный дом из сказки братьев Grimm, куда старая ведьма заманила Ганса и Гретель. Машины двигались по гладкому шоссе, как утюжки по шелку. Куршский залив обнимал древний город широкими руками, ярко вышитыми красным по зеленому. Биржевой мост, ясно отражаясь в спокойной воде Дане, эллипсоидным браслетом закольцовывал ее белооблачную руку между двумя разновременными берегами: на правом рассыпались многоэтажки современного ландшафта, близ устья по левому, словно плавники нерестящегося лосося, выступали из волн листвы кровли Старого города.

В гостинице круговой полет времени повторился, включая элементы интерьера в виде высокой конторки и безучастной администраторши с начесом. Кажется, только вчера Ксюша упавшим голосом спрашивала у нее: «Скажите, пожалуйста, а что, совсем нет местов?» Иза приготовилась услышать лаконичный ответ, но дежурная домоправительница без всяких околичностей потребовала паспорт и, заполнив нужные бумаги, приподняла кругло выщипанные брови:

– Всего на сутки?

– Да, я уеду завтра.

Больше женщина ничего не добавила, назвала этаж и вручила ключ от номера.

Образцово опрятная комната выходила окном во двор и располагала всеми простыми удобствами. Иза торопливо помылась в душе, хотя никто не ждал своей очереди за дверью, как обычно в отсеках бани. Сердце подрагивало в предвкушении прогулки по Старому городу и знакомства с морем... К нему еще нужно было добраться. Сунула мамин янтарный кулон в карман «белочкиной» обветшавшей сумочки и переделалась в чистое. Волосы с горько памятного лета отросли ниже спины. Связала их в хвост – высохнут на ветру.

Речные набережные изумляли взор ухоженностью и какой-то кухонной чистотой. Намертво втоптаный в землю камень мостовых, наверное, помнил цокот копыт лошадей городской стражи, стук деревянных башмаков утренних молочниц, бойкую морзянку школьных ботинок... пробежку отца... легкую поступь мамы. Родители, конечно, сотни раз проходили у полуразрушенного бастиона – свидетеля великих пожаров, войн и эпидемий чумы. Иза, правда, не знала, когда и кем были разбиты башни многовековой цитадели – конно-железным воинством с кровавыми крестами на белых плащах, или люфтваффе со свастикой на крыльях. Священник Алексей, попечитель Марии, сообщил ей в письме, что

фашистские бомбы уничтожили полгорода, стерли с лица Земли православную молельню и кладбище, где была похоронена бабушка Софья. А ратуша, в которой зарегистрировали брак Мария и Хаим, сохранилась...

Прелестная каменная девушка в задумчивой отрешенности брела над площадью перед драматическим театром, точно по мелководью лагуны. Возле скульптуры Анике из Тарау проходили когда-то конкурсы песен на праздниках моря. Отец, по рассказам мамы, солировал в студенческом хоре... А на какой, интересно, улице находился кинотеатр, в чьих витражах Мария разглядывала фотокадры из фильма «Королева Кристина» с Гретой Гарбо в главной роли? Подошедший молодой человек пригласил Марию в кино, и она, неожиданно для себя, согласилась. Доверила незнакомому мужчине полтора часа своей жизни, как потом доверила ему всю жизнь...

Иза дрогнула, заметив невдалеке группу юношей в форме морского училища. Мелькнул рыжий вихор... Гришка здесь? Мореход?! Сделала шаг и остановилась. Даже если Гришка в самом деле здесь, нужна ли ей лишняя встряска, незапланированный зигзаг в намеченных на день планах? Мореход на своем пути, она – на своем. Повернула в сторону.

Кругом сверкали витрины, вереницы манекенов демонстрировали летние наряды. На одном, то есть на одной, красовалось синее в белый горошек платье. Примерно такое же Мария купила для поездки в Любек, сотни лет до Гитлера остававшийся свободным торговым городом. Она рассказывала Изочке и Гришке, что гости выходят на городские площади через ворота башенной арки с надписью: «Concordia domi – foris pax»^[31]. Этот мудрый девиз напоминал Изе якутскую поговорку: «Спокойствие мира начинается с тебя». А равновесие срединного мира, по поверью якутов, поддерживает мировое древо с живущей внутри его ствола Хозяйкой Земли...

Вспомнив о шаманском дереве у аласа Майис, Иза взяла сосне в подарок полметра синей атласной ленты в сувенирной лавке. Не могла не зайти и в продовольственный магазин, он так и манил выставленной за стеклом снедью – пирамидами дефицитных шпрот и сайры. В нос сразушибанул мощный запах рыбы: в эмалированных лоханях рыбного отдела сияло свежее морское серебро и золотилось копченое, чернели копешки съедобных водорослей (совершенно несъедобных на взгляд) и щетинились усиками тараканьи горы отвратительных креветок. Иза еще не завтракала, а тут аппетит пропал.

Влажный ветер сквозил в вышарканных до черепного блеска тележных проулках, где не смог бы развернуться и «Запорожец». Из-под стрех блестяли мансардные окна и стекло миниатюрных балконов, увитых

косицами дикого винограда. К слившимся с тротуаром цоколям фасадов, за неимением места для клумб, доверчиво, как к подоконникам, жались глиняные горшки с незатейливыми цветами.

Тесные лабиринтовые улочки хранили бережливый и добродушный дух бюргерской старины. В неведомой глубине этих шахматных ходов стоял до войны старый фахверковый особняк успешного владельца деревообрабатывающей фирмы Ицхака Готлиба. Деда Изы. А родители снимали квартиру с сентиментальным названием «Счастливый сад» у старой фрау Клейнерц. Там они действительно были счастливы – до тех пор, пока западный муссон не принес в Клайпеду нацистские поветрия. На прощание фрау Клейнерц подарила Марии кулон с камнем-талисманом. Если старушка жива и не переехала в Германию, хотелось бы увидеть ее, как о том мечтала мама. При всей сложности топография Старого города не казалась такой уж путаной, и вначале Иза бодро присматривалась к домам, но под мамино описание подходил каждый третий, а название улицы она безнадежно забыла. Нет, слепой поиск был, конечно, бессмыслен.

Непривычные к булыжнику ноги устали быстро и запросили отдыха. Иза сидела на скамейке, разглядывая дырчатое кружево на стене, плетенное из света, тени и листьев... памяти и забвения. Чудилось, что под прикрытием оконных цветов за улицей наблюдают бесплотные старушки с чашками выпитого временем кофе в прозрачных пальцах... Пешеходы и велосипедисты возникали в каменной пустыне эпизодически, как мелкий прибой. Их морозящий говорок, шепот шагов и шин едва оживляли сонную тишину. Приблизив к гостье свое рубленое из тверди лицо, малолюдный город несколько не стал ей ближе.

– Извините, у вас, случайно, спичек или зажигалки не найдется?

Занятая своими мыслями, Иза не заметила подошедшего (подкравшегося?) со спины человека. Обернулась в возмущении – с чего это ее приняли за курящую? Серые глаза наглеца смотрели внимательно, дружеская улыбка чеканила резкие складки от крыльев длинноватого носа к углам твердых губ. Климат здешнего побережья, склонный к внезапным ветрам, накладывает на внешность людей характерный отпечаток... Мужественное лицо, хотя и ничего примечательного.

Молодой человек ждал, вертя в пальцах сигарету. Иза прислушалась к тому смутному, что возникало в ней при знакомстве с мужчинами, – легкий интерес обычно исчезал без сожаления, но иногда в ней просыпалась безрассудная девушка с желанием откликнуться непринужденно и весело.

– Впервые в Клайпеде?

– Почему так думаете? – вырвалось до того, как увидела, что из сумочки торчит угол путеводителя.

Балтиец поболтал ногой в ботинке с модным зауженным носком.

– Потому что вы неместная. Вы – Кармен.

Вспомнилось предостережение из Ксюшиного письма: «Незнакомый парень зачнет приставать – сию же секунду пресекай, пока руки не распустил. Я, например, так говорю: «Катись колбаской отсель, не то глаза выцарапаю!»

Иза усмехнулась, подавляя шальное желание так и сказать. Усмирила сумасбродку в себе и встала.

– Вы не Хозе.

Он заторопился:

– Я вовсе не тот, за кого вы меня принимаете...

– Я тоже не Кармен, – бросила она.

– Тогда кто вы?

Иза шагала прочь, стараясь держать осанку, и смеялась над собой.

– Подождите! – воскликнул он с неподдельным огорчением в голосе и, поскольку надежд она ему не оставила, выпалил: – А если я рискну пригласить вас на чашечку кофе?

(Катись колбаской, не то...)

– Не отказывайтесь, вы много потеряете, если не завернете в феноменальное кафе за углом!

Ее зацепило нестандартное определение.

– Чем же оно так необыкновенно?

– В нем жарят самые вкусные в мире цеппелины! Вы их пробовали? – поравнялся он с ней.

– Жареные дирижабли? – улыбнулась Иза. («Уже обед, а я даже не завтракала! Я голодна, голодна!» – пицала в ней лукавая девушка.)

– Ну что вы, литовские цеппелины гораздо вкуснее немецких летающих сарделек!

Обстановка кафе была выдержана в духе матросского трактира – массивные столы, лавки вместо стульев, вмонтированные в якорь часы на облицованной темным деревом стене. Из жаровен распахнутой кухни густо, словно от костра со стегном на рожне, летели заманчивые запахи.

– Жаль, корюшки сейчас нет, тут ее тоже превосходно готовят. Знаете, что эта рыбка пахнет огурцами?

– Я знаю, что нельма пахнет арбузом.

– Белорыбица, которая водится в северных реках? Значит, вы из

Сибири! Обь, Иртыш, Енисей?

– Лена.

– А ваше имя...

– Иза.

– Антанас. Вот и познакомились. Что будем пить, кроме кофе? Хотите «Швинтурис»?

– Что это?

– Пиво. Очень мягкий, женский, можно сказать, вкус.

– Чай, пожалуйста.

– Хорошо, по чайку, – поспешно согласился Антанас и принес с раздачи что-то розово-зеленое в гофрированных бумажных тарелках. Величина порций соответствовала моряцким аппетитам.

– Цеппелины?

– Нет, салат с креветками. Цеппелины вот-вот будут готовы.

За разговором Иза тихонько похоронила в зелени нежное мясо несчастных моллюсков. Некоторые гастрономические боязни жили в ней с тех пор, как детдомовские мальчишки пекли в золе лапки лягушек.

Антанас коротко рассказал о себе: в Клайпеду он в детстве переехал с родителями из Варняй, судостроитель, сейчас в отпуске.

– Вы, надеюсь, не на один день? Предлагаю себя в гиды.

– Именно, что на один.

Его лицо печально вытянулось:

– Почему?

От ответа ее спас парнишка в белом халате и колпаке. Стрельнув в гостью оценивающим взглядом, он переставил с подноса на стол вкусно дымящиеся тарелки и соусницу со сметаной.

– Маэстро, неплохо бы вазочку пtifуров к чаю, – попросил Антанас и, когда парнишка удалился, шепнул: – Кулинарный талант!

Цеппелины оказались чем-то вроде пирожков, только вместо теста было картофельное пюре. Горячий сок мясной начинки брызнул из хрустнувшей корочки, как из-под кожицы поджаренной сосиски.

– Роскошные «аэропланы», правда?

– Немцам не снилось, – кивнула Иза.

Они болтали о летательных аппаратах и амфибиях, о невыявленных способностях гомо сапиенс, обо всем, на что наталкивала ассоциативная тема. Удивляясь чувству незнакомой «взрослой» свободы в себе, Иза несколько не тушевалась перед человеком, о существовании которого не подозревала всего полчаса назад. Жизнь, впрочем, должна была измениться, уже менялась, в ней проступала полная приятных обещаний

новизна – легкая, как воздушные птифуры, тающие во рту.

– Спасибо, Антанас. Кафе действительно феноменальное.

Он вдруг замялся:

– Позвольте задать вам один вопрос... м-м... Вы собираетесь пробыть у нас так недолго... собираетесь с кем-то встретиться?

– Да.

– Это ваш друг, – замаскировал он под констатацию вопрос (второй, между прочим).

– Это море.

– Интересно, – озадачился Антанас.

– Я хочу бросить в него камень, – сказала Иза и засмеялась, сообразив, какой неожиданный смысл получился у фразы.

Глава 11

Море и Юрате

По дороге к пристани они зашли в сувенирную лавку, где в соломенной и янтарной пестроте витали ароматы весеннего цветника и цитрусов Нового года – кроме сувениров магазинчик торговал парфюмерией. Статуеподобная продавщица перекинулась с Антанасом литовским приветствием (он, кажется, со всеми был знаком) и окинула спутницу откровенно неприязненным взглядом. Изумленная столь враждебным приемом, Иза робко спросила:

– Э-э... скажите, пожалуйста... у вас есть французские духи?

– Нясупранту^[32].

Антанас что-то сказал по-литовски, и надменные желто-карие глаза нехотя обратились к потенциальной покупательнице.

– Вы спрашиваете духи? Польские, рижские?

– Нет, «Красная Москва», – разлилась Иза.

– Ня^[33], – резко мякнула продавщица, будто ей наступили на ногу.

– А «Ленинград»?

– Ня.

– Что за магазин такой – нет самых лучших духов! – громко сказала Иза, развернувшись к выходу.

– Минуту! – крикнул Антанас и нагнал ее действительно через минуту. – Не обижайтесь... Извините... – неловко вложил ей в ладонь красную коробочку, перетянутую золотой нитью. – Вот, это вам... «Красная Москва».

– Зря беспокоились.

– Но вы же... – краска искреннего отчаяния выступила на его щеках. – Я от чистого сердца...

– Ладно. Спасибо и до свидания, мне пора к морю.

– Я провожу, – вскинулся он, – одной небезопасно!

Пришвартованные суда с иллюзией деловитого движения покачивались в воде. Пассажиров было немного, паром словно чего-то выжидал, игнорируя расписание, но наконец лениво заколыхался поперек встрепанных волн.

От берега переправы через косу простирался сосновый лес. Деревья выстроились бронзовым колонным пролетом с темно-зеленой аркой, но местами шквальные порывы нарушили монолитность коридора, и «стены» кренились в разные стороны. Шишки топорщились на патлатых ветвях крупные, иззелена-бурые и каменно-твердые в смолистой смазке. Низкая ветка мазнула по губам длинными иглами с отчетливо различимой глазами огранкой.

– Безлюдная бухта, – сказал Антанас. – Еще не купаются, холодно.

Тропа расширилась, ноги начали увязать глубже в рассыпчатом песке. Ветра пытались вылепить волны из этой чуть желтоватой манной крупы, а получились морщинистые наплывы, совсем не похожие на...

– ...Море!

Переливаясь сизыми, как перья горлинки, грозowymi и огненными мазками, перевернутое небо с шипящим плеском протянуло к Изе пенные лапы. Над вспыхивающими слюдяным блеском осколками зыби с криками носились чайки. Вдали у размытой границы горизонта маячил в воздухе силуэт едва различимого судна, заякоренного к солнечному столбу. Пахло солеными огурцами, а может, корюшкой.

Море влекло к себе, уговаривая ощутить безвоздушную легкость тела. Глядя в обманчивые глаза живой пучины, Иза кое-как вернула в реальность смятенные чувства и мысли. «Я отдам то, что принадлежало тебе. Я за этим к тебе и пришла». Достала из кармашка сумки мамин кулон.

– Вы куда? – Антанас поймал ее за руку.

– Заберусь на камень, – она показала на лобастый валун в мелководье, – и отдам морю это, – раскрыла ладонь.

Он невольно присвистнул от восхищения.

– Семечко в янтаре! Крупное, похоже на яблоко в разрезе... Зачем вы хотите бросить такую красоту в море?

– Маме обещала, – просто сказала Иза.

Холод недружелюбно коснулся подошв, ошеломил ледяной хваткой

икры.

– Вы сейчас одежду испортите, – предупредил Антанас. Иза махнула рукой – пускай, юбка все равно уже намокла.

Шагать было тяжело, вокруг кипела не вода, а какая-то сжиженная ледяная ртуть. Валун, выступавший примерно в пятнадцати метрах от линии песка, стал казаться Изе недосыгаемым. Боже мой, что за блажь заставила ее тащиться сюда?! Лучше бы без причуд кинула кулон в прибой!

Мертвецкая стужа пробрала тело до самых малых косточек, когда Иза, задыхаясь, добрела до камня и убедилась, что не сможет на него влезть. Он был слишком высокий, покатый и скользкий. Чуть не расплакалась от досады, но – вот удача! – почти ничего не чувствующими пальцами ног удалось нащупать ступенчатые наплывы.

Мокрая юбка облепила тряские от страха и холода колени. Иза стояла на крохотном островке лицом к морю – одна перед бездной, будто после кораблекрушения. Боялась повернуться – мерещилось, что позади нет ни берега, ни Антанаса, – и в то же время боролась с желанием броситься вниз. В венах Изы текли капли крови родителей и, возможно, частицы их воспоминаний, иначе не объяснить, почему так хотелось спрыгнуть и долго, бездумно плыть туда, где недавно виднелся причаленный к солнцу корабль. Представив себя летящей в пропасть на вспорхнувших водяных крыльях, она зажмурилась и в последний раз поднесла бел-горюч камень к губам.

...Ох, как же приятно после студеной купели ощутить ступнями нагретый песок! Он тонко хрустел ракушками и с каждым шагом возвращал телу тепло. Иза была благодарна Антанасу за то, что он дал ей побыть наедине с морем и побежал к нему после нее. Похоже, истинным балтийцам нипочем холод манящей глубины.

Подсыхая на ветру, блузка и юбка встопорщились и зашуршали, словно вынутые из тузлука. Рядом спикировала чайка. Первая, вторая... Иза угостила их магазинскими сушеными рыбешками, и птицы вдруг налетели, истошно крича. То, что гостинцы пересолены, несколько их не смутило, проглотили все и с дикими воплями погнали ее по берегу. Слава богу, примчался Антанас и отбил Изу у наглых чаек.

– Я видел ваше украшение под водой, – сообщил он, одеваясь. – Кулон застрял в скальной щели. Можно выковырнуть его оттуда, но холодновато и глубоко.

– Мне по грудь.

– Этот баклыш – верхушка подводной скалы, за ним яма.

– Пропасьть?! – ахнула Иза, ежась от мысли, что сделай она лишний шаг – и бездна бы ее поглотила.

– Не Марианская впадина. Небольшой провал, и янтарь близко, я его с камня увидел. Смотрю – что-то блестит в трещине, нырнул – точно он. Так достать?

– Не надо. Юрате сама возьмет.

Антанас вздрогнул и уставился как-то странно:

– Юрате?..

– Русалка, – засмеялась Иза, – дочь морского царя. Не знаете разве?

– Ах, во-от вы о ком... А я-то, грешным делом, подумал о другой девушке. Юрате – так зовут продавщицу из парфюмерного магазина.

– Почему она мне нагрубила?

– Есть несколько причин... – мешкал Антанас.

– Скажите какие, – потребовала Иза.

– Во-первых, вы – красивая. Во-вторых, человек приезжий... – Он запнулся.

– В-третьих?

– В-третьих, Юрате – дочь партизана. Слышали о лешке бролес – лесных братьях?

– Нет.

– Значит, не видели фильм «Никто не хотел умирать».

– При чем тут все это?

– Попробую объяснить, – вздохнул Антанас. – В сорок четвертом на хутор отца Юрате пришли бойцы Красной армии и зарезали всех коров. Сказали – благодарите, недобитые кулаки, что вас самих не шлепнули. Коровы-то ладно, черт с ними, но красноармейцы силком захватили с собой в солдаты Валюса, старшего брата Юрате. Она тогда только родилась, а брату исполнилось семнадцать. Назавтра случайный свидетель сообщил отцу, что его сына расстрелял один из «красных», по виду то ли цыган, то ли молдаванин. Отец догнал бойцов и сразу увидел в отряде чернявого парня в яловых сапогах Валюса. Выяснилось, что чернявый подстрелил его якобы при попытке к побегу, как предателя и дезертира... И тогда отец Юрате ушел к лешке бролес. В отряде сопротивления он встретился с моим дедом. Они вместе боролись с оккупантами.

– С какими... оккупантами?

– С советскими.

– А фашисты? Они не оккупанты?

– Литовцы стремились отстоять свою независимость от тех и других. Прятались по бункерам в лесах, нападали на местные отряды «ястребков»-

коммунистов и уничтожали предателей. Тех, кто помогал советской власти разорять хутора и ссылая лучших людей Литвы в Сибирь. Вам же, конечно, известно, что Сибирь всегда была каторгой...

– Значит, фашистов они не уничтожали?

– Не сомневаюсь, что это случилось бы потом.

– Что стало с вашим дедом и отцом Юрате?

– После войны лесных братьев разгромили. Оставшихся в живых пообещали не трогать, если сдадутся и начнут новую жизнь. Они вышли из леса.

Рассказчик замолчал. Пальцами ноги Иза выкатила из песка крупную раковину. В глубине завитка она была рыжей, цвета боярышниковых ягод.

– Удачная находка, – глуховато сказал Антанас и без всякого перехода продолжил: – Отец Юрате умер в лагере Коми. Мой дед четыре года назад вернулся из лагеря под Красноярском и умер дома. Мы похоронили его на родине. Сюда, я уже говорил, моя семья переехала раньше. Клайпеда была сильно разрушена. Местных немцев отправили в Германию, мои родители поднимали город с другими приезжими. Всем нам он теперь родной.

– Ваша Юрате решила, что я молдаванка?

– Юрате – не моя. У нее ребенок и муж, он мой друг. Но вы правы, она так подумала.

– Вы тоже считаете советскую власть неправильной?

– Нет, не считаю. Мой отец – коммунист. Я – комсомолец и гражданин советской страны. Своей Литвы... Но я... я понимаю и деда.

Солнце подрумянило горизонт, и на волнах закачались полуразбитые столбы янтарного русалочьего дворца. Иза взяла раковину на память. Если прижать ее к уху, ясно слышалось далекое дыхание прибоя.

Глава 12

Ничего не случилось

Антанас подал руку с взгорка, подтянул спутницу к себе, и ее спине стало тепло от больших жарких ладоней.

– Не надо. – Иза отстранилась, но он не послушался. Его близкие губы пахли сигаретным дымом и ветром. Не березовым ветром, как губы Андрея в институтской аллее, а сосновым и чуть солоноватым. Морским.

«Почему не надо? – взбрыкнула в Изе строптивая девушка. – Почему? Он хоть и не Андрей, но ведь не «дачный» Владислав... Ты вернула белгорюч камень морю, никому ничего не должна и ничем не связана с

Антанасом. Ты – ничья. Тебе с ним хорошо, вот и не корчи из себя недотрогу».

В крепких объятиях ей вправду было хорошо. Они поцеловались сначала неловко, будто примеряясь, потом куда-то канули. Может быть, в будущую память. В этой памяти была любовь и общее на двоих солнце, и был марш Мендельсона, и рождались их дети, потом дети детей, и наступил день, в который он и она умерли, потому что жили долго и счастливо... Но память о будущем, увы, не беспредельна в поцелуе, каким бы он ни был долгим, потому что не вечно дыхание и неустойчивы ноги, а позади ров. Позади море, оно смотрит мамиными глазами. Иза не без труда оттолкнула Антанаса, и светлое их будущее померкло. Редко сбываются пророчества первого поцелуя (по-настоящему первого для нее) с первым встречным. Это просто встреча губ, но не любви.

Иза шагала по тропе, сердясь на сердце, колотящееся слишком громко. В такт быстрых шагов четко вписывались посвященные ей стихи Андрея. Еще бы музыку песни знать. Отблески растерянного света метались в прорывах соснового коридора. Жаль, что Иза не попрощалась похорошему с маминым морем, занятая воровством чужого будущего. Не оглянулась.

– Ты обиделась? – пробормотал рядом Антанас.

– Нет. – Она отчужденно отметила его внезапное «ты». Как же быстр и незатейлив у мужчин этот обманчивый переход к укреплению близости, дарящий им, очевидно, надежды, что она продолжится.

– Мы больше не встретимся?

– Нет.

– И я тебя никогда не увижу?

– Нет.

– Скажи что-нибудь другое, – взмолился он.

– Слетело у юной весны поутру с руки обручальное солнце, – сказала она.

– Ты с кем-то обручена?..

– Май долго его на веселом ветру разыскивал в лужах на донце.

– Твои стихи? – спросил он, когда она дочитала.

– Не мои, одного друга.

– Не очень-то и удачные, – небрежно заметил Антанас.

– Пусть, они мне дороги.

– Ты его любишь, – ревниво предположил он.

– Нет...

Показался хмурый пролив, и только тут стало понятно – день на спаде.

Они чуть не опоздали на последний рейс.

Волны плескались густо, как масло с мелко искрошенной глазуньей вечернего солнца, их монотонное движение было нестерпимо докучливым из-за медлительности парома. Но противоположный берег понемногу приближался и стал наконец желанной явью, облегчением скорого «прощай» всему здесь, начиная с Антанаса, и радостью свободы от выполненного обещания маме. Вообще, свободы соглашаться с чем-то, что тебе нравится, и отказываться от чего-то, если ты этого не хочешь.

Поздний вечер еще не догорел, а некоторые витрины на улицах зачем-то светились. В Прибалтике летом, как в Якутии, долго не темнеет. Красивые женщины в красивых одеждах за витринами словно ожили и вышли на полосу света в ожидании мужчин. А потом зажглись фонари, их огни отражались в реке – желто-карие кляксы цвета глаз дочери партизана из лешке бролес Юрате или Юрате-русалки.

У гостиницы Антанас сказал:

– Смотри, Вакарине, вечерняя звезда.

– Венера.

– Да. Богиня красоты и любви. Придет рассвет, и Вакарине переменится. Станет Аушрине – звездой зари. – Помедлив, он добавил: – Я жалею, что встретил тебя.

– Пройдет неделя, ты забудешь и перестанешь жалеть.

– Не забуду, – покачал он головой.

– У нас с тобой ничего не было. Меня у тебя не было. Пока, Антанас.

– Ики^[34], Изольда.

Не оборачиваясь, он исчез за углом.

Администраторша разговаривала по телефону и, сняв ключ с гвоздя, облила Изу мимолетным брезгливым недоумением. Зеркало шкафа в номере явило причину красноречивого взгляда: в растрепанных волосах запутались хвоинки, измятая одежда покрылась белесыми разводами и пятнами – хороша же блудница... Да ладно! Приняв душ, Иза собралась было постирать испорченную юбку, постояла и выбросила вместе с блузкой в урну. Пусть ничего не напоминает ей об Антанасе. Она постарается не вспоминать его, не будет отчитывать взбалмошную подстрекательницу, проснувшуюся в ней сегодня. И перебирать в мыслях события дня не будет, хотя в кафе, а может, раньше, начала предчувствовать и ждать то, что случилось у нее с балтийцем (и даже чего не случилось).

Достала из чемодана тонкое шерстяное платье с белым воротничком, в котором ходила на лекции, в энный раз полюбовалась подарками Наталье

Фридриховне и тете Матрене. Купила давно, когда еще верила, что отправится к Ксюше в Забайкалье, а теперь сама привезет им эти симпатичные мелочи – копеечники на пружинках, сувениры, купленные в киоске у Кремля, капроновые югославские косынки и праздничные кримпленовые костюмы. Битых два часа маялась из-за них в очереди, от скуки съела три эскимо. Вкусное мороженое в ЦУМе, с кремовой розочкой поверх горки...

А ведь она не поужинала. Буфет, скорее всего, уже не работает, но почему бы разок не поесть в ресторане? Раскрыла сумочку... ой, «Красная Москва»! Из головы вон.

Картонно-атласные недра явили на свет матовый, крепкого стекла, флакон с плотно притертой пробкой под колпачком. Не успела открыть, как послышался неуловимо телесный, нектарно-нутряной аромат. Будто кто-то в знойный день опрыскал подслащенной сукровичной вытяжкой свежие розы.

Тонкая золотая тесьма и целлофановая обертка полетели в урну. Красная коробочка с нетронутыми духами украсила собой пустую полку в шкафу.

Глава 13

Отпуская хлеб твой по водам

Через горы могучие, леса дремучие, за тридевять земель с пересадкой в новосибирском порту Толмачево, Иза полетела туда, где завязались и когда-нибудь развяжутся ее солнечные поводья. В первый раз путешествовала она по небу. Не сказать, что понравились ощущения давящей глухоты и дурнотных качелей. Смотреть в иллюминатор тоже было не очень интересно – вокруг бесконечно дымились пухлые, странные в своей ватной близости облака. Но когда внизу сквозь раздерганные облачные волокна, как ил на дне озера, начала проступать тайга, Иза оживилась. Мир очистился, засиял голубым шитьем по темнохвойному войлоку – мир, к которому все годы разлуки тянуло ее глубокое птичье чувство. Едва сдержала кричащую в сердце радость, заметив справа синий пояс реки – неправдоподобной яркости шелк, окантованный светло-коричневой оторочкой утесов в зеленой подпушке. Самолет пошел на посадку...

Город раздался и возмужал, ощерился прорехами строек, кое-где над вечной мерзлотой поднялись блочные конструкции на бетонных столбах – «встали на цыпочки», как шутят якутяне. С множественными свидетельствами милых подробностей выбегали в явь улицы и переулки – ровесники детских событий. Гужевые водовозки и пролетки на обитых резиной колесах по-прежнему неспешно двигались по дороге на пыльном ходу, без напрасных гудков огибаемые автомобилями. Все тем же корабликом с темным навершием ныряла в волнах крыш караульная башня древнего острога. Пешеходы вышагивали не быстро, с невозмутимым достоинством приветствуя знакомых кивком... Иза ловила себя на том, что ищет глазами крупного человека с легкими залысынами и «чапаевскими» усами, в плохо проглаженном льняном костюме. Она соскучилась по дяде Паше, по дорогим ей людям и детству, наполненному их любовью, а теперь невозможной надеждой.

Отступило назад старинное казначейство, блеснул многооконным залпом длинный магазин, венчающий круглую площадь. На проспекте возник гранитный Ленин, простер призывную руку к востоку, в сторону Дома политпросвещения и детской библиотеки, размещенной в бывшем храме. В той стороне находилось и Министерство культуры.

Земля у дороги была разворочена, рабочие проводили трубы.

Осторожно ступая по шатким мосткам над ямой с искрящейся сваркой, Иза пробралась на нужную улочку с островками сбитых из чурочек мостовых. Новое деревянное здание нарядно желтело среди старых домов, как свежая заплата на ветоши. Если бы не плакаты, украшающие забор, министерство напоминало бы зажиточную усадьбу.

Выпускницу столичного института препроводили в приемную, и дородный министр, якут с характерной хитринкой в глазах, весело всплеснул руками:

– Молодес-с, что приехала!

Не дав ей опомниться, он пространно и живо заговорил об активном внедрении новых форм культурно-просветительной работы, которая зиждется («жиждится», произнес с гордым акцентом) на развитии общественных начал. Иза клевала носом и, чтобы не задремать, щипала себя за пальцы. Сказывалась шестичасовая разница в поясах.

– А командовать парадом станешь ты! – завершил министр обкатанную речь и заметил, что будущий командир парада подозрительно сладко посапывает. Иза не слышала, как он выглянул в коридор и кого-то позвал. Пролетела, кажется, всего минута, и молодая сотрудница деликатно коснулась ее плеча. Министр успел подписать какую-то бумагу с печатью, которая и была вручена принятой культработнице:

– Вы определены методистом городского ДК. Документ дает право поселиться в комнате ведомственного общежития.

Счастливая столь стремительно разрешенным вопросом работы, жилья и, что немаловажно, выданными в бухгалтерии «подъемными», Иза отправилась на поиски «Богемы» – такое неофициальное название носил дом, где жили одинокие и малосемейные люди культуры и искусства. Подход властей к оснащению республики квалифицированными кадрами был практичен: отдельные квартиры сразу получали только приезжие специалисты. Свои могли потерпеть до лучших времен. Иза была своей, к тому же семьей не обременена.

Каменный город за окнами автобуса превращался в деревянный. Возле остановок мальчишки с бидончиками, как раньше, качались на гнилых тротуарах, пережидая очередь к желтой цистерне с квасом. Простодушный барачный быт плыл навстречу ветрам и взорам на парусах подсиненного белья. Несло шкварками, жареным луком, сбежавшим молоком и дымом летних кухонь, и уличным туалетом, и щедро удобренной огородной землей. У каждого места свой запах...

Двухэтажное общежитие ведомства культуры колыхалось чуть дальше дорожной насыпи в середине пруда, как Ноев ковчег на приколе.

Невозможно было назвать лужей это обилие стоячей воды, опутанной сложной сетью мостков. Построенный какими-то халтурщиками-шабашниками, несуразный дом западал с боков, отчего крайние окна пьяновато гримасничали и косились в стороны. Иза прошла в просторный двор с деревянной площадкой и засмеялась, увидев на стене беленого туалета лозунг: «Товарищ, помни: любая твоя ошибка ведет к неприятности в общей работе!»

В коридоре пахло сыростью. Чувствовалось легкомысленное непостоянство, когда от тебя ничего не зависит и не предугадаешь, как дальше сложится жизнь. На сумрачных стенах и тут висели позаимствованные где-то лозунги: «Пейте советское шампанское!», «Уважайте труд уборщиц!», «Храните деньги в сберегательных кассах!» Вспомнился плакат на двери «всехной» кухни в бараке на улице Байкалова: «Болтун – находка для шпиона». Но если там наглядная агитация подгонялась под теоретические обоснования власти и предупреждала жильцов вполне серьезно, то в Богеме явно жили шутники.

Иза едва увернулась от пробежавшей мимо детской стайки и услышала изумленный оклик:

– Готлиб?!

– Полина! – радостно оглянулась Иза на знакомый голос и – вот это да! – не узнала в белокурой красавице детдомовскую соседку, острую и ершистую Полину Удверину. Девушки бросились друг другу в объятия.

Кто-то недавно выехал из комнаты, соседней с комнатой Полины. От прежнего хозяина осталась конторская мебель с инвентарными номерами и кое-какие кухонные мелочи. Помогая Изе с устройством, Полина засыпала ее вопросами. Успели слегка поцапаться, кто кому больше послал открыток и писем... На Изу нахлынули отголоски прошлых дней, событий, имен; любая условность была понятна с полуслова, и все было родным. Полина хвалила демократичность министра, тараторила вперемешку о себе и о других.

– Галку увидишь – ахнешь, бадья-а! Детишек полный дом. Ну, Сергей у нее мужик крепкий, справляются, все хорошо. Правда, я с Галкой сейчас не общаюсь, поссорилась.

– Наташа сейчас где? – спросила Иза о третьей детдомовской соседке.

– Наташке тоже с мужем повезло, увез аж в Сочи... Да, твою Наталью Фридриховну часто вижу в гастрономе. Иногда со второй твоей соседкой, полненькой такой, но все мельком, путем не разговаривали. Вот дядю Пашу ни разу не видела.

Швабра выпала у Изы из рук.

– Погоди-ка! – сорвалась Полина. Вернувшись, положила на стол пачку денег: – Помнишь, дядя Паша тебе на день рождения двести рублей подарил, а мы их на диван Галке взяли? Я долги всегда из принципа отдаю. В Свердловске такие диваны втрое меньше стоят, у нас здесь все по завышенной цене... Готлиб... ты что?

– Дяди Паши больше нет, – сказала Иза мертвым голосом.

...Они плакали и говорили, перебивая друг друга, обнявшись, как в детстве. Бег слез усмирять труднее, пока сам ты молод и полон жизни.

Утром следующего дня Иза пошла на кладбище и застыла, не дойдя до него. На месте погоста возвышались многоквартирные дома нового квартала. Она машинально опустилась на скамью перед детской площадкой.

Маму и тут не оставили в покое, разметали бедный прах в последнем «переселении». Ни лет рождения и смерти, ни «тире» жизни. Без имени, без судьбы. Янтарная слезка в Балтийском море. Наталья Фридриховна не известила в письме. Пожалела... Господи, прости нам долги наши. Прости, мама.

– Кто тебя обидел?

Чьи-то маленькие шершавые руки с силой отвели от лица Изы ладони. Румяный малыш лет пяти, с деревянным мечом на боку, заглянул ей в глаза.

– Никто.

– Хочешь, я его побью?

– Кого?

– Того, кто тебя обидел.

– Ты его не знаешь.

– А ты покажи! Я его вот так, вот так! – Он несколько раз рубанул воздух грозным оружием.

– Я сама не знаю, кто это. Правда.

– Жаль, – разочарованно вздохнул он.

– Тебя как зовут?

– Сашка. А тебя?

– Иза.

– Лиза?

– Иза, Изольда.

– Такого имени у девочек не бывает.

– Бывает. И потом, я ведь взрослая.

– Ты не тетенька. Ты плачешь. Если тебя опять кто-нибудь обидит, скажи мне.

Взобравшись на железную горку, он крикнул сверху:

– Девочек нельзя обижать!

На проселочной дороге Иза остановила попутку – белый автобус с выступающим, как у грузовика, капотом. Из кабины высунулся пожилой водитель:

– Куда тебе?

Она назвала село.

Автобус был полон людьми, проход загораживали мешки и ящики с продуктами. Сельский житель в город впустую не ездит.

– Не стой, садись на кондукторское место, вишь – свободно.

Взлохмаченные у висков прядки, залысины надо лбом, глаза улыбочивые и карие – очень похож на дядю Пашу. И пуговицы на окладистом животе так же не держатся...

– Не нашенская? Что-то я тебя не припомню.

– Я родилась в поселке, но недолго там жила.

– Чья дочь-то?

– Марии Готлиб.

На его лбу собралась и разгладилась сеточка морщин.

– Не помню. На «кирпичке» с ней жили?

– Да, возле кирпичного завода. – Иза подалась вперед: – А кузнеца колхозного помните? Степана Васильева. Его в горах лесорубы убили...

– Кузнеца помню.

– А жену его?

– Майис?

– Она нашлась или... нет?

– Н-ну... Огорчу, наверно. Не нашлась. В тот год волки нас одолели, стали нападать на табуны. Попадись человек – не пощадили бы... В доме Васильевых теперь председатель живет. Они тебе кем приходились?

– Просто я знала их когда-то...

– Много лет тут не была?

– Пять лет, пока училась.

– А где училась? – неожиданно заинтересовалась пожилая женщина в ситцевой белой косынке.

– В Москве.

– Зря приехала, – вмешалась в разговор другая, помоложе, бойкая и черноглазая. – Моя б воля – я бы, наоборот, на материк укатила. Что тут хорошего? Девять месяцев – зима, остальное – лето. Эх, денег бы накопить и мотануть отсюда!

– Мотай, Люба, мотай, – раздраженно откликнулась первая.

– А че ты меня, Альбина, гонишь-то? – обидчиво дернулась черноглазая Люба.

– Я раньше тоже думала: уеду в тепло и не вспомню, где родилась-выросла. Уехала в Одессу. И где сейчас я, и где мой теплый край, веселый город Одесса? Как был, так и стоит у Черного моря, а я – на Севере и за ней не скучаю. Уезжала-то, выходит, для чего?

– Ну?

– Для того, чтоб дошло: здешняя я! А ты, Люба, едь, ты, может, других особенностей человек и где угодно сумеешь прижиться. А если нет, так домой, как птица, прилетишь и счастлива будешь, что вернулась, и каждому знакомому дереву поклонись – родное!.. Земель-то много разных – красивых, теплых, а эта – одна внутри у тебя, и душу от нее не оторвешь, так же как другую землю в душу не запишаешь и счастливой не станешь от другой... Вот и эта девочка к родине потянулась, хоть и грамотная. А ведь могла со своим образованием остаться в центре. – Женщина ласково посмотрела на Изу.

Грунтовый тракт стелился по взгоркам, блестя камешками и истончаясь на горизонте змеиным хвостом. По обеим сторонам дороги вспархивали березовые перелески. Вымахнула навстречу и осталась позади деревушка в десятках дворов, с якутскими коровниками на задворках – диковинными для неместного жителя мазанками из вертикальных жердей и коровьих лепех. Передергивая кожей, коровы отгоняли оводов и щипали придорожную траву. Порой одна останавливалась поперек дороги, задумчиво двигая замшевыми губами, и поднимала навстречу автобусу волоокою морду. Машина уважительно огибала созерцательное животное и мягко, как по шоссе, катила дальше.

– С тобой, Игнатъич, радость ехать, – сказала водителю Альбина. – Не то что с Лукашиным. С ним всю дорогу качает, будто он не людей, а чурки с глазами везет. И пыль в окна летит – не продохнуть.

– Так я ж старше, – весело блеснул он глазами.

– У Лукашина тоже стаж приличный. Дорога та же, и по времени одно к одному выходит. А все равно не как с тобой.

– Так он младше.

– Старше, младше, – засмеялись женщины, и шоферский живот задрожал, как от маленького землетрясения.

– Я на войне был, а Лукашин не успел по младости.

– Война-то при чем?

– Он же людей всю жизнь возит.

– А ты – не людей? В чем разница?

– В привычке, милые мои, в привычке. Я на фронте снаряды возил. Каждый день четыре года...

Покуривая на остановке в окно, Игнатъич поинтересовался:

– К кому приехала-то?

– На покос, – смешалась Иза.

– Рано еще на покос, – улыбнулся он. – А то к нам заходи. Я – дядя Федя Бурыкин, Федор Игнатъич. Вон мой дом стоит. Чаю попьем, жена пирожки должна была постряпать. Если недолгие твои дела, у меня через полтора часа еще рейс в город.

– Спасибо... Мне на алас Васильевых сходить надо.

– Надо так надо. Ну, всего доброго тебе. – И водитель снова улыбнулся Изе широко и жизнерадостно, как улыбался маленькой Изочке дядя Паша.

...Она бежала по лугу, по земляничной просеке, сквозь старый ельник, босая, нисколько не запинаясь о холмики, ямки и оголенные петли ветвей. Руки привычно разгребали дикие лохмы еловых лап над влажными ложбинками, ноги помнили исковерканные коровьими копытами сырые тропинки – вспомнили и ту детскую легкость, с которой Изочка носилась по ним наперегонки с Сэмэнчиком. Юные елки повзрослели, зеленый воздух остро пахнул землей.

На косогоре издалека показалось по-новогоднему нарядное шаман-дерево. Солнечный зайчик скакал на серебристой табакерке, воткнутой в усыпанную ржавой мелочью горку подношений у комля. Время обесцветило ленты на волосяных шнурах, и лишь на одной реял кумачовый лоскут, как снегирь, залетевший в стайку воробьев. Найдя голубоватую атласную ленту, Иза привязала рядом новую синюю и прижалась щекой к медной чешуйчатой коре. Внутри теплого ствола трепетали налитые смолистой кровью жилки, тихо гудела жизнь.

Поверх не вошедших в силу трав покачивались на ветру венчики полевого вьюна, желтые фестоны одуванчиков и пеной взбитые хлопья каши. Глаза разбежались, заблудились в сумасшедшей пестроте, – якуты говорят, что от разноцветья зрение в первый миг «сходит с ума». Когда глаза опомнились, впереди показалось бирюзовое озерцо. Вблизи стало понятно, почему оно почудилось большим – круглый водоем окружало пышное кольцо незабудок. Иза глубоко вдохнула многослойный, терпкий, нежный, горьковатый, медово-мятный воздух аласа – летучий кумыс короткого лета. Им никогда не напьешься, не надышишься, и малым стебельком не надышишься, не вберешь в себя весь его животворимый дух. Здесь Изочка с самыми близкими ее сердцу людьми заготавливала сено для коровы Мичээр, здесь каждая пядь земли была полита их потом. Сок этой

земли, впитанный с молоком матушки Майис, тек в венах Изы. Бросив сумку с туфлями, она упала навзничь, зная, что больно не будет – трава спружинила, приняла ее, как птицу в ладонь. Щек касались тугие стрелки черемши, лепестки шелковой дремки и клевера, сквозь механический стрекот кузнечиков уши ловили прозрачные голоса прошлого – вокруг тоньше пуха плавали незримые воспоминания.

...Ладони Майис вертели в сливках с голубикой гладкую палочку с волнистым кружком на конце.

– Это ытык, огокком, – объяснила Изочке Майис, – по-русски – мутовка. Я взобью ытыком кёрчэх из сливок. Видишь, ытык кругами втягивает сливки в середину, делает их крепкими и высокими. Похоже на то, как растет человек.

– Человек похож на сливки? – удивилась Изочка.

– В чем-то – да, – засмеялась Майис, – а движения ытыка – на ход жизни. Человек втягивает в себя прошлое – память о бабушках-дедушках, живет настоящим, думает о будущем и поднимается в кругах жизни выше и выше. Так из «жидкого» он становится твердым, сильным, мечты его сбываются... Ытык – небесная вертушка предков, мудрая у него душа.

– Разве у вещи бывает душа?

– Она есть у всего живого.

– Ытык – живой?!

– Эта вещь выстругана из дерева, а оно – живое.

– Человек тоже выструган из дерева?

– Нет, человек создан любовью из плоти и крови.

– А Мария говорила, что человека создал бог.

– Бог и есть любовь, огокком.

Наверху колыхалось море, и парил орлан с полуденными бликами на крылах. Иза целовала цветы и воздух, ее дыхание сливалось с земным, – ийэм, матушка моя, ийэм.

По якутскому поверью, у человека тройная душа – воздушная, земная и материнская. Земная отвечает за физическую силу и здоровье, воздушная растит-пестует дух и волю, материнская дарит разум, чувства и способность сопереживать. К материнской душе крепятся солнечные поводы жизненной энергии Сюр: свой род якуты ведут от лошади-солнца. Новорожденный жеребенок, впервые поднявшийся на дрожащие ножки, зовет мать: «Мэ, мэ!» Так же – «Мэ-мэ» – плачет якутский младенец, и мать дает ему грудь: «Мэ, эм» – это значит: «На, соси». Мягкий звук закругляется, возвращается с теплом молока и ласки. Ийэ по-якутски – «мама», ийэм – «матушка моя».

Под отвесным берегом кружились пятнисто-смуглые от теней волны и, с гортанным журчанием вырываясь из омутовых объятий, струились ровно, мощно, – могучее движение увлекало их за собой. Лена шествовала широко, щедро налитой жизнью артерией, насыщая коренной кровью ветвистые вены проток. Спешила к морю.

Приготовленный для угощения реки кусок «лусточного» ржаного хлеба и снятый со шнурка сердолик исчезли в материнской воде, где однажды родилось все живое.

«Лес на моей земле, река в небо, вода и воздух», – журчали, звенели волны. С их звоном мешались слова простой песни.

Волна танцевала и пела в реке,
Качалось осколками небо.
У берега плавала невдалеке
Краюшка размокшего хлеба.

Когда-нибудь в землю скорлупкой паду,
Чтоб к небу душой возвратиться.
Спешат перелетные птицы к гнезду,
Всегда возвращаются птицы.

Иза прищурилась, чтобы не заплакать, но слезы не послушались, покатались – нет у слез обратного течения, как нет его ни у времени, ни у реки.

2013 г.

Примечания

1

Кёрчэх – якутское блюдо, сливки с добавлением ягод или варенья, взбитые в пышную массу.

2

«Кольцо нибелунга» – оперная тетралогия Р. Вагнера, основанная на скандинавских и древнегерманских сагах.

3

Ого-кут – детская душа (*якутск*).

4

ТФТ – тяжелый физический труд. Рекомендация ТФТ стояла на справке спецпоселенца – документе, выдаваемом спецотделом МВД представителю «социально опасного контингента» вместо паспорта.

5

Огокком – дитяtko мое (*якутск*). Буква «м» придает слову «огокко» (дитя) более нежный и собственнический оттенок.

6

Ийэ – мать, мама (*якутск*).

7

Алас – луговая пойма, удобная для сенокоса и выпаса скота (*якутск*).

8

Алгыс – благословляющая песнь, молитва (*якутск*).

9

Слова героини пьесы А.Н. Островского «Гроза».

10

Фрося Бурлакова – героиня кинофильма «Приходите завтра» (Е. Савинова, реж. Е. Ташков, 1963 г.).

11

Ром – цыган, мужчина (*цыганск.*).

12

На бистыр! – Не забудь! (*цыганск.*).

13

Голик – веник из голых веток.

14

Дайе – мать (*цыганск.*).

15

Нат бахт тукэ... – Нет счастья тебе... (*цыганск.*).

16

Чяво – сын (*цыганск.*).

17

Записи на использованных рентгеновских пленках.

18

Переиначенная кузнечная поговорка: «С молотом рожденный». С 1940-го по 1957-й город Пермь носил название Молотов, затем вернулось прежнее.

19

Экклезиаст, 9:12.

20

ОБХСС – отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности.

21

Песнь песней, 3:6; 6:10.

22

Скэт (scat – *англ.*) – способ джазового пения без слов, имитация голосом музыкального инструмента со спонтанным использованием ритмических интонационных звуко сочетаний.

23

Вера Холодная (1893–1919) – популярная актриса дореволюционного кино.

24

В своих первых записях «Битлз» исполняли песню американского рок-певца Чака Берри Roll Over Beethoven, в которой рок-н-ролл противопоставлен классической музыке. В песне в обидном смысле затронуто имя Бетховена и упоминается Чайковский. В советских газетах вышел ряд возмущенных статей о творчестве «Битлз».

25

«И даже в области балета мы впереди планеты всей» – слова из шуточной песни Ю. Визбора «Рассказ технолога Петухова».

26

2 мая 1960 г. советские ракеты сбили над Уралом самолет американского летчика Г. Пауэрса.

27

ВССО – Всесоюзный студенческий строительный отряд.

28

Туймаада – название долины, в которой стоит Якутск.

29

В.С. Соловьев, «Тема половой любви в русской религиозной философии».

30

Dissidens – несогласный (*лат.*).

31

«Равновесие в доме – мир вокруг» (*лат.*).

32

Нясупранту – не понимаю (*лит.*).

33

Ня – нет (*лит.*).

34

Ики – пока (*лит.*).